

# НИНА КАТЕРЛИ

---

Ц  
В  
Е  
Т  
Н  
Ы  
Е



ОТКРЫТКИ



*НИНА  
КАТЕРИ*

---

ЦВЕТНЫЕ  
ОТКРЫТКИ

*РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ*



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1986

ББК 84. Р7  
К 24

*Художник Ася Векслер*

К  $\frac{4762010200-027}{053(02)-86}$  61-86

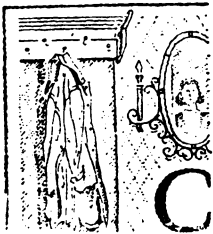
ББК 84. Р7

(С: Издательство  
«Советский писатель», 1986 г.



# РАССКАЗЫ

## ПРОЩАЛЬНЫЙ СВЕТ



Согнутая почти пополам, старуха эта вместе со своей палкой похожа была на шпильку для волос. Она двигалась прямо на Мартынова, и он видел сторбленную ее спину, обтянутую вытершимся светлым пальто, видел макушку серой вязаной шапки и руку в красной детской варежке, сжимающую набалдашник короткой палки.

Старуха двигалась как бы на ощупь: сперва выбрасывала вперед палку, потом медленно, как улитка, тянула к ней свое тело.

Кончался февраль. Мокрые груды крупнозернистого, перемешанного с песком снега вдоль тротуаров были уже весенними; весенним было и солнце, слепящее, разбивающееся о лужи, о стекла троллейбусов, и как его отсветы — ярко-оранжевые апельсины в сетках, то тут, то там мелькающие в толпе. Но более всего весенними казались звуки: хруст под ногами, воробьиный галдеж, резкая высокая нота с середины мостовой, где двое рабочих в желтых спецовках методично ударяли ломом о трамвайный рельс. Трамвай стоял рядом и нетерпеливо позвякивал.

Небо над Сокольниками было далеким и бледным.

Мартынов искал, куда бы поставить грузный портфель, примостил его на мусорную урну и расстегнул

пальто. Потом поправил шапку, предварительно отерев со лба пот; в метро была зверская жара, да и вообще чувствовал он себя сегодня не по погоде тепло одетым, тяжелым и нездоровым.

День начался с того, что за завтраком Татьяна, падчерица, дожевывая бутерброд, сказала матери:

— Мне туфли на весну надо, а плащ не надо, буду бабушкин носить, он мне как раз.

Жена быстро взглянула на Мартынова, он отвел глаза. Ничего себе сюрририз: дали девочке ключи от чужой квартиры — нужно было срочно взять там кое-какие документы, — и, пожалуйста, рыдась в шкафу, примеряла одежду. . . Некрасиво. И совершенно ясно, откуда эта простота нравов.

— Зачем же ты трогала без спросу бабушкины вещи? — тихо спросила жена.

Татьяна вскинула голову, секунду непонимающим взглядом смотрела на мать и вдруг, вся покраснев, вскочила из-за стола. Мартынов понял: сейчас будет скандал. Будет весь набор: рыдания, грубости, хлопанье дверью — все, с чем и строгостью, и лаской они с женой безуспешно боролись последние два года и что внезапно прекратилось, когда Татьяна стала студенткой. Думали, повзрослела. . . Рано радовались, вон стоит — худющая, губы дергаются.

— Какая же ты, мама. . . какая ты. . . — начала было она, но осеклась, еще выше вздернула подбородок и решительной походкой промаршировала из комнаты. Именно промаршировала — метровыми шагами, размахивая правой рукой, точно солдат на плацу.

Через минуту в передней грохнула дверь.

Жена молчала. Мартынов молчал тоже. Ему было неловко: скандал-то произошел как бы из-за него — Танька надевала плащ его матери, жена почувствовала, что ему это неприятно, и вот. . . Тут, слава богу, зазвонил телефон, жена взяла трубку, и, пока она говорила, Мартынов собрался уходить. Он уже знал — день будет плохой. И верно, — в министерстве, куда он, как было условлено, явился точно к девяти пятнадцати, все сразу пошло наперекосяк: вызвавший его Михеев, оказывается, должен был идти на совещание к начальнику объединения.

— Не журись, — сказал он, подмигнув Мартынову, — можешь в институт сегодня не возвращаться. Был в ми-

нистерстве — и все дела. Погода хорошая, позвонишь какой-нибудь приятельнице и — на лоно.

Этот бледнолицый, точно сам он никогда в жизни не был «на лоне», желеобразный этот Михеев со своими пошлостями, произносимыми тихим — «услышат!» — голосом, как всегда, вызвал у Мартынова желание сказать грубость, но он, как всегда, промолчал. Зато по дороге к метро (чтобы все-таки поехать в институт) составлял в уме хлесткие фразы, которыми мог бы поставить на место этого деятеля. Фразы получались беспомощными и корявыми. Очевидно, потому, что Мартынов очень хорошо себе представлял, как, выговаривая их, он весь багровеет, на лбу выступает пот, на лице — неестественное, отчаянное, словом, жалкое выражение, а в голосе отчетливо слышится истерика. От этого он еще больше разозлился и внезапно решил в институт не ехать. «Их сиятельство сами разрешили. Я ему не мальчишка — гонять каждый день взад-вперед через всю Москву!»

Жена наверняка еще не ушла, у нее в поликлинике сегодня вечерний прием, с двух. Дойти до Тверского бульвара — пять минут. Но Мартынов упрямо шагал к метро, он вдруг решил, что сегодня наконец-то сможет поехать в Сокольники. Домой.

Домой... Последние пять лет Андрей Николаевич Мартынов жил в квартире своей жены на Тверском бульваре. Эту ухоженную трехкомнатную квартиру в старом московском доме, обставленную и обжитую еще бабушкой и бабушкой жены, он успел полюбить, быстро привык, и было ему здесь уютно и счастливо. И все-таки про этот свой дом он всегда говорил: «У нас на Тверском», а про однокомнатную квартиру в Сокольниках, где жил до женитьбы вдвоем с матерью, — «дома».

С утра город был вполне зимним, весна наступила внезапно, и произошло это, похоже, как раз за те пятнадцать минут, которые Мартынов парился в метро до Сокольников.

...Пока, выйдя наконец на воздух, он приводил себя в порядок, на светофоре вспыхнул зеленый свет, почти не различимый на ярком солнце.

...В тот день солнце светило тоже. Мартынов стоял тогда, пожалуй, точно на этом самом месте, готовился перейти улицу — к троллейбусу. Помнится, опаздывал в местную командировку на завод, поехал на метро до



Сокольников и подумал еще, что хорошо бы заскочить на минуту к матери, но не было и минуты, да и не получилась бы минута. Зайти домой можно на обратном пути, а лучше послезавтра, в субботу, потому что сегодня надо еще вернуться в институт, должны звонить из Челябинска. И только он так подумал, как увидел мать.

В расстегнутом белом плаще она приближалась к нему по тротуару и была уже довольно близко, но вдруг резко повернула и направилась к павильону метро. Можно было успеть окликнуть, но Мартынов опять с досадой подумал, что испытания на заводе должны начаться через пятнадцать минут. Он растерянно стоял у края тротуара, а мать, миновав метро, уходила от него по бульвару. Листья еще не начинали желтеть, только что наступил сентябрь. Да, это было... шестого сентября, точно — шестого, в четверг, а в субботу она умерла.

...На светофоре давно горел красный. Машины стояли. Торопясь, Андрей Николаевич перебрался на ту сторону улицы. Он задыхался, ноги были тяжелыми. «Старею...» При матери подумал бы иначе: «Заболеваю...» Теперь, без нее, он в семье самый старший.

Жена оказалась, как обычно, права: идти туда в первый раз одному не следовало, — повернув за угол и прошагав еще полквартала, Мартынов остановился. Под ложечкой жало, вся левая половина груди ныла. Валидола он, конечно, опять не взял, из принципа не взял: если уже сейчас, в сорок семь лет, выходить на улицу с валидолом... А сдохнуть в сорок восемь ты не хочешь?... А-а, пустяки. Мнительность. Ипохондрия. И погода: наверняка упало атмосферное давление.

Сорок семь лет... Матери было бы семьдесят четыре. Зеркальное отображение... Жила одна. Утром спускалась по лестнице, шла в булочную. Потом — за молоком, потом... («Ну, что ты, Андрюша, я очень много гуляю...») Вечером — телевизор. Принять снотворное — и в постель... Господи, сколько в Москве старух! Вон еще одна, эта без палки, руки бесполезно висят вдоль тела. Идет еле-еле, неуверенными мелкими шажками. Глаза огромные, светлые, перепуганные. Рот приоткрыт, как у птенца. Это сердце — не хватает кислорода... Вот когда впервые всерьез почувствуешь, что и тебе не удастся этого избежать, обмануть судьбу, открутиться, вот тогда и становится по-настоящему страшно... А этой старухе,

птенцу, ей сейчас страшно, что она сейчас задохнется...

Мартынов все же на всякий случай искал в кармане валидол: а вдруг жена положила? Не нашел. Вот такие дела, Андрей Николаевич, экс-Андрюша, распаренный, с отечным лицом и седыми волосами, пожилой — да! пожилой! — чиновник от науки (вон портфель-то аж взбух). Чего тебе, болван, бояться? Что ты можешь потерять? В юности — да что в юности! — еще десять лет назад было огромное количество желаний. Например, влюбиться. Еще хотелось поехать летом в Форос, плавать с маской. Купить машину. И чтобы назначили завсектором. А также сдать наконец кандидатский минимум. Да просто в ресторан пойти, в конце концов! В лучшем костюме и с красивой женщиной. В «Прагу».

Все сбылось, и, заметьте, с избытком. Был не только в Форосе — в Неаполе. Защитил кандидатскую. Назначили (хоть и не доктор!) начальником самой крупной и важной в институте лаборатории. До сорока двух лет прекрасно гулял в холостяках, а потом влюбился в прелестную женщину и увел от мужа. Машина — черт бы ее побрал! — имеется и уже успела надоеть. Кроме хлопот, никакого удовольствия. Все сбылось... Ну и что? Нет, гневить бога нечего, все нормально, но где тот восторг, то замирание души, когда, допустим, где-нибудь на лесной поляне вдруг оглядишься по сторонам и даже слезы к глазам подступят — до того кругом хорошо. Такое ведь бывало не только в детстве. Впрочем, наверное, все правильно, защитная реакция организма: с годами душа покрывается бронированной пленкой, иначе просто нельзя, иначе стопроцентная гарантия инфаркта, потому что свиданий с красотами природы все меньше, а с чиновниками вроде Михеева — все больше.

Что же все-таки осталось? Для души? Телевизор, как у матери? Танцы на льду и «В мире животных»? Злорадное удовлетворение, что в споре с замдиректора ты, а не он, опять оказался прав? В который раз уже, между прочим! А все потому, что тот маразматик. Вот еще в чем ужас старости: человек не хочет смириться с собственной непригодностью, бьется до последнего, надеется обмануть окружающих, а главное, себя самого. Тут, конечно, не злиться надо, а пожалеть... Бедная мать, ей вот тоже казалось, будто в ее советах, как воспитывать Татьяну, заключена бог весть какая мудрость...

Мартынов замедлил шаг: до дому осталось пройти

всего квартал. Вот маленький продуктовый магазин, мать его звала почему-то «универсамчик». . . Да. Так мы же еще не выяснили, какие у нас в жизни имеются положительные моменты. . . Возможно, будущей весной состоится командировка в Чикаго. Хочется? Еще бы! Интересно? А как же! Получится — буду очень рад. «Очень рад». . . Только и всего! А не выйдет, перебьемся. До будущей весны, между прочим, надо еще дожить. . . Раньше бы ночей не спал, все мечтал бы да представлял, как полетит через океан да как стюардесса объявит: «Сейчас наш самолет совершит посадку в аэропорту Кеннеди». Это — раньше. Усекаешь?

Еще — культурная жизнь: гости, театр. . . Почему бы не пойти, скажем, в «Современник»? Вполне можно пойти, вполне. . . Впрочем, сегодня по телевизору очень ответственный хоккей.

Это сейчас, а еще через десять лет? . . Бедная мама. . . Одно утешение: дожила до семидесяти четырех и не успела стать немощной, а то ведь хватит кондрашка — и будь любезен. И не в семьдесят четыре, а. . . уже завтра. Поползешь, миленький, как та старуха с палкой, похожая на улитку. Или как другая — со ртом, точно у задыхающегося птенца. Матери нет, подходит ваша очередь, Андрей Николаевич. «Что вы! Я здесь не стоял!» — «Нет уж, извините, гражданин, вы стояли, я запомнила: полный, с портфелем. Пожилой. Проходите, проходите, нечего задерживать, другие ждут».

. . . Ну, а все-таки, какие еще-то радости жизни? Сейчас, сегодня? Семейное счастье? А что, это есть. В доме мир и согласие, зря ты, мама, волновалась. И Танька, несмотря на свою невероятную «сложность», поступила на биофак. По химии и физике занимался с ней сам, и теперь: «Андрей Николаевич, вы просто гений», — а про родного папашу и не вспомнит никогда. Сегодняшняя сцена за завтраком, по сути дела, пустяки, обычные штучки затянувшегося переходного возраста. Ну, и, конечно, нервы, эта надрывная дружба с Людой не может не сказываться. . .

Вспомнив про Люду, Мартынов поморщился. Не нравилась, давно уже не нравилась ему эта дружба, хотя на первый взгляд все выглядело — не придерешься — очень благородно. Люда давно и тяжело больна: ревмокардит, большую часть времени вынуждена проводить дома. Татьяна сочувствует — прекрасно. Но вот есть в ее поведении. . . как бы это точнее сказать? Что-то. . . не

вполне естественное, экзальтация какая-то, жертва. Чувства меры не хватает. Уже два года Танька ведет образ жизни инвалида: спорт, поездки за город, театр — все заброшено. «Люда не может, и я не пойду». Почему?! Спросишь: «Чем вы там целыми днями занимаетесь?» — «Разговариваем». — «О чем?» — «Так... обо всем...» Можно больше не спрашивать — ясно, о ерунде. Пустая болтовня, вода в ступе. И результат налицо, девчонка деградирует прямо на глазах: круг интересов все уже и уже, даже одеться толком и то не умеет. Если учесть Людины запросы и культурный уровень — все понятно: закон общающихся сосудов. Вот и получается: на поверхности — подвиг во имя дружбы, а копнуть поглубже... Сложно все это, тут и искреннее сострадание, но ведь и поза, самолюбование, тщеславие даже. Пыталась как-то влиять: «Люду жалко, помочь, конечно, нужно. Но... разумно! Во всем должен быть смысл. И мера. Мы с мамой, например, могли бы попытаться устроить Люду в санаторий, это — реальное дело, а не... самосожжение. Ты должна жить нормальной жизнью, кстати, тогда и Люде общение с тобой принесло бы больше пользы. И кто тебе сказал, что разрешается иметь только одну подругу? Люда больна, это трагедия. Но для чего ты должна коверкать свою жизнь? Ради бога, навещай Люду, но пусть у тебя будет и другая компания...»

Завершился тот разговор, конечно же, скандалом и угрозами уйти из дому. Отступились. Но Мартынов был уверен — ничем хорошим эта истерическая преданность не кончится, девчонка теряет время, треплет нервы, а самое печальное то, что рано или поздно красивая поза ей все равно надоест, захочется нормальной жизни. И вот тогда будет ссора и тяжелая травма для Люды, а для Татьяны — чувство вины на всю жизнь. Как это объяснить, не обижая? Как доказать, что разумные пределы должны быть во всем? Что жизнь не театр, где можно без конца играть благородную роль. Печально. Танька — хорошая девчонка, умная, красивая... Ладно. Хватит об этом, все равно ничего не сделать — заколдованный круг. Вот и сердце опять забухало.

...Солнце распоясалось вконец, кругом все стремительно таяло, текло, плыло, несло, звенело и сверкало, с грохотом обрушивалось с крыш.

Андрей Николаевич открыл тяжелую дверь парадной, поднялся на второй этаж, привычно нащупал в кармане ключ.

Он боялся. Страшно было войти в квартиру, не грустно — именно страшно, точно там затаилась опасность и караулит.

Полгода он не был здесь.

Тем кошмарным субботним утром они с женой и падчерицей преспокойно пили кофе, когда раздался телефонный звонок, и Мартынов, сняв трубку, сперва долго не мог понять, кого спрашивают, кто говорит и о чем. Звонила Клава, соседка по дому в Сокольниках. Не здороваясь, сразу начала плакать и кричать, все время повторяя: «Увезли, увезли». Переспросив три раза, Андрей наконец сообразил: плохо с матерью, ее только что забрала «скорая помощь», которую вызвала эта самая Клава. «Скорая» поехала в объединенную больницу в Измайлово. . .

Мартынов сбежал по лестнице, но забыл дома ключи от машины. Бросился назад, столкнулся в подъезде с женой, сунул руку в карман и нашел ключи, открыл машину, вставил ключ в зажигание. Мотор не завелся.

В бешенстве он еще и еще раз поворачивал ключ, зная, что толку все равно уже не будет, только посадишь аккумулятор. В это время жена поймала такси.

Дорога до больницы выпала из памяти начисто, зато хорошо запомнился подвал, где помещался приемный покой, — длинный темноватый коридор, слева вдоль стены белые стулья, на один из которых жена усадила Мартынова, он почему-то послушно сел и стал ждать, пока она что-то выясняла у плосколицей тетки за справочным окошком.

Жена подошла к Андрею Николаевичу очень скоро, на лице ее было растерянное, какое-то бестолковое выражение, и с несвойственным ему раздражением Мартынов вдруг закричал:

— Да надо же было не два слова, а все подробно?! Где и что?! Какой диагноз? Что ей можно? Курицу? Творог? Что?!

Жена помотала головой, всхлипнула и опустилась на соседний стул.

— Еще в машине, — сказала она, — по дороге в больницу. Инфаркт.

Мартынов не был в Сокольниках после того дня ни разу. Все похоронные хлопоты жена взяла на себя. Даже теперь, столько времени спустя, она старалась оградить его от всего, что могло причинить боль. Однажды Андрей Николаевич услышал, как она ругала дочь:

— Прекрати демонстрировать, что ты убита горем! Это бестактно, Андрей потерял мать, у него действительно огромное несчастье, жалеть надо его, а не себя!

— А мне бабушку жальче! — огрызнулась Татьяна и выбежала.

Вела она себя, конечно, в те дни, и без того тяжелые, прямо скажем, не совсем... адекватно. И хотя Мартынова трогало, что девочка так убивается по его матери, он понимал — скорбь ее не вполне естественна, преувеличена. Когда он женился, Таньке было уже двенадцать, вряд ли за пять лет она успела так полюбить чужую старуху, с которой и виделась-то считанные разы. Однако ругать ее все же не стоило — эгоцентризм присущ этому возрасту, всем им искренне кажется, что их переживания самые сильные и самые главные. Относиться к этому надо терпимо, так он тогда и сказал жене.

Прошло полгода, но до сих пор не было решено, что делать с квартирой, где Андрей Николаевич оставался прописанным. То ли меняться, то ли оставить для Татьяны, когда выйдет замуж.

Чем больше проходило времени, тем, как ни странно, недовернее делалось сознание, что матери нет. Оглушительное горе постепенно утихало, а жизнь в доме на Тверском бульваре шла как прежде. Из нее исчезли только телефонные разговоры с матерью да поездки в Сокольники — раз в неделю и ненадолго: выгрузил продукты — картошку, крупу, постное масло, словом, тяжести, — выпил, поглядывая на часы, чаю, и пора. В следующий раз посижу подольше, приеду на весь день... Да, пожалуй, в последнее время иллюзия, что ничего не произошло, бывала иногда почти полной. И все-таки жизнь стала другой.

Вернее, другим становился сам Мартынов. Ему теперь казалось, что до смерти матери он так и не успел по-настоящему сделаться взрослым, с годами менялась только внешность, а начиная с этого сентября процесс внутреннего повзросления, а точнее, постарения пошел с невероятной скоростью. Из Андрюши, которым он всегда себя чувствовал, Мартынов вдруг превратился в Андрея Николаевича, больше того — начал хворать стариковскими болезнями: сердце, давление, прострел. Полезли непривычные мысли обо всей этой бодяге, почему-то даже о пенсии, которой он раньше никогда не интересовался, поскольку в обозримом будущем она ему не грозила. Теперь обозримое будущее как-то спрессовалось,

придвинулось. Одна была надежда: такие настроения — явление временное, месяц-другой, и все пройдет.

Но сейчас он стоял на лестничной площадке, сжимая в кармане ключ, и не смел открыть дверь. Казалось, стоит шагнуть туда, как старость станет реальностью. Выйти назад тем же, что вошел, не удастся. Там вот оно и начнется, «обозримое будущее», после чего непосредственно...

Опять заныло в левой части груди. Наверняка у матери есть валидол, и вообще дома можно раздеться, лечь... У матери есть валидол... «Есть» или «был»? Но он же никуда не делся, значит, «есть». Как же «есть», когда у нее уже ничего не может быть?.. Какая чушь! Бред.

Мартынов решительно открыл дверь.

Однако стоило ему переступить порог, как опять возникло ощущение: все неправда. Здесь ничто не изменилось, даже воздух привычно пах нафталином и какими-то духами, запах этот он помнил с детства. Правда, постель матери застелена по-другому, не по ее. Пыль на столе. И на пианино.

Мартынов прошел в ванную, где в висячем шкафчике у матери хранились лекарства. Что-то здесь показалось ему странным, он не понял что, стал искать валидол, нашел и положил под язык. Выходя, оглянулся и увидел в стаканчике зубную щетку. И белую расческу. Вот оно что: когда мать куда-нибудь уезжала, она всегда... Она забыла... О, господи...

Андрей Николаевич вернулся в комнату. Проходя мимо кровати, услышал хруст под ногой. Это была пустая ампула, он раздавил ее. Матери в то утро делали укол. Перед тем, как увезти. Какой укол? Как вообще все это было? Почему в квартире оказалась Клава? Кто ее позвал? Почему я не расспросил ее обо всем подробно? Помнится, на похоронах она что-то рассказывала, но запомнилось только, что мать была в полном сознании, когда ее увозили... «Она, уже когда носилки в машину ставили, сказала: «Спасибо, Клавочка», а потом на парадное наше так долго-долго смотрела...» О чем она думала в ту минуту?

Мартынов опустил на колени и аккуратно собрал в ладонь осколки ампулы. Не поднимаясь, достал пепельницу со стола и положил их туда. Потом на мгновение приник лицом к шершавому покрывалу и тут же под-

пился, откашлялся, пошел по комнате, открыл зачем-то платяной шкаф.

В шкафу, как всегда, был полный порядок. На полках стопками лежало чистое белье. Вот его давнишняя рубашка, он надевал ее иногда, если нужно было помочь матери по хозяйству. Материны блузки, комбинации... Жена смеялась: «Ты у меня, Андрюша, типичный маменькин сынок. И называешь все, как в ее молодости называли. «Комбинация». Кто так сейчас говорит?»

На распялке висел белый плащ.

...Андрей стоял у перехода, а мать шла по тротуару прямо к нему. Она не видела его, шла в незастегнутом белом плаще, в тупоносых туфлях без каблуков и серых носочках («Не модно? Чепуха! Я старая, мне наплевать!»). Она шла довольно быстро, размахивая в такт шагам старой коричневой сумкой, которую держала в правой руке. Левая была засунута в карман плаща. Андрей рванулся к матери, хотел окликнуть, но она резко повернула и зашагала прочь. Было очень тепло. Солнце светило мягко, уже по-осеннему тихо и неназойливо. И небо было другое, не такое, как сегодня. Очень синее и казалось ближе. Листья еще не начинали желтеть. Мать уходила по бульвару, а Мартынов стоял и растерянно смотрел ей вслед...

На улице таяло, блестела на солнце лакированная голая ветка у самого окна.

На середине письменного стола лежали очки матери. Рядом — школьная тетрадка, про которую она как-то сказала: «Дневник склеротника».

«Понимаешь, ни черта не помню! Выплю утром резерпин, а через полчаса ломаю голову — принимала или нет? Вроде бы нет. И иду за новой таблеткой. Так ведь можно и отравиться. А тут еще чище — поставила суп, зачиталась и забыла. Сгорел. Буду все записывать... Можно, конечно, забыть записать...»

Мартынов открыл тетрадь.

«Компот закипел в 14.40, — прочел он, — выключить в 15.00». «15.00. Компот выключен». Он улыбнулся. «Утром обязательно позвонить Андрею про повестку из военкомата». «Принять гемитон». «Сказать Таисии Аркадьевне, что книга в библиотеке для нее отложена». Какая



Тансия Аркадьевна? Мать вечно занималась чужими делами... «Принять папаверин». «Завтра пенсия. Быть дома». «Поливать в среду кактусы».

Кстати, а где они, кактусы? Всегда стояли на окне... Соседки взяли? Постой, постой... Какие-то кактусы он видел недавно в комнате Татьяны на Тверском... «Зайти в собес».

Страниц пять занимали такие записи. Лекарства. Пенсия. Собес. Опять лекарства. Да... Бедная моя мамка...

И вдруг он увидел ее лицо. Впервые увидел с тех пор, как... с того дня, когда был здесь в последний раз, привозил какие-то продукты. Тут он, помнится, тогда и сидел, за письменным столом, а мать стояла у окна.

Вот она повернулась и сказала что-то.

Теперь он отчетливо видел ее глаза, совсем не стариковские, ярко-синие на загорелом смеющемся лице.

Мать медленно подняла руку (указательный палец выпачкан пастой от шариковой ручки), поправила волосы. Гладко причесанные, тонкие и легкие, совсем белые.

Он резко перевернул страницу. Дальше шел пустой лист, но Мартынов машинально листал дальше. И внезапно наткнулся:

*«20 марта.»*

Решила заносить в эту тетрадь некоторые свои мысли и впечатления. Конечно, не для потомков, кому нужны маразматические философствования! Просто нравится писать, этакая старческая графомания. Кажется, будто все, что приходит в голову, очень значительно и важно. И, главное, правильно. Вот в чем беда всех стариков и моя тоже. Ты знаешь, как надо жить, и спешишь поделиться с другими, они-то уж точно не знают, раз постоянно делают глупости! Ты хочешь им помочь, а они пренебрежительно отмахиваются. Отсюда обиды и конфликты. Вчера думала, почему мы, старики, так уверены, что все понимаем правильно, видим мир таким, какой он есть. Думала и додумалась: мы действительно видим мир верно и прекрасно в нем ориентируемся. Только мир-то с возрастом делается другим, меньше и контрастнее, исчезают оттенки, полутона, гаснут некоторые звуки. Из многомерного и цветного все становится плоским и черно-белым. Как на экране. Маленький квадратик, а для тебя — вселенная, и в ней все очень просто, ясно и четко. Никакой путаницы: тут — верх, тут — низ, это —

белое, а это — черное. Какие же могут быть метания и разнотолки? И тебя прямо до слез возмущает, когда кто-то не может разобраться в элементарных вещах, делает дурацкие поступки и портит в результате свою жизнь. И, главное, когда ему скажут: «А дела-то ведь плохи!» — он еще нахально смеется и твердит, что, напротив, очень даже хороши: «Вы, баушка, просто ничего не понимаете!» Безумец, да и только!

Как быстро и прочно мы забыли, что когда-то и наш мир был другим! Нет, никогда мы, самодовольно пляшущие на свой микроэкран, и он, этот дурачок, ошалевший от бесконечного, звучащего, цветного пространства, никогда в жизни мы друг друга не поймем, нечего и пытаться!

*22 марта.*

Наш стариковский стакан мал, но мы пьем из своего стакана. Не надо только хватать чужой или силком пихать другому собственный. А наш мир тоже неплох, нечего тут ныть!

Сегодня провела утро в Сокольническом парке. Небо такое ясное, точно отдохнуло за зиму. Голые тонкие ветки выглядят беззащитными. Воробьи скачут по пустым дорожкам.

Я хочу жить, чтобы видеть все это.

Вчера долго не спалось. Вдруг ни с того ни с сего вспомнила, как Андрюша однажды, совсем еще маленьким, ждал меня ночью на жутком морозе. Это было во время войны в Шарье, в эвакуации. Я пошла поздно вечером в госпиталь, нужно было посмотреть послеоперационного раненого. Почему-то помню фамилию: Осипов. Тяжелое ранение в живот, боялась сепсиса.

В палате пробыла больше часа; когда вышла из госпиталя, уже стояла ночь. И вот, так и вижу: пустая улица, нигде ни одного окошка, белая луна на небе и звезды — яркие, злые. Снег блестит. А на углу напротив — маленькая фигурка. Воротник поднят, шарф повязан до самых глаз. Переступает валенками и бьет ладонью о ладонь, как взрослый. Прибежал из дома меня встречать.

...Почему всегда вспоминается только хорошее? И так отчетливо, точно это все было совсем недавно.

15 мая.

Давно ничего не записывала: «умные» мысли посещают редко. Скоро лето, на тополях уже вылупились листочки, вороны за окном орут как оглашенные. А сегодня я вытирала в комнате пыль, вдруг слышу: начался дождь, частый, сильный — капли так и колотят по карнизу. Обернулась к окну — что такое? Солнце!

То были воробьи. Я насыпала на карниз пшена и, конечно, сразу забыла, а они слетелись видимо-невидимо, сидят вплотную друг к другу и все клюют.

5 июня.

Сегодня у меня счастливый день, настоящий праздник. Утром Андрей заехал за мной на автомобиле, и мы с ним вдвоем отправились в Овражки, в лес — «подышать». Наташа, невестка, с Танечкой остались дома, к ним якобы кто-то должен прийти, но я уверена: Наташа просто хотела, чтобы мы с Андреем провели этот день вдвоем.

Я сидела на переднем сиденье рядом с сыном, машина мчалась по шоссе. Я попросила Андрея обогнать большой грузовик, загородивший мне весь обзор. Андрей засмеялся, сказал: «Ты у нас, мама, оказывается, лихач», но грузовик обогнал, а потом мы стали обходить всех подряд, даже черную «Волгу», которая катила по середине дороги. Шофер этой «Волги» посмотрел на меня очень недовольно. Я ему показала язык...

Мы всех обогнали и катили, как цари. Потом Андрюша поставил машину у обочины, и мы с ним по тропинке вошли в лес.

День сегодня был серенький, прохладный, в лесу тихо и немного сумрачно. Но сумрак какой-то особенный, зеленоватый, и пахло влажной землей, травой, соснами. Сосны там совсем молодые, кора еще не успела огрубеть, у верхушек она розовая, поэтому, хоть солнца и нет, казалось, что на них оно светит откуда-то.

Мы вышли на поляну, я остановилась и огляделась. Кругом росли высокие старые деревья, они стояли спокойно и важно, я смотрела на них, на облачное небо, на большую незнакомую птицу, бесстрашно сидевшую на ветке совсем близко от нас, и чувствовала огромное уважение ко всему этому — к лесу, птице, к муравьям, суетящимся возле высокого муравейника под елкой. А еще я чувствовала благодарность и прямо-таки щенячий,

детский восторг, когда в горле щиплет и хочется визжать и бегать по поляне. . . Как же, повизжишь тут, побегаешь, в семьдесят-то четыре года. . . Нет, чувства с годами не слабеют, просто их становится меньше, зато уж те, что сохранились. . .

*12 июня.*

Вчера приезжал Андрей, привез мне овощи. Чего только не наташил — морковки, репы, картошки. А я овощи не люблю.

Мартынов поднял глаза. Морковки, репы. . . Да, овощи он возил регулярно. Считал своей обязанностью. А вот поговорить. . . о том, о чем мать пишет здесь. . . Нет, разговаривали, конечно. О ее здоровье: «Спасибо, Андрюша, все в порядке», о его делах на работе, дома. . . Не обо всем он рассказывал, о сложностях с Татьяной, например, — никогда. Не хотел огорчать? Или. . . боялся, что мать со своей прямоотой скажет что-нибудь такое, чего ему лучше бы не слышать? . . .

*Вечером.*

Все думаю о сыне. Как все же хорошо, что он, хоть и поздно, устроил жизнь, что теперь у него своя семья. Мне и умереть будет не так страшно. Нет, я не кокетничаю, не приbedняюсь: «Одинокая старушка, никому-то она больше не нужна». В самом деле, Андрюша остался бы тогда совсем один, точно старый заброшенный пес. Недавно видела в парке: большой, породистый, но совсем дряхлый пес, спина провисла, на морде — седина, бегают один по аллее — ищет хозяина. Я походила, поспрашивала, не потерял ли кто собаку. Никто не отозвался. На следующий день, когда шла гулять, взяла с собой на всякий случай кусок колбасы и хлеба — вдруг опять встречу этого пса. Не встретила. Надеюсь, что у него все в порядке.

Вот, становлюсь сентиментальной, умиляют птички, цветочки, звери. (Звери — это коты и собаки.) Где-то я читала или слышала, что сентиментальность — эрзац, замена настоящей доброты. Наверное, так оно и есть. Доброта всегда действительна, а у старости на действие уже просто нет сил. Что ты можешь сделать для других? Разве что по возможности избавлять от забот о твоей персоне. Это, кстати, и для себя самой большое счастье — суметь остаться независимой, сохранить достоин-

ство. Только бы хватило здоровья, только бы повезло продержаться так до конца. Иногда такие безнадежные, такие мрачные мысли лезут в голову.

*13 июня.*

Перечитала вчерашнюю запись. Какая противная старуха, ханжа! И эгоистка! Сидит в чистой красивой комнате и жалеет себя.

*20 июня.*

Уже в одиннадцатом часу перед самым сном вышла пройтись. Было прохладно, под ногами — тополиный пух. Вся улица белая. Шла и думала, что старость не такая уж страшная вещь. Конечно, сил все меньше, на рожу свою в зеркало смотреть противно, зато есть и кое-какие преимущества.

«Старый что малый» — правильная поговорка, но ее вовсе не следует понимать так, что дети — дураки, а старики выжили из ума. Просто в старости возвращается многое, что было в детстве, а потом куда-то делось. Например, радость, что выпал первый снег или скворцы прилетели и обживают скворечник. Что видела белку. Что кормила большую грозную собаку и не боялась. А еще — что с тобой долго разговаривали взрослые, слушали внимательно, с интересом, а не из вежливости... В старости приходит детская свобода, даже безответственность, ведь от тебя больше ничто почти не зависит, ничего не надо добиваться, тшиться доказывать. Не надо вечно заботиться о будущем, оно ведь теперь такое маленькое, да и есть ли вообще! Считается, что старики живут прошлым. Неправда это, мы живем настоящим. Как дети. А жизнь сложилась, как сложилась, изменить уже ничего нельзя. И хорошо. Если, конечно, у тебя чистая совесть и есть хоть немного мужества.

Чем-то старость похожа на каникулы в школе: отметки за полугодие выведены и поставлены в таблицу, за тройку по арифметике отец уже отругал, но теперь-то все уже позади — и его нотация, и твоя зареванная физиономия. А впереди — зимние каникулы! Короткие, конечно, но, может быть, в этом и главная прелесть, что короткие?

*8 августа.*

Расхворалась, старая песочница! Всех перепугала, переполошила. Чуть не месяц продержали в постели. Бед-

пые Андрей с Наташей всю первую неделю дежурили около меня по очереди, а я уже через три дня почувствовала, что выкарабкалась, лежала и барствовала. Теперь уже встаю, двигаюсь потихоньку, сегодня даже ходила гулять.

Позавчера меня навестила Танечка, Андрюшина дочь. Меня удивляет, что Андрей, говоря о ней, всегда называет ее падчерицей, как-то это, по-моему... нехорошо. Ведь ей семнадцать лет, и пять из них прожиты вместе с Андреем, это почти треть ее жизни. Достаточно, кажется, чтобы привыкнуть, полюбить ее, как родную. И она тоже зовет его по имени-отчеству. Странно это. Пробовала как-то в разговоре с ним коснуться этого вопроса. Он сперва нахмурился, а потом сказал, что не видит никаких поводов для волнений, отношения в семье нормальные, а кто как кого зовет — не имеет значения. Ему виднее...

А мне Танюшу жалко. Какая-то она тихая, замкнутая и уж очень худенькая, прямо как веточка. Угостила ее чаем, посмотрели вместе телевизор. Она сейчас сдает вступительные экзамены в университет, два уже сдала и оба — на пятерки. Когда уходила, вдруг сказала: «Бабушка, а можно я к вам после того экзамена опять приду? Я хотела с вами поговорить об одной вещи. Только родители пускай не знают». Конечно, я разрешила, но теперь все беспокоюсь, что там у нее случилось. Раньше ведь она ко мне одна никогда не приезжала. Андрею, разумеется, я ничего не сказала, но сегодня по телефону спросила, как там дела у Танюшки. Он очень бодро ответил, что все в порядке, занимается.

*17 августа.*

Только что от меня ушла Танюшка. Проговорили весь вечер, я разволновалась, пришлось даже капать корвалол. Вот вам и «нормальные отношения»! Она решила, после того как поступит, проситься в общежитие или снимать угол. Ей кажется, что родители ее не понимают. «Они считают, — говорит она, — что если я не грублю и слушаюсь, если готовлюсь к экзаменам и получаю пятерки, значит, все хорошо. А что я давно уже не говорю с ними ни о чем серьезном, ничего про себя не рассказываю, им безразлично. А мне обидно, не хочу жить с людьми, которые ко мне формально относятся». — «Как это — формально?» — спрашиваю. «А так, что лишь бы со мной хлопот не было. По физике помочь — это пожа-

дуйста, а что у меня на душе, никому не интересно». — «А почему ты не говоришь с ними о серьезном?» — «Раньше я рассказывала. Как, например, поспорила с Людкой, это моя подруга, а мама еще не дослушала, но сразу судит. Сразу — кто прав, кто не прав и кто на кого плохо влияет. Вообще мне не нравится, что они всегда судят». — «Как так — судят? Кого?» — «Да всех! Своих знакомых, которые неправильно живут. Начальников с работы. Мою Людку. Даже теледикторшу, что причесана плохо. И еще: для чего они по сто раз повторяют одно и то же? Сижу, учу. Мама: «Занимайся как следует. Сейчас для тебя это — самое главное». Я же и так занимаюсь! И почему она знает, что для меня самое главное?»

«А что для тебя самое главное?» Задумалась. Потом говорит: «Наверное, чтобы меня понимали. И самой чтобы знать, кто — какой, кому можно доверять, как разобратся, когда говорят правду, а когда врут. . . Вам смешно?» — «Ни капли, — говорю, — мне такие вещи тоже интересны». — «А они считают, что это все пустая болтовня. Надо, мол, заниматься делом, тогда не останется времени на самокопание. Вообще они никогда слова не скажут попросту, как друзья. Вот как вы или Людка. А всегда — как родители, которые должны меня воспитывать. Я же не дура, вижу: это — чтобы вечером не шла к Люде, а сидела дома, а это — чтобы достойно вела себя с мальчиками. И хоть бы что интересное сказали. Надоело!»

Что ей ответить? Я честно сказала, что к разговору совершенно не готова, она коснулась слишком серьезных вещей, мне надо подумать. По-моему, ей это даже понравилось, ушла повеселевшая, обещала завтра позвонить. Завтра последний экзамен — физика.

*18 августа.*

Сейчас Таня сдает экзамен. Сижу у телефона и думаю о вчерашнем разговоре. Что ей сказать? Как объяснить, что родителям часто так же трудно понять своих детей, как детям — родителей. Что когда говорят банальности, это часто от беспомощности, от невозможности найти общий язык. А то, что все мы часто «судим» других. . . Но ведь и Таня сама тоже «судит». «Судит» родителей, причем беспощадно. Матери и отцы почему-то всегда забывают, что дети видят их со стороны. «Роди-

телей надо уважать». Разделение труда: «Мы тебя родили и кормим, ты нас уважаешь». Но ведь сами-то мы его, своего ребенка, не уважаем! Иначе зачем глухим прописными истинами! Или просто врем. В «педагогических целях».

Когда Андрей был маленьким, я вот так же «делала из него человека». Может, это я и сломала ему характер... Печально... Что я скажу Тане? Страшно мне за нее. И за сына тоже. Ведь если она уйдет из дому, Андрей будет казнить тебя — неродной отец. И обывателям радость. Как с ней говорить? Что советовать? Ясно одно: никаких «педагогических соображений», никаких скидок на возраст.

*20 августа.*

Не было времени писать, все какие-то дела. Набралось много хлопот по дому, потом вдруг дали Агату Кристи, читала даже ночью, не могла оторваться.

Часто приходит Танюшка. Студентка! У нас с ней, как она выражается, «тайный роман». Почему-то не хочет, чтобы родители знали. Может быть, боится, что мать станет ревновать? Я-то так не думаю. Наташа — разумный человек.

Обсуждаем все на свете, Таня со мной, кажется, откровенна. Занимаемся и «самокопанием». Не понимаю, что в этом плохого? Почему уборка квартиры — дело, а наведение порядка в собственной душе — пустая блажь? Но могу похвастаться, что в результате наших собеседований идея уйти из дома снята, что называется, с повестки дня. Зато зимой, во время каникул, мы решили поехать в пансионат на Клязьму, я там жила в прошлом году. Путевки я возьму заранее.

Я рада, что у Андрея такая дочь, прямая, думающая, тонкая.

*25 августа.*

Ездили с Таней в Измайловский парк... Лето кончается, а там еще цветут незабудки. Мы с Танюшкой нарвали букет.

Кормили печеньем белку, сама к нам прибежала и безо всякого стеснения ела с ладони. У нас в Москве животные не боятся людей. Таня утверждает, будто в Ясеневе по улицам несколько дней бегала лиса. А я вдруг вспомнила: когда я года три назад путешествовала



по Волге, меня удивило, что в разных городах уличные собаки и кошки ведут себя совершенно по-разному. Помнится, в Саратове стоило позвать, как сразу доверчиво и радостно подбегали, в другом городе не обращали никакого внимания, а было, что опрометью кидались прочь.

После прогулки вернулись ко мне. Я поставила чайник, а Таня отправилась в наш «универсамчик» за тортом. Собирался дождь, я заставила ее надеть мой белый плащ, он ей оказался впору. Она посмотрелась в зеркало и заявила, что мы похожи. Глаза, говорит, одинаковые. И фигура. Это у меня-то фигура!

Я смотрела в окно, как Таня переходит улицу. Она шагала так широко, свободно, стремительно, прямо лела, размахивая своей красной сумочкой.

Потом мы пили чай, а после чая она сразу убежала к Люде — та плохо себя чувствует, лежит. Я Танюшке дала с собой кусок торта.

О Люде мы говорили сегодня целый день. Таня хочет, чтобы я ее посмотрела. Но я ведь хирург, а не ревматолог. А показать ее кому-то, конечно, надо. В сентябре вернется из отпуска Нина Шустова, позвоню, попрошу посмотреть. Чем черт не шутит, вдруг это не ревмокардит? Ведь бывают ошибки. Если бы выяснилось, что тут, допустим, тонзиллогенная кардиопатия, после удаления миндалин все пришло бы в норму. Нина разберется, она прекрасный диагност и вообще молодец. Совсем девочкой пришла к нам в клинику, и вот заведующим, кандидат. В нашу клинику. . . Десять лет я на пенсии, а все не верится, что навсегда. До сих пор скучаю. По товарищам — по Владлену, по Нине. Правда, с ними я вижу, и довольно часто. Но больше всего, пожалуй, скучаю все-таки по больным. Казалось бы, сколько их было, тысячи. А вот, многих помню. Вспоминается лицо: входил в палату дня уже через два-три после операции, а он живой, осмысленный, говорит. . . И такой восторг при этом чувствуешь, так благодарна ему! Что-то очень похожее испытывала, когда Андрей в первый раз улыбнулся. Счастливые мы люди, врачи.

А Люде непременно надо помочь. Мне нравится, что ни Таня, ни, видимо, сама Люда несколько не сомневаются, что будет все в порядке, обсуждают, как Люда на будущий год поступит в университет, тоже на биофак, как Танюшка.

Вечером звонил Андрей. На работе все то же, а дома неприятность: у машины полетела какая-то коробка, и

теперь он ее нигде не может достать. По-моему, он просто устал, а отпуск только в октябре, как дотянет? Жалко его, и еще мне неловко, что скрываю свою дружбу с Таней: Не привыкла я врать, так и не научилась. И, главное, уверена — он был бы только рад. Но Тане нравятся тайны, просит пока не говорить, и я молчу. Ребенок она еще.

*28 августа.*

Сегодня из дому не выходила — слабость, кружится голова. День за окном грустный, робкий, нет-нет да крапает дождь. Видно, лето кончилось. С утра настроение было паршивое, а сейчас отпустило. Лежала, читала Тютчева. В комнате уютно, на пианино в вазочке незабудки — совсем свежие, яркие.

Только что звонила Таня, она у Люды. Спросила ее: «Что вы делаете?» Отвечает: «Разговариваем». Я сразу поняла: о чем-то важном.

Тане очень повезло, что у нее есть настоящий друг, что это всерьез. В ее возрасте нельзя быть одной, не справиться с жизнью — столько на тебя обрушивается мыслей, чувств, вопросов, а от взрослых помощи ждать бесполезно — у них свой мир, свой «экран».

Хорошая у меня внучка, чем больше узнаю ее, тем она мне больше нравится. Вот хотя бы ее отношение к Людиной болезни — не шарахается он чужого несчастья, да и неправильно тут говорить — «чужого». На мой взгляд, сострадание — одно из самых высоких чувств, а в Танюшкином возрасте каждый так переполнен собой, что слышать и понимать других иногда просто не в состоянии. Наверное, это естественно. Я обращала внимание, что маленькие дети жалеют птиц, котят, а потом это вдруг куда-то исчезает, а взамен — эгоизм, иногда даже жестокость. Обычно с годами это проходит, но ведь может случиться, что детские доброта и открытость так больше и не вернуться, потонут в житейской суете, в сиюминутных заботах. Душа отсыхает. С Таней этого случиться не может, я уверена. Она и сейчас не сосредоточена на себе, с ней интересно. Недавно рассказала мне, как у них с ребятами был спор: нужно ли быть добрым? Кто-то сказал, что не нужно, в современном мире, дескать, гораздо ценнее другие качества: энергия, ум, быстрая реакция. А доброта — атавизм. Другие говорили: «Нет! Добрым быть нужно: если ты никого не пожалел, то и тебя не пожалеют и не помогут».

Я спросила Таню: «Ну, а ты что сказала?» Отвечает: «Ничего. Я такие задачи с ходу решать не умею. Но, по-моему, тут вопрос поставлен глупо. Как это — надо ли быть добрым? Все равно что — надо ли быть красивым?»

Потом она еще сказала, что из-за этого спора обиделась на родителей: «Я их спросила: а как они считают? Мама улыбнулась, говорит: «Как в твоём возрасте обожают решать мировые проблемы!» А Андрей Николаевич вообще сказал, что он считает: лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным».

Я промолчала, хотя вообще-то Танюшкин рассказ меня удивил. Даже возмутил. Откуда такое высокомерие?! Очень мне хотелось позвонить Андрею и «выдать», но я ведь должна хранить тайну. А между тем он не прав, и не только по форме, но и по существу. Есть вопросы, которые человек хочет, имеет право решать сам, независимо от того, что они уже решены задолго до него. Ничего странного, а тем более смешного тут нет. Это нормально, так и должно быть. По себе знаю: одни и те же «задачи» такого рода я для себя решала в течение моей жизни по многу раз. И ответы не всегда были одинаковыми.

*ВЕЧЕР. 11 часов.*

Только что забежала Танюшка, легка на помине. «Мне показалось по телефону, что у вас голос грустный». Отправила ее домой на такси.

Все-таки сегодня был хороший день. А сейчас за окном совсем темно, небо расчистилось, и такие крупные, ясные звезды на нем.

*5 сентября.*

Сейчас ночь. На улице гроза, совсем летняя. Грохочет ливень, молнии исхлестывают небо.

Хорошо бы утро было ясным: мы с Татьяной договорились встретиться у входа в парк, у нее завтра лекции с двенадцати, успею показать ей свои любимые места.

О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней...  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней.

Любовь к жизни — она ведь на самом-то деле и есть самая последняя наша любовь, которая «и блаженство и безнадежность».

.. Помедли, помедли, вечерний день,  
Продлись, продлись, очарованье. . .

Ну конечно же, это о черном небе, о тополиных ветках рядом с моим окном: сейчас я слышу, как они шумят, плещутся, сотрясаются от воды, которая рушится на них. И о лесной поляне в Овражках — мы с Андреем были там в начале лета. И о нашей дружбе с Танюшкой. А еще об этой комнате, где мне так уютно читать в кресле под торшером, о том, что завтра утром встану и пойду в Сокольники. А вечером обязательно позвонит Андрюша.

Дождь утихает. Молнии все реже и дальше. Скоро начнет светать».

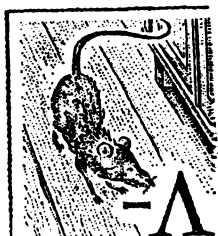
Больше записей не было.

Яркий ровный свет заливал комнату. Мартынов осторожно положил тетрадь, встал, подошел к окну.

Пал снег. Плоские, медленные хлопья, похожие на блюдца, осторожно летели к земле. И — чего только не увидишь в Сокольниках — мимо старинного деревянного домика с резными наличниками неторопливо тащила телегу белая лошадь. Большая овчарка яростно шерилась на нее от подъезда девятиэтажного дома. На машины овчарка никакого внимания не обращала.

.. Мать шла по тротуару. Она быстро приближалась, высоко держа непокрытую голову и по-девчоночьи размахивая в такт шагам сумочкой, которую сжимала в правой руке. Левая, как всегда, была глубоко засунута в карман. Легкие волосы растрепались над загоревшим за лето лбом. Плащ распахнулся. Она шла навстречу, никуда не сворачивая, широко и свободно шагала, глядя ему прямо в глаза, а небо было пронзительным и очень близким.

И блестили на деревьях совсем еще летние листья, только что омытые снегом.



— Лучше уж пускай бы как раньше, — сказала тетя Геля и вытерла глаза.

— Как раньше?! Благодарю вас! Хорошенькое дело: «как раньше!» — так и задохнулась Анна Львовна. — Я всю жизнь живу в этой квартире и всю жизнь варю суп в комнате на плитке, почти не пользуюсь газом. И вынуждена была до последнего буквально времени ходить в баню, хотя у нас есть ванна. Я боялась лишний раз выйти в туалет, не говоря уж о том, что моя личная жизнь...

— Нет, лучше бы как раньше, — упрямо повторила тетя Геля, — на это я просто смотреть не могу.

Я-то лично к Чудовищу привыкла и не очень боялась его даже в детстве. Я родилась, когда оно уже поселилось в нашей квартире, и для меня не было ничего необычного в том, что в коридоре около ванной или в кухне можно встретить косматое существо с одним багровым глазом посреди лба, с длинным чешуйчатым хвостом... Да что там описывать — чудовище как чудовище, не чудовищнее других.

Говорят, еще до моего рождения наши жильцы обращались куда-то с заявлением, чтобы Чудовище отселили в другое место, чтобы даже предоставили ему отдельную квартиру. Но им отказали — мол, если все отдельные квартиры раздавать чудовищам, то куда же тогда селить многодетные семьи, мол, чудовищ много, а квартир мало, а наш случай — они так и сказали: «Ваш случай еще не самый тяжелый, — ни одного смертельного исхода или тяжкого телесного повреждения».

А то, что мужа Анны Львовны на целый месяц сделали алюминиевой кастрюлей, так это, оказывается, не тяжкое повреждение. Муж этот, говорят, как очухался после того, что в нем месяц варили борщи и тушили мясо, так сразу и ушел к другой, а Анна Львовна осталась одна и с тех пор не может простить Чудовищу, что оно разбило ей жизнь. Чудовище, правда, давало честное слово, что превратило мужа Анны Львовны в кастрюлю именно за то, что тот каждый вечер звонил из коридора по телефону своей даме и сюсюкал с ней, и он, дескать, все равно бы ушел, а так поневоле лишний месяц прожил дома, хоть и в виде кастрюли.

Не знаю, чем кончилась бы эта история, — Анна Львовна, говорят, грозилась подsunуть Чудовищу в миску перегоревшую электрическую лампочку, — но тут Чудовище надолго уехало в какую-то экспедицию с музеем этнографии и антропологии, где служило экспонатом.

Потом история с мужем Анны Львовны как-то забылась, но у Чудовища с возрастом стал портиться характер, и оно жильцам буквально прохода не давало.

То приходишь в ванную комнату, а в раковине и в ванне полно лягушек и тритонов; то вдруг все холодильники начинают противно завывать и греться и в них закипает молоко и печется мясо; то у несчастной Анны Львовны на носу вскакивает невероятных размеров прыщ и каждый день меняет окраску: сегодня он синий, завтра — лиловый, а послезавтра — ядовито-зеленый.

Надо сказать, что с тетей Гелей у Чудовища были какие-то более ровные отношения. Найдет она у себя в буфете вместо хлеба черепаху — и радуется: «Смотрите, рептилия! Я ее сейчас отнесу в детский сад, в живой уголок!»

Меня в детстве, как я сейчас понимаю, Чудовище просто терпеть не могло, так я его раздражала. И тем, что с топотом бегала взад-вперед по коридору, и что громко смеялась, и в комнату к нему любила заглядывать. Поэтому Чудовище вечно устраивало мне ангины. Не очень тяжелые, но такие, что и не посмеешься — голоса нет, и не побегаешь — укладывают в постель.

Когда я выросла, Чудовище одно время очень мне вредило: стоило позвонить по телефону какому-нибудь знакомому, как оно всегда успевало раньше всех схватить трубку и прошипеть: «Нет. Ушла на свидание к другому».

Сейчас я живу одна. Родителей уже нет, семьи не получилось, тетя Геля, соседка, опекает меня, как может, а Чудовище. . . Во всяком случае, изводить меня оно перестало. Ну, конечно, стоит мне поздно вернуться из театра или из гостей — тут уж обязательно или споткнусь в коридоре о кота, которого у нас никогда не бывало, или новое платье разорву о колючую проволоку. Но это так, мелочи. А в последнее время и того нет, в последнее время с Чудовищем что-то творится, не узнать его: глаз из красного сделался каким-то грязно-рыжим, шерсть поседела, — одним словом, стареет наше Чудовище. На службу оно теперь не ходит, сидит целыми днями у себя в комнате и то шипит, то вздыхает. И вот сегодня тетя Геля как раз сказала, что лучше бы уж все оставалось по-старому, а то у нее душа болит смотреть на Чудовище и сил больше нет подметать за ним чешую.

— Что касается этой мерзкой чешуи, — заявила Анна Львовна, — то тут я с вами, Ангелина Николаевна, целиком и полностью согласна: это безобразие! Надо заставить его дежурить лишнюю неделю, никто не обязан убирать за ним грязь!

Тут разговор прекратился, потому что дверь Чудовищевой комнаты громко закрипела, а через минуту и оно само появилось на кухне.

— Моете мне кости? — спросило Чудовище, и глаз его слегка порозовел. — Ну-ну. . . А вот я сейчас вас всех простужу! Такого холоду наделаю!

И Чудовище принялось дуть, отчего щеки его сразу посинели, а голова мелко затряслась.

— Ф-ф-у-у! — дуло Чудовище, и вдруг я заметила, что тетя Геля дрожит и припрыгивает на одном месте, постукивая ногой об ногу и потирая нос, будто он у нее отморожен.

— Хо-о-лодно! Хо-о-лодно! — жалобно тянула тетя Геля и зачем-то подмигивала мне. — Ты что стоишь? — вдруг закричала она. — Двигайся! Двигайся! Не то — верная пневмония! Руки на пояс! Присядай!

Мне было не то что не холодно, а даже довольно жарко, тем более что дело происходило на кухне, где были зажжены все конфорки. Но тетя Геля так подмигивала и кричала, что я уперла руки в бока и начала приседать.

— Ага! Ага! — обрадовалось Чудовище. — То-т-то же! Попляшете теперь у меня!

Не успела я опомниться, как тетя Геля схватила меня за руку и стала вскидывать ноги в каком-то дикарском танце. Я топталась рядом.

— Сумасшедший дом! — гневно заявила Анна Львовна и вышла из кухни.

Чудовище испуганно посмотрело ей вслед, потом перевело взгляд на пляшущую тетю Гелю и тихим голосом спросило:

— Почему она не пляшет? Почему она ушла?

— Она око-че-не-ла! — задыхаясь, выкрикнула тетя Геля, продолжая танец. — Понимаете меня?

Но Чудовище уже забыло, о чем спрашивало. Везя хвост и оставляя на полу след чешуи, оно подошло к своему холодильнику и открыло дверцу.

— Где же кость? — растерянно сказал Чудовище. — Ведь я помню. . . Вчера была здесь, я купило ее в гастрономе. . .

— Ваша кость? Так вот же она, вы утром сварили из нее бульон, помните? — притоптывая, тетя Геля протягивала Чудовищу свою белую кастрюлю с супом.

— Разве? Хм. . . — Чудовище недоуменно уставилось в кастрюлю: — У меня не было такой миски.

— Ваша, ваша мисочка, я ее немножко почистила — вот и все.

— А-а-а! — загремело Чудовище. — Так вы посмели трогать мою миску?! Я запрещаю! За это. . . За это вы обе. . . Окаменеть сейчас на тридцать пять минут!

Тетя Геля тут же застыла, как в детской игре в «замри», а у меня как назло зачесался нос, и я подняла было руку, но тетя Геля вдруг незаметно, но очень больно ущипнула меня за бок, и я замерла тоже.

Чудовище окинуло нас победным взглядом, потом выхватило из тети Гелиной кастрюли вареную курицу и сжевало ее целиком.

— Прре-красная кость! — прооручало Чудовище, облизнулось и сжалилось над нами.

— Можете идти, — разрешило оно и важно удалилось из кухни, прихлебывая суп через край кастрюли.



— Зачем вы отдали ему весь свой обед? — спросила я, когда дверь за Чудовищем закрылась. — И где его кость, в самом деле?

— Да не было у него никаких костей, — махнула рукой тетя Геля, — оно и в магазин-то уже неделю не ходило.

— Так чего же оно ищет?

— А кто его знает! Может, забыло. А может, просто так, хочет показать, что все в порядке. А у самого — денег ни копейки, голодное сидит.

— А пенсия?

— Какая там у него пенсия? Оно же — экспонат, его... списали. — Тетя Геля понизила голос. — Его как бы нету. Я вот за комнату теперь боюсь, не выселили бы его. Ты только, смотри, Анне Львовне ничего не говори.

— Не скажу, — сказала я тоже шепотом.

Кости и фарш мы с тетей Гелей покупали теперь по очереди в домовой кухне и клали Чудовищу в холодильник. Как-то тетя Геля положила туда еще два яблока и пакет с кефиром.

— Что это — все мясо да мясо! Так и желудок можно испортить, — сказала она. — Я хотела ему кефир в бутылке взять, так оно ведь целиком все глотает, лучше уж пакет.

— Яблоки точно выкинет, — сказала я.

— Посмотрим. Может, не сообразит, оно последнее время видеть плохо стало, — тут тетя Геля оглянулась на дверь, в кухню входила Анна Львовна.

— Смотрю я на вас обеих, — заявила Анна Львовна, — и, право же, становится смешно. Вся эта ваша тайная благотворительность — думаете, не вижу? Все это притворство, одним словом — спектакль! И, главное, ради кого! Был бы человек, а то... нечисть какая-то.

— Неужели вам не жалко, оно же старое, — сказала я.

— Жалость, милая моя, не то чувство, которым можно хвастать, жалость унижает. А уж в данном случае, — она поставила кофейник на плиту, — в данном случае говорить вообще не о чем. Еще пока оно приносило какую-то пользу в своей... кунсткамере, можно

было терпеть, а сейчас... Животное должно жить в лесу.

Чудовище вошло в кухню так тихо, что мы даже не заметили. Оно стояло в дверях, и глаз его багровел, как когда-то в далекой молодости...

— Так... значит — животное... — медленно произнесло Чудовище и опустилось на табуретку. — Сейчас я вам покажу.

Оно тяжело и прерывисто дышало, редкая седая шерсть на его голове и шее поднялась дыбом.

— Сейчас... у вас подкосятся... ноги... да! Ноги! И вы все... упадете... на пол, а потом... Раз! Два! Три! На пол!

Мы с тетей Гелей грохнулись одновременно. Анна Львовна продолжала стоять, прислонившись к краю плиты, и усмехалась, глядя Чудовищу прямо в глаз.

— А ты? — спросило Чудовище. — Тебя не касается? Почему не падаешь?

— А с какой это стати я должна падать, скажите на милость? — ощерилась Анна Львовна.

— Так я же тебя заколдовало.

— Ой, уморил, — Анна Львовна подошла к Чудовищу вплотную. — Колдун нашелся! Да ты только и можешь, что мусорить чешуей да подъедать чужие подачки! Тебя скоро в утиль сдадут, рухлядь такую! Ты никто! Ты — списан!

— Спи-сан? — шепотом повторило Чудовище. — Это кто списан? Я списано? Неправда! Неправда! Я все могу! Посмотри на них, они упали, упали!

— Ха-ха-ха! — заливалась Анна Львовна. — Да они притворяются. Из жалости — понятно? А ты — списан! Я сама была в музее и видела акт.

— Нет! — Чудовище вскочило с табуретки и заметалось от двери к плите, колотя по полу совсем уже облезлым хвостом. — Я тебе сейчас покажу. Я превращу тебя в крысу! В крысу!

— Ха-ха-ха! — только и ответила Анна Львовна и вдруг изо всех сил каблуком наступила Чудовищу на хвост.

Чудовище закричало. Крупные слезы одна за другой покатались из глаза, ставшего сразу бледно-голубым и тусклым. Мы с тетей Гелей вскочили с полу.

— Как вам не стыдно! Пустите его! Пожилой человек, а такая жестокость!

— В крысу! В крысу! — шипело Чудовище, не помня себя, и тыкало Анну Львовну в плечо темным скрюченным пальцем. — Раз! Два! Три! ...

— Ха-ха-ха! — веселилась Анна Львовна.

И тут закричали мы с тетей Гелей:

— Крыса! Крыса! — кричали мы. — Подлая крыса! Гадина! Раз! Два! Три!

И вдруг не стало Анны Львовны.

Только что она хохотала нам в лицо, двигала плечами в белой блузке, и — нету. Совсем нету, будто и не было никогда.

В кухне стало тихо. Что-то живое ударилось об мою ногу и сразу отскочило к стене. Я завизжала и полезла на табуретку.

Большая серая крыса пересекла кухню и юркнула под стол Анны Львовны. Чудовище тихо всхлипывало, отвернувшись к стене.

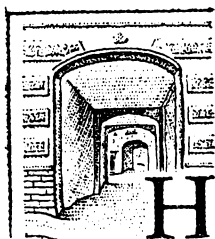
— Вот видите, — сказала тетя Геля, — все у вас получилось. Не надо плакать. Пойдемте есть суп.

— Это у вас получилось, а я... я ведь и правда списано. Есть акт.

— Да какое нам дело до акта, — тетя Геля осторожно гладила Чудовище по шерсти, — не бойтесь вы никого. А если вас кто-нибудь тронет, я напущу на него... муравьев.

— И я напущу! — сказала я. — Ладно?

Чудовище не ответило. Привалившись к стене, оно дремало, закрыв глаз и обмотав ноги тонким голым хвостом.



**Н** а кувалду Сергей Фомич не похож. Фигура у него щуплая, цвет лица довольно прозрачный, голову он все время норовит втянуть и спрятать. Улитин. Вот как бы ему называться, если бы в жизни все складывалось так, как нам хочется.

Какую жизнь хотел для себя Сергей Фомич Кувалдин, про это он никому не рассказывал, разве что одной вороне, но она улетела. Те же, кому пришла бы охота наблюдать за ним со стороны, увидели бы малопримечательную личность, в пятьдесят с лишним лет работающую делопроизводителем в ЖЭКе и одновременно там же — в должности дворника. Если охота разузнавать и тут бы не пропала, то можно было бы легко выяснить, что уборка снега и мусора во дворе — главное его занятие, а делопроизводство — так, полставки. Да, собственно, и делопроизводства-то никакого не было, было создание дыр с помощью дырокола. Дыры осуществлялись в важных бумагах и справках, которые необходимо было поскорее поместить в картонный «скоросшиватель» — для постоянного хранения на века.

Кувалдин, как непременно нужно написать в его характеристике, случись в ней надобность, был честен и добр, характер имел уживчивый, к обязанностям своим относился прилежно, в быту скромн, морально устойчив. Однако всего должно быть в меру, а этот человек даже на улицу в будний день, не говоря о праздниках, выходил незаметно, бочком, спрятав лицо в воротник или шарф, смотрел безбилетником или как гость, которого силком затащили в час ночи без приглашения в совершенно чужую семью. По людным улицам Сергей Фомич вообще избегал ходить, всегда старался прошмыгнуть в первые попавшиеся ворота, чтобы как-нибудь проходными дворами, переулками да закоулками

добраться до места, куда ему надо. А если уж закоулками никак, то с улицы не один раз забьется в темную парадную и стоит там, весь съезжившись, пока не прогорланит мимо какая-нибудь особенно победоносная компания.

Почему он выбрал малопrestiжную и довольно-таки тяжелую работу дворника? А потому, что на дворника редко когда обращают внимание, не всматриваются в него и не изучают, как не всматриваются в дождь и не изучают вывеску «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАМКОВ». Какое нам дело до дворника, если лед во дворе добросовестно сколот и если мы не идем грабить квартиру профессора, коллекционирующего старинные монеты?

Как Сергей Фомич проводил свою юность, я не знаю. Знаю (случайно) немного о его детстве, об учении в начальной и средней школе. Рассказывать об этом подробно, поверьте, не стоит, но упомянуть все же придется, без этого не обойтись. Дело в том, что, сидя на уроках с совершенно отсутствующим, а как утверждала учительница Василиса Ефимовна — тупым и наглым видом, Сережа Кувалдин, вместо того чтобы овладевать знаниями, во всех своих тетрадях рисовал одну и ту же дурацкую картинку: никому не понятный город с дворцами и башнями, над которыми простиралось, сколько хватало бумаги, ясное голубое небо с мордастой — днем-то! — луной посередине. Выражением лица луна чем-то напоминала учительницу Василису Ефимовну.

Лоботрясное малевание города с башнями и разгильдяйские взгляды, время от времени бросаемые в окно, в конце концов привели к тому, что ученик Кувалдин, промаявшись в школе до шестого класса, кое-как научившись писать и считать (ворон?), — обращаю ваше внимание, это важно, — навыком чтения так и не овладел, так что не мог разобрать даже слов, написанных собственноручно на страницах собственной тетради.

Во время войны Сергей Фомич был призван в армию, служил в пехоте, до самой Германии дошел. В апреле сорок пятого его слегка контузило, но он и после контузии остался таким же, как был, разве что прекратил рисовать на чем попало свой город с нелепыми башнями. Да ведь и пора было прекратить, сколько можно!

В общем, ко времени, которого касается наш рассказ, Сергей Фомич был уже далеко не молод, ходил зимой в ватном пальто с воротником из кролика под котик, а во что одевался летом — не имеет значения, ибо речь пой-

дет о зиме. Семейное положение его было — холост, поэтому что — кто за такого пойдет? Да ему и самому никогда не пришло бы в голову подобное нахальство; проживал с восьмидесятилетней матерью, пытался, как уже говорилось, передвигаться проходными дворами и еще любил ворон.

Можно удивляться: ворон? Почему именно ворон? Но согласитесь, даже такой незначительный работник, как Кувалдин, имел, в самом деле, право свободного выбора причуды, пусть странности, словом, чего-то такого, чего он не обязан никому на свете объяснять!

Вот и мы объяснять ничего не будем, а вспомним лучше один эпизод: стоит Сергей Фомич как-то раз на углу страшной, потому что — многолюдной, улицы, возникшей посередине его пути. Миновать эту улицу дворами не получается, обойти переулками — далеко, и вот он стоит, точно одинокий путник на берегу быстрой реки в ледоход, не решаясь ступить на тротуар, по которому мчатся, извиваясь и закручиваясь, людские потоки. Он приник спиной к водосточной трубе и убито глядит на этот поток, в настоящий момент волокущий беспомощного южного человека в белой кепке, унося его в какие-то дали и незнакомые местности. Чувствуя ужас этого человека, соображая, чем бы ему помочь, и уже понимая, что помочь нечем, Кувалдин не сразу услышал шебуршанье, раздавшееся в водосточной трубе прямо над его головой.

Южный человек, вращаясь, исчез за поворотом, и только тогда Сергей Фомич осознал, что в трубе происходит нечто трагическое. Там скреблось, колотилось, трепыхалось и поскрежетывало; кто-то, выбиваясь из сил, пытался ползти вверх, но срывался, оскальзывался и опять начинал беспорядочно биться. Кувалдин, который самолично никогда бы не полез карабкаться вверх внутри трубы, даже приведи его судьба туда провалиться, никак не мог взять в толк, что тут делать. Робко оглянувшись по сторонам, он встряхнул загадочную трубу, сперва слабенько, потом сильнее, отчего скрежетание переместилось ниже. Теперь оно слышалось где-то между третьим и вторым этажами, а всего этажей было пять. Кувалдин, решившись, вцепился в трубу и потрянул ее так, что внутри сперва стало совсем тихо, потом что-то бешено заколотилось и, скрежеща о железо, съехало вниз. И вот, царапая когтями лапами раструб, из него, как из удава, вывалилась жеваная ворона, пребы-

вающая в полуобморочном состоянии. Перья на ее спине стояли дыбом, левое крыло торчало, как парус, глаза были зверские. Летать эта ворона ни в коей мере не могла бы, так что Кувалдину пришлось спрятать ее под пальто и нести домой.

Потом целый месяц она приходила в себя, матушка же Сергея Фомича — совсем наоборот и ежедневно не по одному разу повторяла, что уж если кто смолоду был дураком, не научившимся даже читать, тот и к старости работы хорошей ни за что не найдет, а будет сидеть на шее старухи матери, и не женится, потому что ему какая-то там птица дороже всех. Так что, только ворона снова смогла летать, Кувалдину пришлось ее выпустить, а ведь было жаль — за месяц это пернатое существо многое успело о нем узнать, столько выслушало, сколько ни один человек до него. И вот — улетело.

Улетело, но Кувалдин начал с тех пор уважать этих достойных, неторопливых птиц, несправедливо отвергаемых людьми и даже древними старушками. А ведь кого только не жалеют и не кормят старухи! Вот прошли годы, когда они кормили, жалели и нянчили внуков, теперь им эти самые внуки газ на кухне не доверяют зажигать и денег в руки не дают, а там уже и не пытаются скрыть нетерпение, когда бабушка открывает свой медленный рот, чтобы что-то такое прошамкать, никому из людей не интересное. И тогда старуха идет от греха в садик, а может, во двор или просто на площадь к какому-нибудь доброму памятнику, дающему приют на своей голове и плечах голубям и воробьям. Там она бросает им крошки, сырны палочки и, возможно, крупу, тайком отсыпанную из железной банки с надписью «Пшено». Одна знакомая старушка, светлая, будто ее насквозь промыли дожди, когда спросили, хочет ли она, чтобы приехал из деревни повидать ее племянник Егор, так прямо и сказала: «А зачем он, Егор-то? У меня голубов много». «Голубов». . . А ворон даже старушки пренебрегают кормить, считая нахальными птицами, — дескать, эти и сами возьмут. А где им взять?

Кувалдин любил рано утром зимой, в необходимое птицам время, старательно искрошить на снег в безлюдном еще дворе кусок булки и наблюдать, как они ходят, переваливаясь и оставляя глубокие следы, большие тяжелые птицы, ходят вперевалку, а то вдруг суетливо побегут, метя, точно полами, распушенными крыльями.

Тихо в это раннее время во дворе, тихо и хорошо, как

ни странно такое звучит применительно к тому двору, где находилась жилконтора и где Кувалдин кормил своих ворон.

Располагался этот двор в конце целой анфилады, состоящей из четырех каменных колодцев, был он узкий, и длинный, и темный, — короче говоря, на редкость противный двор, куда просто так, погулять, не пойдет ни один человек. Но наш-то Кувалдин, он же только дворами и ходил, вот в чем дело! А теперь представьте себе, что он там видел: глухие стены с пятнами сырости, ржавящую спинку выброшенной железной кровати, груды ящиков у двери в подвал овощного магазина, тупики под лестницами парадных, откуда низенькая дверь выводит опять в такой же двор, и дальше — тупики и дворы, целый город дворов, огромный, к вашему сведению, город, потому что согласно законам геометрии и еще какой-то науки изнанка и лицевая сторона всегда бывают равны по величине.

Итак, город дворов, и не где-нибудь, а в самом центре, — город, о котором большинство и понятия не имеет, а между тем в этом городе и воздух особенный, и погода своя, и небо всегда одинаковое, далекое и пропыленное. И люди другие. И времена. И законы.

Во дворе дозволено все: сушить на веревках исподнее, выколачивать палкой ковер. А еще через двор не зазорно ходить с каким угодно некрасивым и жалким, даже заплаканным, если хотите, лицом. В старом ватном пальто с воротником из искусственной дохлой собаки...

Однако мы отвлеклись. Итак, покормив рано утром ворон, Кувалдин спешил дворами к себе на работу. В последнем, четвертом, недалеко от входа в контору, он всегда видел глухонемую старуху с одним костылем, сидящую тут постоянно. Такие старухи, между прочим, встречаются в каждом дворе. Вот — обычное утро Сергея Фомича Кувалдина, ничем особенно не отличающееся от вечера или дня, от длинной вереницы дней, движущихся друг за другом по дворам.

Время шло. Дома, старея и впадая в полную немощь, злобно кряхтела всегда недовольная мать; в конторе, — тоже, конечно, старея, — ставили печати, выписывали справки, заверяли доверенности и подсмеивались над Кувалдиным его сослуживцы: техник-смотритель Вострецов и паспортистка Двоглазова. И справки, и печати, и шутки их были из года в год одинаковые.

— Жених, а жених! — по пятницам каждый раз гово-



рила Двоглазова. — Скоро на свадьбу позовешь? Плясать охота.

— От невест, поди, отбою нету! Гу-гу-гу! — смеялся остроумный Вострецов, не раскрывая рта, которого у него как бы и вовсе не было. Иногда на лицо его неведомо откуда выползала улыбка, но сейчас же и пряталась, оставив едва заметный след, будто по песку в ветреный день проползла змея. И песок заметал след мгновенно.

Кувалдин на шутки эти и улыбки внимания не обращал, было у него свое занятие, возникшее, может быть, из детской любви к рисованию глупых картинок. Он не умел читать, это верно, но писать он умел и даже любил. Выведение на белой бумаге синих или, это все равно, фиолетовых палочек и кружков было похоже на колдовство, потому что происходило всегда как бы само собой, помимо, а иногда и против воли Кувалдина. Вылезая из шариковой ручки, вясь на листе, эти завитки и закорючки сразу наполнялись таинственным смыслом. Недоступные и самостоятельные, надменно смотрели они на Кувалдина. И молчали. Иногда Сергею Фомичу казалось: вот сейчас он поймет, услышит, может быть, произнесет вслух слова, безмолвно притаившиеся за спинами закорючек. Он морщил лоб, в глазах начинало щипать, лицо краснело.

— Эй, жених! Тебя что, кондрашкахватила? — кричала Двоглазова.

— Он письмо невесте пишет. Которая во дворе с костью сидит, без зубов. Гу-гу-гу, — откликался Вострецов, и оба они беззлобно покатывались со смеху, ибо знали: неграмотный и придурковатый дворник не то что письмо написать, в ведомости на зарплату расписаться не умеет, царапает ручкой что попало, точно слепой.

И, отвеселившись, Двоглазова уходила за покупками, Вострецов же принимался по третьему разу читать увлеченно газету. За окном падал снег или дождь, во дворе было тихо, Кувалдин снова подносил ручку к листу, а дальше они уже все делали сами — эти маленькие синие палочки и завитки.

Это случилось в тот день, когда по городу неслась слепая, оголтелая, скандальная метель. Даже во дворах ее колючий снег вздыбливался поминутно столбами, кидался на стены и в окна. Сгребать этот снег было бессмысленно, и Кувалдин направился в контору, чтобы там переждать, пока стихнет. Но задержался в последнем

дворе — расчистил сугроб на скамейке, откопал из него свою глухонемую приятельницу, так плотно заваленную снегом, что он набился ей даже за шиворот. Отряхнув старуху, которая после этого церемонно ему поклонилась, Сергей Фомич двинулся дальше.

В конторе он обнаружил огромное, даже, можно сказать, небывалое возбуждение. Суетливые возгласы и быстрый обмен зловещими подозрениями. Такое бывает только в разгар стихийных бедствий, — метель и буран — это что! — но сегодня Вострецов от кого-то услышал и сейчас сообщил, что на Мойке, снеся парапет, под лед провалилась машина. Потрясенные, внезапно ослепнув, они с Двоглазовой на ощупь надели пальто и, ударяясь боками о столы и другие предметы, двинулись к двери. При этом Двоглазова чуть не сбила с ног как раз в это время вошедшего Сергея Фомича. Наткнувшись на него, она вдруг прозрела и громко закричала, что сейчас они с Вострецовым пойдут смотреть — кто упал. Голос ее звучал возбужденно и празднично.

Кувалдин остался один. Метель за окном не утихала.

Он вынул из ящика блокнот, где спокойно сидели и ждали его закорючки и палочки, достал ручку и поднес к листу. Нет, сегодня определенно был необыкновенный день, — видно, непогода и вся эта катавасия с провалившейся в воду машиной сделали свое дело, — и Кувалдин это почувствовал сразу: значки нетерпеливо бросились из-под пера на бумагу. Рука его дрожала, в голове скреблось и царапалось, как ворона тогда в водосточной трубе, какие-то слова вспыхивали в мозгу, и конечно, в таком состоянии он не услышал, не заметил, как вернулись его сослуживцы. А они вернулись, вошли в контору, молча сняли пальто и сели за свои столы.

Возбуждение, поначалу легкое и радостное, по прошествии некоторого времени наливается вязкой тяжестью, от которой больно вискам. Румянец на щеках Вострецова и Двоглазовой сменился апоплексической багровостью, глаза их потускнели, добытая информация не давала дышать, распирала и жгла. А Кувалдин ни о чем не спрашивал, не поднимал головы, не проявлял никакого интереса, сидел и, как дурак, карябал, скотина безмозглая, в своем блокноте. Будто дело делает, будто он один работает, болеет за все, а другим наплевать, другие вместо того дурью маются, ходят взад-назад в такую погоду!

— Да что же он там пишет все время? — в сердцах

закричал Вострецов. — Как по работе — не может, неграмотный! А тут... Желательно знать, и очень! Следует выяснить!

— На нас докладную в обе хаэс, — обмерла Двоглазова. — Ясное дело — на нас! Сидит тут, подслушивает, сам помалкивает!

— А ну, покажи, что сочиняешь? — велел Вострецов.

— Я не сочиняю, — испугался Кувалдин, закрывая блокнот. — Я так... просто так... для себя самого...

— Покажи, если «так», чего прячешь! — моментально блокнот оказался в хватких руках Двоглазовой, которая тут же подала его Вострецову.

Вострецов старательно натянул очки, хмыкнул и со свистом всосал не к месту высунувшуюся тощую улыбку. Он всосал ее, как макаронину, разом, и теперь ее не было и быть не могло.

Отодвигая блокнот все дальше и дальше от своих дальноторких глаз, Вострецов разглядывал его долго и подозрительно, а Кувалдин издали видел, как съеживаются, жмутся друг к другу, сгибают спину и цепенеют под взглядом безротого человека беззащитные палочки и завитки. Они сделались теперь похожими на уныло сколоченный забор. Техник-смотритель ежил свой бывалый лоб, Двоглазова сопела ему в ухо, потом они одновременно подняли вспотевшие лица от блокнота, и Вострецов слегка растерянно, но достаточно строго спросил:

— Это — что?

— Ты... это... зачем... это? — с изумлением поддержала его Двоглазова.

Разлилась и набрякла тишина.

— Шифр! — вдруг догадался Вострецов и просиял. — Товарищ Двоглазова, тебе ясно? Ах ты, Кувалдин, ах ты, гриб мореный! Двоглазова, звони участковому товарищу Козлову.

В голосе Вострецова звучало что-то похожее на восторг, и это больше всего напугало Кувалдина.

— Что вы? За что?

— Смотри ты — «за что!» — ласково сказала Двоглазова, вся засветившись. — За то, миленький, что ты аферист. Правильно я, Виктор Иванович?

— Точно. А тебя, Кувалдин, мы сейчас сдадим, куда надо.

— Что я сделал? — совсем уж тихо спросил Сергей Фомич. — Объясните, пожалуйста.

— Нет уж, здесь объяснять будешь ты! — рубанул

Вострецов, распаяясь. — А ну-ка, скажи-ка, что все это значит? Пароль?

И он начал читать:

— «Впоуд па олквд атполифе итанк алв дапролд апр лда еzs роду совплд вдайд лд иоакд ырвщ...» Правильно я читаю, Зинаида? Отвечай, хорошенько подумав, я тебя назначаю в качестве понятой.

— «Ырвщ!» — громко и радостно прочла Двоглагова. — Все точно! «Ырвщ!»

— Ну, Кувалдин... А может, ты и не Кувалдин, а? Объясните-ка, задержанный, объясните при понятой, что такое означает «лд иоакд» и все прочее? В особенности «ырвщ». Ох, не нравится мне этот «ырвщ»...

Вострецов снова читал вслух, но Кувалдин не слышал его и не видел. Не заметил он даже и того, что у техника внезапно прорезался рот и теперь из него, а не откуда-нибудь выходили все эти звуки, которые все равно не могли заглушить голоса синих значков. И голос этих значков звучал все громче и отчетливее, все сильнее, оглушительно, как большой симфонический оркестр, которого Кувалдин никогда в жизни не слышал, а теперь вот услышал, и от этого по щекам его потекли настоящие слезы, соленый привкус которых он давно позабыл, а ведь это был вкус его детства.

Вострецов читал, а Двоглагова в такт ему согласно кивала, Кувалдин всхлипывал и слизывал слезы с губ, и никто не заметил, как открылась дверь и в контору вползла глухонемая старуха следом за своим костылем.

— А ну! — велела она Вострецову. — Дай сюда!

Потрясенный такой наглостью никому не нужной ка леки, Вострецов в растерянности протянул ей блокнот.

— Шифр, — доложил он старухе, будто она и представляла здесь власти. — Задержан бандит.

Старуха поднесла блокнот к глазу, а Кувалдин придвинулся к ней, словно она или кто-нибудь вообще мог защитить его от Закона, который он каким-то образом нарушил. Он знал теперь, что нарушил, знал и боялся, но ни о чем не жалел, он все еще слышал голос своих закорючек и, наверное, понял бы, что был счастлив, если бы мог догадаться, что это такое — быть счастливым.

Старуха изучала блокнот, и значки на листе распрямлялись, вытягивались, оживали, голос их гремел уже на всю контору. Закивав головой и построив на лице некую фигуру, гораздо больше похожую на улыбку, чем

все червяки, ползающие в настоящий момент по физиономии Вострецова (один из них как раз сидел у него между щекой и подбородком, выглядывая из края трещины, которую мы с вами так сумасбродно приняли за рот), старуха уселась за стол Двоглазой, усмехнулась уже в полную как бы силу и громко сказала:

— Ну, кто здесь придумал про шифр и бандитов? Где тут шифр? Покажите. Может быть, я не заметила, я — пожилой человек. Кроме того, я глухонемая.

— Показать? Сию минуту с большим удовольствием! — угодливо откликнулся Вострецов, тотчас прогнав червяка. — Пожалуйста, — он ткнул пальцем в блокнот, — «совплд вдай». Понимаете? И еще «езз роду». И дальше вот — «ырвщ». Это что, по-вашему, — «ырвщ»?

— Врешь! — заявила старуха. — Все врешь! Нету «ырвща»!

— А что же тогда тут, гражданочка, есть? — тихоньким голоском спросила Двоглазая. — Товарищ Вострецов, давайте лучше позвоним, ей-богу, они сообщники!

— Да! Так что же там есть? Ну-ка! — рявкнул Вострецов. — Отвечай, инвалидка!

Сперва они слушали старуху молча. Но недолго. У них что-то случилось с лицами. Лицо Двоглазой, например, на словах «дворцов и башен» начало как будто распадаться — отвис подбородок, брови испуганно уползли вверх, щеки затряслись. А Вострецов принялся багроветь и успешно достиг черно-лилового оттенка с переливом. Сделавшись в конце этого процесса неожиданно серым, он прыгнул к старухе и закричал:

— Ты — что? Нету там этого! Не было! Не могло быть!! А ты — глухонемая, все знают! Не смеешь! Там написано: «Впоуд па атплофс»!! Там — «иаокд ырвщ».

— Я вам дам «иаокд», — уперлась старуха. — Ишь ты!

— Ах, вот что?! — заревел Вострецов. — Слышь, понятая? А ну-ка, возьми-ка у пособницы документ. Подтверди при всех, что там значится.

Бывшая паспортистка, ныне понятая Двоглазая медленно и почему-то на цыпочках приблизилась к старухе, заглянула в блокнот, ахнула, опять заглянула и испуганно промолвила:

— Я не знаю... там чего-то... не то вроде... Я не виновата! Чего вы уставились, товарищ Вострецов? Сами поглядите, если не верите!

— ...и светла — неумолимо и внятно читала глухонемая, — Адмиралтейская игла...

— Все, — сказала она и закрыла блокнот. — Больше ничего нет.

— Та-ак, — протянул Вострецов, с ненавистью разглядывая потрясенного Сергея Фомича, — значит, так, зараза... Еще не легче! Ах ты, гнида.

— Гад! — очнувшись, взвизгнула Двоглазова. — Мы-то думали... Делал вид, что неграмотный! Издевался!

— Гад, — подытожил Вострецов. — Это наши стихи и поэмы. Не твои. Не позволим!

— Не дадим! — ни с того ни с сего завопила вдруг Двоглазова, хватаясь за спинку стула. Длинная синяя судорога прошла по ее лицу. Она чувствовала себя обманутой, оскорбленной и несчастной. Этот придурок, этот чокнутый, которого по-серьезному и за человека-то нельзя было считать...

...А Кувалдин уже шагал по улице.

Светлая луна внимательно смотрела на него, и так же внимательно и тихо смотрели дома, прильнувшие друг к другу по обеим сторонам мостовой. Не было никого на улице в этот час, когда ночь никак не решается перейти в утро, — только воздух и звуки, та самая музыка, что давным-давно, еще в жилконторе, заставила Сергея Фомича плакать. Кувалдин шел, ничего не боясь, никого не стесняясь. Он был здесь хозяином. Он был таким же, как все они: темный сад за решетчатой оградой, влажный запах листьев, пристальные дома, и добрые люди, спящие в них, и легкое ясное облако, неожиданно доверчиво возникшее над крышами. Как те звуки, что жили повсюду, теперь он это знал точно, повсюду — на земле, на небе, в камнях и в траве. И в душах всех людей, которые спали сейчас, ни о чем не подозревая.

Полуразрушенная церквушка обиженно хохлилась на углу узенького переулка. Видно, готовилась на слом. Пыльные стекла окон наполовину были выбиты, дверь криво заколочена доской. Кувалдин подошел ближе.

И тут непонятно откуда взявшийся преждевременный луч солнца, выбившись из-за плеча дома, ударил в пыльные окна, зажег остатки позолоты на куполе. И, будто только того и ждала, будто сигнал какой раздался, взвилась над церковью, тяжело хлопая крыльями, большая и темная стая ворон. Радостно крича, поднялась она высоко в яркое, сразу ставшее утренним небо.

И только одна ворона, покружив, решительно отделилась от стаи, опустилась на асфальт, подняла свою черную голову и сказала Кувалдину: «Здравствуй!»



**П**ока Вася ждал трамвая, его дважды успели обругать — зачем собака без намордника. Самое интересное: оба раза лаялись не женщины, а здоровенные молодые мужики. Один мордатый грозился каким-то постановлением горсовета, законник. Орал-то он, конечно, не из-за постановления, а со страху, даже девушки не стеснялся, с которой шел под ручку. Пес все суетился, нюхал землю и опять начал скулить и повизгивать... Кенка, конечно, сойдет с ума и будет права, потому что уборка вся — на ней...

Вася отчетливо представлял себе, как он сейчас привяжет собаку вон хотя б к тому столбу. Привязывает, а сам уходит. Сердце сразу заколотилось, а врачиха, между прочим, наказывала: никаких волнений.

Показался трамвай.

— Пошли, — Вася дернул поводок, — домой, Атос.

Пес было пошел, но вдруг передумал, уперся всеми четырьмя лапами в землю, остановился, а потом лег.

— Вставай, дурачина, — уговаривал Вася. — Ну! Трамвай уедет.

И пес вроде понял, встал.

Вагон попался тот же, в каком Вася ехал сюда, на рынок. И опять свободный. Вася оторвал два билета и устроился на задней площадке. Пес сидел рядом, сидел спокойно, только иногда вздрагивал всем телом, и тогда Вася слегка похлопывал его по теплому боку.

Мимо чистых окон плыли навстречу дома и деревья, ветки за эти два часа стали будто зеленее. У бочки с квасом громоздилась летняя очередь с бидонами. Внезапно распахнулась Нева, вся в мелких, острых волнах, с бе-

лым речным трамвайчиком. Набежали тучи, подул ветерок, и пес вдруг громко чихнул.

— Будь здоров, — пожелал Вася.

Он старался сейчас не думать о том, что сердце опять начало болеть и будто даже распухало в груди. Не думал и что скажет, придя домой, Ксения. Он упрямо представлял себе Язвицы, лето, поляну за огородом и как они с Атосом бегут поутру вдвоем по влажной траве к речке.

## 2

— Я вас люблю...

— Выдумываешь! Слишком много читаешь художественной литературы.

— А любить — и значит выдумывать. Это уж будет не любовь, если «положительные достоинства» и «отрицательные недостатки».

— Тебе очень не повезло...

— Неправда!

— ...не потому, что я плохо к тебе отношусь, просто...

— Я все знаю. Зачем вы оправдываетесь? Я же очень счастливая, мне ничего не нужно. Только чтобы вы поняли, как я вас люблю.

— Для чего?

— Не смейтесь! Я знаю, что говорю глупо и косноязычно, с вами я всегда так говорю. Сейчас еще ничего, ведь вы обещали, что дослушаете. А обычно, когда мы встречаемся, всегда разговариваем про какую-то чепуху: «Как Виктор Сергеевич? Давно ли ты видела Надю?» А я смотрю на вас, слышу свой голос, какой он бодрый и фальшивый, слышу свои дурацкие шуточки, а сама только чувствую, что время уходит, и жду — вот сейчас вы начнете прощаться. Я никогда потом не помню, что говорила, знаю только, что глупости.

— Ну вот. Опять выдумываешь.

— Мне же наплевать на Виктора Сергеевича, мне хочется схватить вас за руку и уткнуться вам в рукав. А разговаривать, так про самое главное. Чтобы, если я вас спрашиваю, как дела, вы тоже отвечали про свое главное. А вы — про Виктора Сергеевича... Так, конечно, проще. Если вы поймете, как это у меня, тогда получится... Точно к вам в дом втащили что-то огромное и нелепое. Ненужное...



— Слона.

— А я хочу, чтобы вы поверили — я никого не собираюсь к вам тащить. Но вы должны представлять, что это такое...

— Тебе бы стихи писать. Я же на двадцать лет тебя старше!

— Вот и хорошо. По крайней мере, мне не так стыдно объясняться вам в любви двадцать раз подряд.

— У меня сын — твой ровесник. И вообще... Нельзя влюбиться в человека, который в отцы годится.

— Прекрасно знаете, что можно... Понимаете, это похоже... как будто у меня вдруг... Как будто у меня есть что-то такое... ну, например, Северное сияние. У меня — свое собственное Северное сияние!

— Ух, как красиво.

— Не могу же я с Северным сиянием жить, как обычные люди. Правда? Думать, что пора мыть полы, ругаться в очереди, сплетничать про подруг. Приходится соответствовать. Вам смешно?

— Нет.

— Я вас люблю.

— Перестань реветь. А то сейчас уйду.

— А вы поверили?

— Поверил, только не реви. И уже поздно, тебе пора домой.

— Я вас люблю...

### 3

Утро было такое, что захотелось вымыть окна. Вася и взялся бы мыть, да врачиха вчера ясно распорядилась — никаких физических нагрузок, и Кена, когда уходила на работу, тоже: «отлежись». Накануне Вася впервые в жизни всерьез заболел, чуть ли не сознание потерял на рабочем месте, в глазах расплылось, поехало, не поймешь, где пол, где потолок. И ноги онемели. Но совсем не отключился, сидя на табуретке, слышал, как Нинка перепуганным голоском звонила в здравпункт, тут же прибежали сестричка с докторшей, затормошились, стаскивали с него спецовку, чтобы измерить давление, а потом сестра делала укол. А Васю уже отпустило, хотя ноги еще были неродные, а в ушах стоял какой-то гул. Врачиха сказала — идти домой, выписала больничный и рецепт, но до конца дня оставалось всего ничего, час с

минутами, и этот час он отсидел на табуретке, давал Нинке указания: проверить, схватилась ли в форме масса, отключить печку, вырубить обогрев смесителя, а потом общий рубильник, убрать в железный шкаф огнеопасные банки с добавками. Нинка без слова выполняла, а сама все время в панике поглядывала на Васю, ему даже стало смешно.

— Чего глядишь? Живой, не помер, — успокоил он.

— Я тебя провожать пойду. До дому, — строго сказала Нинка.

— Ага. Сейчас.

— Ну — до трамвая.

Девка настырная, настояла — до трамвая под ручку шли, посадила и сама хотела следом влезть — пришлось цыкнуть. Отстала. С характером она, эта Нинка, ничего, хотя Васе она, конечно, Нина Георгиевна, инженер, его непосредственный начальник. Вот так — со смеху померь!

Нинка пришла на опытный участок прошлой осенью, сразу после института, совсем девчонка, моложе Васиной Алки. Маленькая, в кудряшках, — куда ее по бабюшке? А и самого Васю в его пятьдесят тоже никто по отчеству не звал, потому что отчество у него — язык сломаешь: Пантелеймонович.

...Мыть окно Вася не стал, но, с силой повернув ручку и дернув на себя, отодрал бумагу, которой оно было заклеено на зиму, и распахнул обе рамы. Сразу стало шумно, запахло улицей. Там была настоящая весна, первый, пожалуй что, такой день в этом году: апрель получился плохой, на майские шел снег, да что на майские! — еще вчера город выглядел грязным, и не поймешь, какое время года, может и осень, — деревья голые, под ногами лужи, одна разница — вечером светло. Зато сейчас жарило солнце, все подсохло, было чистым и новым. Вася подумал — в такие дни на улице как будто даже чише, чем в квартире, потому что дома после зимы — духота и пылища, сколько ни пылесось, а главное — стекла... Ладно. Докторша больничная выписала до конца недели, всяко на окна-то время найдется, а сегодня можно отдохнуть. Вася включил телевизор. Тот заорал, как ненормальный, пришлось убавить звук, соседка небось еще спит. Чего не спать — пенсионерка. Вася приглушил звук совсем, прислушался. Слева за стеной, в соседкиной комнате, было тихо. Спит. Хотя возможно, что и ушла, бабка тихая, как мышь, уйдет — не заметишь. С соседкой по-

везло, никогда никаких скандалов, только считается, что коммунальная квартира. Вася давно уж записался бы в кооператив, и деньги бы нашлись, да какая нужда? Хорошие две комнаты, светлые, теплые, на Петроградской стороне. Как говорят, от добра добра не ищут, а там заселят, куда Макар телят не гонял, за Ручей или еще почище. Вася прибавил звук. Соседка, наверное, все же ушла. В магазин. А то — в церковь. Кена недавно говорила — старуха потихоньку ходит во Владимирский будто собор, уверовала ни с того ни с сего в шестьдесят лет. Дело, конечно, ее, чего не бывает. Вон, допустим, тетка Надежда — тут можно понять, деревенская, у той и дома, сколько Вася помнит, всегда в углу висела икона и под ней лампадка, а эта, как ни говори, городской человек, по профессии машинистка. Кена считает — все от страха смерти, в церкви внушают про загробный мир, а старухам только и надо. Вася не раз спорил с женой — ну какие еще могут быть утешения, сплошное же вранье! И главное — в части того света. Люди в космос запросто мотаются, как в Парголово, и никто там никакого рая ни разу не видел. Сам Вася о смерти не думал, придет и придет, не ты первый, не ты последний. Хотя вчера после дурацкого этого приступа, глядя, как хлопчет Нинка, представил себе, что вот так оно, возможно, и случается: все поплыло, слабость, и темно... Ну и что? Лишь бы сразу.

По телевизору показывали утреннюю гимнастику. Интересно, для кого? Опять же для старух. На часах восемь сорок, люди уже час как на работу ушли, а они: пятки вместе, носки врозь.

Вася вдруг понял, что все утро почему-то злится. Может, от болезни? Вроде никаких других причин. Погода хорошая, Алка вчера хоть и поздно пришла, зато ласковая, лиса лисой, все «папочка» да «папочка». Знает, чье мясо съела... А накануне? Конечно, навряд ли он заболел от этих ее криков, а вот обозлился тогда крепко. Больше всего потому, что уж очень хотелось врезать по накрашенной морде, да как врежешь — девке скоро двадцать пять, учительница, высшее, будь ты неладна, образование. Да что образование? Он ее, поганку, и маленькую ни разу пальцем не тронул. Была бы своя, глядишь, и выдрал бы, а так — не мог, хоть и не знала Алка ничего, даст бог, не узнает никогда. Она не знала, он — знал, правда вспоминал об этом редко, только тогда и вспоминал, когда казалось — обидел девчонку.

От мыслей про дочь Васе стало муторно, голова кружилась, как с похмелья. Пошел, лег на диван. А что такого? Больной — лежи.

Вася в тот раз совсем не хотел обидеть Алку. Сказал, что думал, про этого, про козла, Юрия Петровича. «Не смей ругать моих друзей!» Тоже еще друг, любовь-дружба паука с мухой. Останется в результате дружбы матерью-одиночкой, все подруги давно замужем, у Вики Ивановой парню два года, а эта только время теряет с пожилым, с семейным. Ну что сказал? У отца душа за нее болит, не каменный, переживает. А она как заревет, как забегает! Чего только не орала: ее, видишь ли, оскорбляют недоверием, отец с матерью, кроме как дважды два четыре, ничего не знают и знать не хотят, вечно вмешиваются, куда не просят, воображают, будто отдали ей, Алке, всю свою жизнь и за это имеют право... а ей не нужно — слышите? — не нужно, чтобы жизнь отдавали, она об одном только просит: самой дайте жить, не мешайте! И не лезьте! Слышала мильон раз — у них, кроме нее, ничего нет. Было бы чем гордиться! Ей вон родители учеников тоже уши прожужжали: «Поймите, Алла Васильевна, у меня, кроме Сашеньки, ничего в жизни...» Ну что, что могут дать ребенку в духовном смысле мать с отцом, если кроме него, сопляка, у них и нет ничего?! За что ему их уважать? Ну, родили, спасибо! Ну, одевают, кормят. Это разве главное? Вообще, когда говорят, будто живут для детей — одно притворство, обман себя и окружающих, самооправдание. Сами живут как попало, ничего не знают, не читают, не думают, а прячутся за детей. Нам, мол, некогда книжки читать — для детей живем. Тьфу!..

И пошла, и пошла... Губы дрожат, худая, бледная, глазищи как фонари. Сил нет глядеть. Вася только крикнул да отвернулся. А она не унимается: «Противно, — кричит, — смотреть, как некоторые папаши стариков локтями распахивают, лезут с передней площадки в трамвай со своими детьми, как со знаменами во вражескую крепость!» Промолчал. Понял, что кричит от боли, спорит не с отцом, а себе что-то доказывает. У Юрия Петровича детей вроде двое, хоть и взрослые, отец он, Алка сама и рассказывала, любящий, на нашей дуре, ясное дело, не женится никогда. И слава богу, пятый же десяток мужику! К тому — дети есть дети, как говорят, наше будущее. И разрушать чужую семью последнее дело. Не

хотел Вася этого говорить, крепился из последних сил, так нет, довела — выдал.

Что ты! Так заорала и заревела, что даже Кена пришла из ванной, где стирала белье. И тогда Алка уже им обоим вместе доложила: мол, если бы ей сейчас сказали, что к полста годам она станет такая же, как родители, так же будет рассуждать и жизнь так проживет, она сейчас же бы и кинулась с моста в реку.

— Дура, — спокойно сказала Кена и ушла стирать.

А Алка схватила пальто и ускакала ночевать к Вике, к подружке. На прощание еще успела крикнуть, что теперь-то уж знает, что ей делать, а от отца она такого не ожидала, думала, он хоть как-то ее понимает, делилась с ним. А он — подкаблучник!

Это было, значит, позавчера. А вчера явилась в двенадцатом часу тихая, ласковая, — то ли с Юрием своим повидалась, то ли поняла, что отец прав. Или Кена рассказала про приступ? Ладно. Она — по-хорошему, и Вася, конечно, по-хорошему. Разве будешь держать сердце на дочь?

В прихожей зазвонил телефон.

Вася встал и босиком — видела бы Алка! — зашлепал из комнаты.

Звонила Алевтина Петровна, начальница сектора.

— Что же это вы, Вася? — бодро затарахтела она. — Наш единственный, можно сказать, мужчина, гордость и надежда, и вдруг болеть. Ай-ай-ай. Нехорошо. Когда думаете выходить?

— После обеда приду, залью, — угрюмо сказал Вася.

— Что за глупости! И не вздумайте! Мы сегодня решили не лить, Нина Георгиевна делает уборку на участке. Ну, а завтра как-нибудь, общими усилиями...

«Общими усилиями» — значит, Нинка будет карячиться, а эта давать руководящие указания. Только зря переведут материал, инженерá, елкин корень!..

— Скажите Кислову, пускай с утра загрузит. Скажите — я просил. А я после обеда приду, залью.

Кислов был токарь из мастерской, Васин приятель. Отказать не откажет, но поклоняться заставит, это уж вынь-положь, но тут не его, не Васино дело, Алевтина сама разберется.

— О чем вы говорите, Вася? — щебетала она. — Да кто вас пустит на участок с больничным? Вам прописан постельный режим, вот и отдохайте. И думайте только

о хорошем, например о любви. Вы же у нас еще интересный мужчина...

— Ключ от железного шкафа у меня в кармане, в спешке. В углу висит, — хмуро перебил ее Вася.

После этого разговора настроение у него опять испортилось. «Те-те-те, отдыхай и думай о любви», тьфу! О чем люди сами-то думают, когда дребезжат такие слова? Ни смысла, ни... хрена. Точно с полудурком объясняется. Вот и Алка тоже. И Нина. Нет, Нина — дело другое, когда о работе, тут она Васю слушается безо всякого, потому что на участке не они с Алевтиной, не пусть сам директор, а он, Вася, начальник и хозяин! Вот взять хотя бы — приезжал зимой к ним в институт министр. За неделю всё мыли и драили, Алевтина заставила Васю печку изнутри чистить шкуркой, озверела со страху. Вдруг министр полезет в печь! Что делать — чистил. Нинка мыла полы, пыль вытирала, это она, слава богу, умеет, хотя и инженер. Сама Алевтина распорядилась, что куда передвигать, гоношилась, как нанятая, а потом принесла плакат — «Технологический процесс» — и повесила на стенку для украшения. А может, с перепугу решила, что придется министру рассказывать про работу установки. Но министр, когда пришел, даже не глянул на ихние украшения, да и на них самих не больно внимание обращал, а с Васей честь честью: поздоровался за руку, имя-отчество спросил и только ему одному и задавал вопросы. Вася без плакатов все министру растолковал, все показал, а Алевтина топталась рядом, тряслась и подпрыгивала, — хотелось встрять. Один раз и влезла — Вася сказал, что для ремонта форм употребляет, мол, бокситную смолу, так она сразу: «эпоксидная». Поправляет, да еще с усмешечкой — мол, извините, товарищ министр, темнота необразованная. А тот на нее ноль внимания, а Васю поблагодарил, руку еще раз пожал, а Алевтине с Нинкой только кивнул головой. И вышел. Мужик солидный, в годах, и не скажешь, что министр, — простой... И понимает. Ведь если разобраться, что делает на участке Вася и что Нинка? (Про Алевтину не говорим, та ничего не делает, в кабинете бумажки перекладывает.) Вася с утра загружает в смеситель порошок, называется — мономер, сто килограммов; включает обогрев, потом мешалку, следит за температурой, для чего поставлен специальный прибор с термомпарами; ровно через два часа дает катализатор, льет помаленьку и знает: чуть что не так, все может вспыхнуть — и привет, костей не соберешь. Ладно.

Влил. Через десять минут привинчивай к смесителю шланг и весь тот расплав, все сто килограммов, перекачивай в форму, а форма — в печке, а там двести градусов, и опять-таки может создаваться взрывоопасность паров. Так что надо внутрь подавать азот от баллона, а забудешь — суши сухари, это в лучшем случае, потому что так звезданет — ни участка, ни соседнего дома... Такая у Васи работа и, если на то пошло, ответственность. Теперь — что делает Нинка. Нинка пишет в журнал: какая температура в смесителе, какая в печке, когда залили да через сколько минут масса в форме затвердела. И вся обязанность. Конечно, Вася понимает — установка опытная, отработка режимов, то-сё, только записывать он и сам бы мог, не надо для этого ни дополнительного человека, ни диплома из института, писать Вася, слава богу, умеет, грамотный. И зачем на его участке инженер? Или вот хоть раньше, на заводе, где он работал до НИИ, — для чего их столько в цеху, придурков? Как собак нерезанных. А кто нужен в цеху? По делу? Ну, начальник — это ладно. Мастера. Те без работы, конечно, не сидят, мотаются. А конструктора? А технологи? Которые вечно мозги крутят своими бумажками? Может, пяток, ну — от силы десять конструкторов-технологов на заводе и требуется, так их же ведь чертова прорва! И каждый — самый умный, все знает, лезет учить, только сам ничего не умеет, другой работяга и без ихних чертежей сделает любую деталь. А уж табельщицы! ОТК! Нормировщицы! Тут все ясно...

В раздражении Вася повернулся на диване лицом к стене. Вид новых, недавно переклеенных обоев подействовал на него успокаивающе. Бог уж с ними, с Алевтиной, с Нинкой, — с бабами, в том числе и с Алкой, хотя, конечно, говорить родителям, что, чем жить, как они, — лучше с моста, большое нахальство.

Он закрыл глаза, думал подремать, да не получалось, не привык спать в это время. Раньше умел, когда на заводе работал, в смену, тогда мог спать и днем и вечером. Теперь отвык.

Он спустил ноги, надел тапки и отправился в дочерину комнату. Пошарил на этажерке, вытащил книгу потолка, вернулся и сел за обеденный стол.

Первый рассказ понравился. Хоть и короткий, но содержательный, про эту войну. К войне Вася всегда относился по-особенному, считал себя вроде участником, хоть было ему в то время всего десять лет, и был убежден:

человек, который пережил войну, пусть даже ребенком, в корне отличается от родившихся позднее, от тех, для которых она — не их жизнь, и им без разницы — что первая мировая, что Великая Отечественная. Читая, Вася в одном месте даже вытер глаза, это когда война уже кончилась и тот парень возвращается к себе в деревню, идет на рассвете от станции через поле. Жизненный рассказ. Зато вторую историю бросил, не дочитав, книгу захлопнул и почувствовал, что опять начинает злиться. Как будто все по правде и мужик, про которого написано, — такой же, как Вася, рабочий, даже лет столько же — с тридцать первого, а только было там что-то... как в Алевтинином давеча голосе. Вася поглядел — точно! Баба сочинила. И вот она прямо сама не своя от радости — смотрите! Простой рабочий, неученый, всего-навсего ФЗУ кончал, а какой молодец! И не пьет, и работу любит, свой славный коллектив, и о жизни рассуждает, ну прямо... как человек, как и не мы с вами.

Вася пошел и поставил книгу на место. Вспомнил, что докторша велела четыре раза в день пить лекарство. Выпил. Когда ходил за водой на кухню, как раз вернулась соседка. Все чин чипом, чистенькая, в платочке, улыбается.

— Отмолила грехи? — доброжелательно спросил Вася.

Не ответила. Пошла к себе, сняла пальто, платок и заявляется на кухню. При орденах, медалях, при значках и с шестимесячной. Сообщила:

— Встреча была. Скоро День Победы, поедem на Ораниенбаумский пяточок, в Мартышкино.

И смеется, старая, — уела. Вася был больше чем уверен — ничего ей на кухне не требовалось, нарочно пришла показать награды и завивку. Видел, видел ее медали сто раз, но, честно говоря, каждый раз удивлялся: старушонка-то — дунь и улетит, а тоже воин. И ведь сколько их, таких бабок! Вася девятого мая обязательно ездил на Марсово поле, Алку, пока маленькая была, брал с собой. С каждым годом ветеранов, конечно, собирается все меньше, а что заметно — женщин среди них все больше. Скоро можно будет подумать, одни бабы и воевали. А ничего удивительного — мужики раньше помирают... Вот спросить бы Алку, так по ее получится — соседка Елена Александровна тоже, как и не мы, жизнь свою прожила зря? Эх, Алка, Алка... Черт бы побрал твоего Юрия, хоть он и профессор, хоть кто!..



Времени было еще полдвенадцатого, а Вася все уже передумал, аж измаялся. Не знал, куда себя девать. Взял веник и подмел пол. Когда наклоняешься, шумит в ушах и давит грудь. Вытер на серванте пыль и сел отдыхать.

...Значит, так. Первое: что они с Кеной только одно знают — дважды два четыре. Это когда он ей напомнил про здоровье, что оно — главное, и губить его в двадцать четыре года — последнее дело. Правильно напомнил! Хотя честно-то, не об этом хотел сказать, а чтоб не шлялась по ночам с женатым! А вообще-то, что тут такого, если даже и сказал: «главное — здоровье»? Чего орать и надсмехаться? Вот, пожалуйста,хватила его вчера эта «кондрашка», он и сидит как мешок с дерьмом. И окна не мыты, а Кена придет со смены усталая...

Вася встал. Надо, решил он, съездить хотя бы на рынок за картошкой, все какая-нибудь будет польза. Голова по-прежнему оставалась тяжелой, ноги, однако, держали. Одевался не спеша, — в глазах опять все поплыло, как нагнулся за ботинками. Ну докажи сопливке Алке про здоровье, когда она, слава богу, никогда не болеет!.. Сердце вдруг заколотилось так, что он разом вспотел и сел на тумбочку у двери, сидел тихо, переживал. Нет, без здоровья — не жизнь, это точно. Вот тебе и... как там она? «Мещанская мудрость, для стариков стариками выдуманна».

Сердце понемногу успокаивалось. Вася поднялся и вышел в прихожую. Тихо было в квартире.

#### 4

На улице со вчерашнего дня многое изменилось. Можно сказать даже — все. Сегодня настало лето. Вася шел и по всему чувствовал: лето. Он уж давно себе отметил, есть у человека такие специальные чувства — чувство весны, лета, осени... И не то что летом солнце светит и греет, осенью пахнет прелым листом, зимой снегом, а весной, допустим, длиннее день. Так да не так, и словами не объяснишь, как не выйдет растолковать, что такое боль или, скажем, любовь — человеку, с которым этого ни разу не случалось.

Впереди над домами блеснула тонкая молния, помешкав, ударил гром. Где-то далеко шла гроза.

Все утро было жарко, а сейчас за окном дождь. Окно настежь, крупные капли лупят по карнизу. Гром совсем близко, точно за углом с грузовика сбрасывают доски. Почему-то пахнет листьями, хотя их еще нет на деревьях.

Я стою у окна. Сегодня мой рабочий день кончился в двенадцать, но четверть часа назад он позвонил и сказал, что в половине второго будет ждать у входа в «Титан», там идет французский фильм, так что идти домой — никакого смысла.

Он позвонил мне. Сам. После всего, что я вчера наговорила. Он — мне. Сказал, что взял билеты, таким голосом, будто мы всю жизнь только и делаем, что ходим вдвоем в кино. Какой идет фильм, я не расслышала, я вообще плохо понимала, что он говорит. В это время как раз пошел дождь.

... Там идет французский фильм. А у нас идет дождь. Сегодня на дневном сеансе у нас — дождь... Дождь идет... Куда он идет? Уже целых пятнадцать минут — колонна за колонной, небольшой просвет — и опять. Над колонной знамя. Развернуто во все небо. Знамя тяжелое и мокрое, потемнело от дождя. А колонна идет и идет, всю улицу запрудила, прохожие уступают дорогу, жмутся к стенам. Я счастлива. Вслух такое, понятно, не выговоришь, даже про себя и то неловко. И не верится, что это — со мной, с дылдой (в отца). Мама, если ей все рассказать, конечно зарыдает. По ее — счастье это Дворец бракосочетаний и свадьба на тысячу персон в кафе «Орбита». Деньги на мое «счастье» у нее давно отложены. Чтоб все как у людей. У них с отцом всегда все как у людей. Хороший парень (мой папа) встал на ноги — приобрел хорошую специальность и хорошую зарплату, встретил хорошую девушку, отвел в загс, оформил законный брак, и получилась хорошая семья: через год ребеночек, а дальше... Дальше? Дальше Жизнь! «Думать надо не о сегодняшнем дне, а о Жизни». Мой сегодняшний день стоит десяти таких «Жизней».

Дождь поворачивает за угол, улица пустеет, затихает шум шагов. Мимо моего окна пробегают отставшие. Всё. Дождь прошел. Только мокрые следы на асфальте. Краешек знамени исчезает за домами. Тихо. Небо опять синее.

Дождь проходил стороной. Вася снял плащ и перекинул через руку. Голова на улице прошла, идти было легко, он подумал про себя «симулянт» и опять решил, как придет домой, вымыть все же окна. Хотя правильнее всего — заставить Алку, пусть приучается, не любит она домашнюю работу. Включит проигрыватель и сидит, замрет, как памятник. Будто нельзя симфонии слушать и в то же время пол потереть! Даже веселее под музыку. «А зачем, — говорит, — с тряпкой ползать, когда можно вызвать из «Невских зорь»? Что мы, бедные? На барахло денег не жалеете, а на самом главном — на времени — экономите». Вася вдруг отчетливо представил: они с Кеной лежат рядом на диване, телевизор смотрят, а незнакомая тетка ползает на карачках, — представил, крикнул и даже головой покрутил.

...До рынка вполне можно было дойти пешком, две остановки, но, во-первых, не исключено — будет дождь, во-вторых — трамвайная карточка, не пропадать же, в-третьих — не привык попусту разгуливать. Так что, когда он поравнялся с остановкой и как раз подъехал пустой трамвай, Вася сел в вагон.

Вагон шел, видно, прямо из парка, пол был мокрый, стекла чисто вымыты, блестели, окна кое-где приоткрыты и в них задувал пахнувший теплой пылью ветерок. Вася подумал, что долго рассиживать на больничном не придется, скоро надо оформлять в счет отпуска дни и ехать в Язвицы сажать картошку. В Язвичах жила тетка Надежда, и вот уже скоро четверть века Вася ежегодно проводил у нее свой отпуск. В два приема. Сперва неделя в мае, это, как говорят, подготовка к летнему сезону — вскопать огород, что надо починить, дом подправить, старый уже дом у тетки Надежды, в прошлом году пришлось менять два венца, а нынче как бы не перекрывать крышу. Но с крышей в мае и заводится нечего, это уж в августе, во время главного отпуска, когда Вася приедет в деревню надолго и вместе с женой.

Вася представил себе Надеждин дом, — лицом к дороге, за дорогой совхозное картофельное поле, а дальше глухой сосновый бор. В бор ходили за грибами, ходили по-серьезному, с рассвета и на весь день, грибы брали только хорошие — белые и подосиновики, ну а если требовалось по-быстрому нарвать чего попало на жареху, тут Кена бегала за речку. На задах теткиного огорода

начиналась поляна, а за ней — узкая извилистая речка, быстрая, холодная, аж ноги сводит, хотя мальчишкой Вася там купался начиная с мая месяца. Вдоль берега летом цвели незабудки, крупные и очень яркие, весной на поляне высыпали желтые болотные цветы, купавки, и их немудреный чуть слышный запах с детства для Васи означал приход каникул. Через реку была брошена доска, и вот по ней, узкой, гнущейся до самой воды, Кена перебиралась на ту сторону, где стоял мусорный топкий лесок, но в сезон вполне можно было в полчаса нахватать сыроежек, моховиков и даже тонконогих и мокрых болотных подберезовиков.

Сколько раз за последние годы Васе предлагали на работе разные путевки — и в семейный пансионат, и туристские на юг, и даже на теплоходе по Волге, — не было для него отпуска лучше, чем в Язвцах. Раньше, пока училась, ездила с ним и Алка, подруг вечно — полдеревни, бывало не загонишь в дом, то на речке, то в лес за ягодами. Теперь — ни за что. Как отпуск, схватила рюкзак и в горы. Раньше на Кавказ, а теперь еще надумали лезть в какие-то Хибины, комаров кормить. Не то в Карелии, не то еще где. Они лезят, а дома родители ночи не спят. Алка, правда, всегда посылает телеграммы. Но не домой, подружке, Ленке Гусевой, а та уж прибежит, доложит. Прошлый год примчалась порадовать: «Телеграмма от Алочки!» А в телеграмме той: «Возвращаемся побежденными натечный лед лавиноопасность едем Учкекен». Из-за этого Учкекена мать чуть с ума не сошла, черт ведь знает, что за Учкекен такой, где и на какой высоте. И как чувствовали, — из Учкекена еще телеграмма, опять Ленке: «Маршрут пятой категории предвершинный ледовый желоб непроходим сильно мешают ледопады». Всю ночь не спали. Утром мать бегала советоваться в тридцать седьмую квартиру к кандидату наук.

Когда дочь вернулась в тот раз, сказали: все, отъездила, на следующий отпуск — с нами в деревню. Что ты! «В ваших Язвцах тоска, надоело, какой это отдых! Огород полоть? Отдых — обязательно смена впечатлений, кстати, и вам не мешало бы куда-нибудь съездить».

А Вася Язвцы считал своей родиной, хотя родился в Ленинграде, и родители оба были городские, а в Язвцы попал десяти лет от роду, летом сорок первого года. Ехали с матерью в эвакуацию, ехали как положено, в теп-

лушке, а куда — и сами не знали, не было у них нигде никаких родных.

Как-то на рассвете поезд остановился на маленькой неизвестной станции. Несколько последних вагонов, в том числе и Васин, отцепили. Весь день они тащились на подводе, сперва по спящему, пыльному городку, потом через поля, через лес, мимо деревень и наконец, уже перед вечером, оказались в Язвицах. . . Теперь на автобусе Вася от станции добирается до деревни за сорок минут. . .

У тетки Надежды, куда их с матерью поместили в тот день на постой, они и прожили до самого конца войны. Сюда пришла на отца похоронка, сюда потом, уже в сорок шестом и сорок седьмом годах, они приезжали летом. В конце сорок седьмого мать умерла от воспаления легких, после того Вася долго не был в Язвицах, но письма иногда писал, а с праздниками поздравлял обязательно. Приехал, когда женился, вместе с Кеной и годовалой Алкой. Алка, кстати, тетку Надежду зовет бабушкой.

Поездом от Ленинграда сутки, меньше даже — двадцать часов. В десять вечера садишься и на следующий день в восемнадцать часов на месте. К ужину — в Язвицах. Там южнее, там сейчас поди уже листья на деревьях, а тут только зеленоватый дымок, точно туман от веток.

— Финляндский вокзал! — объявила в микрофон вожатая.

Вася так и подхватился: проехал! Вот, старый дурак, размечтался про деревню, проспал остановку. Теперь уж выходить да пересаживаться, чтобы ехать обратно, — смысла никакого, теперь придется на Кондратьевский рынок. Болван.

Ругал себя больше для порядка, не очень расстроился. Чем плохо катить вот так в пустом трамвае по чистому светлому городу, сидеть на мягком сиденье, глядеть в окно и никуда не торопиться? Вообще все хорошо, и даже этот больничный получился кстати, вроде дополнительного отпуска. А что, если сделать так: завтра пойти и отработать до конца недели, а эти дни взять потом, когда надо будет ехать в деревню?

Как там ни крути, а здорово это, что есть на свете дом тетки Надежды, пусть со скрипучим полом, темными потолками и низкой дверью, — не нагнешься, расшибешь лоб о притолоку, — зато с настоящим запахом старой деревенской избы, с двориком, поросшим мягкой травой,

одно удовольствие для босого! В любую жару в доме прохладно и немного сумрачно, а выйдешь на крыльцо — так и ушибет светом. А еще есть огород, обнесенный забором (Вася ставил), на заборе сушатся кастрюли, а посреди грядок — пугало в старом Васином пиджаке и его же зеленой, бывшей выходной, шляпе. Есть все это, и зимой, когда стынешь утром на остановке или бежишь, подняв воротник, к проходной, вдруг ни с того ни с сего вспомнишь, и кажется — там, в Язвцах, и сейчас будто лето, пахнет медом, покосом и только что прошедшей грозой. Нет, самые шикарные курорты с пальмами Васе ни к чему. И даже на ум не приходят, хотя там-то и в самом деле лето чуть не круглый год.

7

На юге среди пальм Вася побывал один раз в жизни, двадцать пять с лишним лет назад. Побывал в тот год, когда познакомился с Кеной.

Звали ее тогда еще не Кеной, а Ксаной, то есть Ксений, и встретились они ранним утром на пляже в первый день его жизни в доме отдыха «Агудзера» под Сухуми. Вася работал тогда на заводе, и вот дали в августе бесплатную путевку в эту самую «Агудзеру». Самолет, помнится, задержался, прилетел поздно вечером, почти ночью, ничего особенного в этот вечер Вася разглядеть и понять не успел, заметил только, что темнота здесь какая-то не наша — плотная и совсем черная, без прозрачности. А еще он заметил, что воздух сырой и сладкий, пахнет незнакомо, а в траве — стрекот, как от лампочки, которая сейчас перегорит.

Позднее, уже в палате, в маленьком деревянном домике с окошком в сад, Вася, перед тем как заснуть, слушал незнакомый шум и думал, что море, видно, где-то за стеной, надо бы встать и пойти поглядеть. Думал, думал да и заснул, а утром вышел в сад — и ослеп. Все сверкает, все незнакомое: пальмы, кипарисы, синее — не голубое! а точно — синее небо, и вот еще — горы, те, что поближе, зеленые, а вдали — сизые, и на некоторых вершинах снег. Как на открытке! А еще этот шум, и впереди за деревьями, метрах в ста всего, не больше, — море.

В то утро Вася искупался три раза; сначала далеко не заплывал, а потом осмелел, забрался вовсе за буюк и лег на спину, раскинув руки. Вода держала, чуть пока-

чивала только. Соленая, это уж он сразу проверил на язык.

Когда снова перевернулся и поплыл к берегу, вдруг увидел совсем близко девушку в желтом купальнике, загорелую, будто из Африки. Лицо у девушки было красивое, рыжеватые волосы выбивались из-под резиновой шапки. Вася поплыл за ней, и вместе они вышли на берег. Васю без привычки качнуло, а девушка как выбралась из моря, так, даже не вытираясь, в купальнике и побежала через пляж к домику, такому же, как Васин, соседнему. Девчонка оказалась маленькая и худая, птенец. Бежала смешно, на прямых ногах, в желтом купальнике, и Вася тогда еще подумал — «канарейка»... Так потом и стала Кеной вместо Ксенли...

Дня через два познакомились — был для этого в клубе специальный «вечер встречи и знакомства», все как положено: танцы, викторина (назовите трех писателей Александров Сергеевичей). И игра — название забылось — девушки становятся в круг друг за дружкой, а ребята образуют другой круг, как бы снаружи, получается кольцо в кольце. Баянист играет, и все идут, одни в одну сторону, другие в другую. Потом культурник хлопнет в ладоши, все останавливаются, и вот — какой парень против какой девчонки оказался, с той и знакомится и приглашает танцевать.

А со следующего утра они уже каждый раз ходили вместе купаться перед завтраком. Ксана плавала лучше Васи, он саженками, а она стилем, как на соревнованиях; когда училась в техникуме, ходила в плавательную секцию, имела разряд. До Ксаниного отъезда они успели еще съездить на экскурсию в Новый Афон, а потом — в горы, в пещеру. В пещере Васе не понравилось — сырость, темнота и низко, в конце вообще на карачках пришлось ползти. Зато понравилось, когда жгли на поляне костер, шофер с культурником жарили шашлыки. Потом фотографировались: Вася стоял между Ксаной и одной бабкой из Москвы, забавная была старушка, запомнилась. Совсем седая, а лицо загорело не хуже, чем у Ксанки, и на этом загорелом лице большие синие глаза, живые и любопытные. Ходила эта старуха как молодая — в брюках, у костра пела громче всех и даже сплясала лезгинку с грузином-экскурсоводом, молодым парнем. Тот ей ручку поцеловал, все называл «мама». Интересно, жива ли сейчас? Наверяд ли, столько лет прошло... После шашлыка все разошлись, кто куда, Вася с Кса-

ной — в горы по узкой каменной дороге. Там по краям росла ежевика. Ксана все чему-то смеялась, закидывала голову, болтала. Тогда она и рассказала Васе, что работает мастером на заводе, кончила резиновый техникум. Цех попался тяжелый — металлооплетка шлангов, грохот, надо на ухо кричать, и все очень нервные, у мастера в конторке всегда пузырек с валерьянкой, это уж как закон. Вася сказал: надо бежать с этой работы, пока здоровье не угробила, для девушки такой цех — погибель, что-нибудь другое надо искать.

— Найду! — тряхнула Ксана своими рыжими кудрями.

Так и не нашла, теперь уж, видать, доработает до пенсии. Ничего, привыкла, — начальник смены. Только голос стал хриплый.

В тот день Ксана сказала, что на юг приехала лечиться от разбитого сердца.

— Ну и вылечилась?

— Все прошло, как с белых яблонь дым! — сказала и опять засмеялась.

В дом отдыха вернулись перед самым ужином, а вечером были танцы. Вася с Ксаной ушли в парк. Музыка на танцплощадке играла «Когда идешь ты на свидание, то выбирай короче путь...», а они целовались у пробкового дуба, и в траве опять стрекотало, но теперь уж Вася знал — цикады. А еще через три дня он отрезал перочинным ножом от пробкового дуба два кусочка — на память себе и Ксане в честь знакомства и на прощание.

— И с надеждой на встречу и будущее! — сказал Вася. Они стояли у автобуса, который был подан к главному корпусу. Ксанины вещи уже лежали внутри, а сама она в незнакомом платье стояла на раскаленной асфальтовой дорожке под эвкалиптом рядом с Васей. И молчала. Накануне она была какая-то странная, тихая, вроде испуганная, Вася еще подумал — не хочет уезжать и, может, кто ее знает? — жалеет, что надо расставаться. Но сегодня, когда он сказал про встречу и будущее, ничего не ответила, протянула руку и села в автобус. А Вася пошел на пляж, ему отдыхать оставалось еще целых десять дней.

Провел он их неплохо. Ездили с соседом по комнате в Сухуми, по вечерам смотрели кино. Сосед попался хороший, из Москвы, физик. У него была книжка про звездное небо, и вот они с Васей перед сном ходили к морю, сосед показывал созвездия. Интересно: просто так смо-



тришь на небо и ничего не различаешь, — кажется, все звезды одинаковые и натыканы как попало. А когда знаешь, что к чему, получается — и сами звезды разные, и созвездия как картинки, так и видишь: вот они, Весы, а это Водолей воду льет, а там Лебедь с шейей...

И все же без Ксаны стало совсем не то, Вася был даже рад, когда подошел день отъезда. В Ленинграде сразу, как прилетел, из аэропорта позвонил ей на завод. В телефоне трещало, пришлось во всю глотку орать, чтобы позвали Ксению Ивановну, потом он долго ждал и слушал шум и чьи-то голоса, и наконец ее голос, тоненький, далекий. И от этого голоса Вася так вдруг занервничал, что забыл шутку, которую придумал, пока летел в самолете, а просто повторял:

— Ксана! Это я приехал! Забыла? Из дома отдыха! Помнишь? Ксана, это я...

Он-то думал, она обрадуется, а она сказала, что разговаривать ей сейчас некогда. Вася спросил, когда увидимся, ответила «не знаю» и повесила трубку. Он, конечно, три дня не звонил и не собирался. Позвонил на четвертый, а она опять не захотела говорить и вообще сказала, что встречаться не будет, нету, мол, никакого смысла. Дурость какая-то. Вася еще неделю терпел, а потом пошел после работы в справочное и узнал ее домашний адрес. В тот же вечер заявился с цветами. В первый раз он тогда вошел в эту квартиру, где теперь уже четверть века живет, где Алка родилась... Ксана была одна, чего-то будто перепугалась, сперва даже не пригласила в комнату. Прямо с порога: «Я же сказала русским языком, видеться нам незачем, и не ходи». А Вася глядел на нее и видел: что-то с девчонкой неладно, сама не своя, глаза ввалились, бледная, а от загара еще кажется, что больная, — вроде как желтуха. Не ушел Вася и все тут, до одиннадцати часов сидел, пока не вернулась из гостей Ксанкина мамаша. А на следующий день взял отгул, опять цветов купил и встретил ее после смены у проходной... Через месяц поженились, хотя теще Вася не понравился, чересчур простой и без перспективы. Сама она маникюрша, тогда работала в салоне на Невском, нестарая еще была женщина, за сорок. Всегда одета по моде, волосы красила. И сейчас красит. Зарабатывает до сих пор, ходит по клиентам. А жить вместе с дочкой после свадьбы отказалась, переехала внутрисемейным обменом в Васину комнату на Карла Маркса. И слава богу! Кенка, мать так считает, жизнь свою ни за что по-

губила, сама цеховик, а уж мужа выбрала — хоть от людей прячь. И намекала, что не зря Вася тогда так торопился — не хотел своего упускать. Ксения-то, может, еще и одумалась бы, а он на юге времени зря не терял, добился чего хотел...

## 8

Кажется, совсем недавно это было — Вася встречал жену из роддома, все купил, все принес, даже ленту розовую, капроновую, — упаковывать Алку. Уж не говоря про цветы. Ленту не позабыл, а туфли для Ксении оставил дома, так она и вышла на улицу — с букетом и в больничных тапках сорокового размера... Вася вспомнил, какой солнечный был день и как он нес до такси пакет с розовым бантом — пакет оказался на удивление легким, но внутри шевелилось и покряхтывало... Теперь вот орет и обзывается подкаблучником...

А почему — подкаблучником? Что он, Вася, тряпка какая-нибудь, мнения своего ни на что не имеет? Нет, про подкаблучника дочь, конечно, ляпнула из-за своего женатого Юрия, это уж факт, у нее последнее время все мысли и разговоры только про него, хотя... хотя вообще-то, если вдуматься, доля правды есть. Потому что главная в семье, как ни крути, Ксения. Она решает.

Раньше Вася этого никогда в голову не брал, лично ему в своем доме жилось хорошо, и он, кстати, у телевизора задницу не отсиживал, как некоторые, жене помогал во всем, да и денег приносил достаточно — зарплата плюс халтура: пока масса в форме застывает, вырезал из текстолита и клеил тормозные колодки, вулканизировал камеры, — у кого машина, записывались на прием, как все равно к зубному технику. Если у человека руки из плечей растут, всегда найдется, куда приложить. Так что паразитом в собственной семье, откуда ни посмотри, никогда не был, а что, и верно, подчинялся большей частью жене, так это никого не касается, в том числе и дочери, потому что по собственной доброй воле и с полного согласия. Если на то пошло, так ему даже нравилось. А вот почему? Сейчас он вспомнил, что ведь и в других семьях, какие он знал, тоже большей частью голова — женщина. А сколько мужиков, возьми хоть того же Кислова, вечно бухтят, что жены их замордовали — дыхнуть не дают, семья для них вроде тюрьмы и, зная бы заранее, что так получится, в жизни бы не стали же-

ниться. В газетах про это последнее время много писали, объясняли положение тем, что женщины, мол, имеют теперь равные права, не зависят в деньгах и везут на себе хозяйство, так за что им, дескать, мужа уважать и слушать, если он в доме — пустое место, гвоздя вколотить и то не умеет.

Равные права — это конечно, но ведь тут уж не о равенстве дело идет, а что муж в своей семье больше не хозяин, а последний человек. Что случилось с мужиками и откуда бабы такие взялись, что всем заправляют хоть дома, хоть на работе? И вдруг Вася понял, что случилось. Случилась война, да не одна, а целых три. И все три, почитай, подряд. Теперь — что выходит? Мужиков поубивали, остались женщины с ребятишками. Кто главный в доме? Кто самый сильный? Кто самый умный? Кто защита? Кто все умеет? Мать. Вырастает, допустим, дочь и выходит замуж. Как она станет саму себя держать в собственной семье? Ясное дело, как мать, другого она не видела. И не то что обязательно начнет мужа гонять да покрикивать, просто относиться к нему будет, точно мамаша к ребенку, — учить, свое навязывать, сопли утирать. А он и рад. Поначалу. Он же, бедняга, только того и ждал, привычный, — отца убили, рос с матерью, а теперь вот и в жене в первую очередь ищет мамку, чтоб заботилась, угождала, нянчилась, а он нет-нет да и покуражится — как же! — мамка ведь сироту жалела, обихаживала из последних сил... Нет, лично Васе и тут жаловаться грех, мать-покойница умная была женщина, хоть и старалась сунуть лучший кусок, а к работе приучила, вот он теперь и жене помогает без слова. И в доме мир. А только чего уж там — был послушным сыном, стал послушным мужем — все и дела. А другой мужик, который вконец избалованный? Мать-то, известно, простит, а жена еще подумает. И получается — скандалы, развал семьи. И шашни. Ведь, если вдуматься, отчего на сторону бегают? Не только ради... того-самого, а чтоб отдохнуть душой, человеком себя почувствовать. Как же! Дома-то он никто, а тут по первому слову стол накрыт, кровать разобрана и по хозяйству ничего делать не надо. Побегает он так, побегает, а потом, глядишь, бросает жену с ребенком, а то и с двумя. А что особенного? «Меня мать одна поднимала, ничего, вырос». Разведутся — и пошло-поехало: опять безотцовщина, женское воспитание, на столбе мочала, начинай сначала... Вот она война — через сколько лет руки протянула! В ней, в ней

все дело, а не в том, что девчонки стали штаны носить, а парни — длинные волосы, хотя смотреть на это и противно. И не в равных правах, равные права — наоборот — хорошо, наше достижение, а чтоб детей без отца растить — беда...

## 9

Вася шагал к рынку через пустырь, где по выходным всегда толпится народ — продают собак, кошек, рыб в аквариумах, а подальше, через улицу — вязаное шерстяное барахло. Короче говоря, толкучка. Как в войну.

Сегодня на пустыре народу было мало: толстая тетка продавала щенков — круглые, рыжие, они уютно спали в корзине. «Охотничьи!» — бессовестно кричала тетка. Любой слепой видит — дворняги чистых кровей. Малец держал худого замурзанного котенка. Этого мать, небось, на рынок выгнала, притащил с лестницы зверя, а она запретила в квартире держать. Кена, вон, тоже не разрешает брать животных, шерсти от них — полная комната, но главное не это. Главное — ответственность: взял — заботься, а какая может быть забота, если заняты все в семье?

Этот «звериный рынок» Вася терпеть не мог, старался пройти скорее и по сторонам не глядел. Еще когда совсем маленькие, несмышленные щенята или котята — куда ни шло, а вот уж если взрослые или, не дай бог, старые... Но сегодня вроде ничего такого на пустыре не происходило. У самого края, на выходе, собрался народ, оттуда доносились какие-то выкрики, смех, и Вася тоже подошел, черт дернул! Подвыпивший мужик показывал дрессировку своего пса, и пса как раз старого. Собака была вроде бульдога, породы «боксер». Вася таких не любил — страх глядеть. Туловище чуть не голое, хвост обрубком, щеки висят. А хозяин, сразу видно, не из простых, даже на артиста похож, лицо красивое, только пыльный весь какой-то, волосы грязные, на плечах перхоть, штаны блестят, а ботинки и вообще — каши просят. Васю в таком виде Кена не выпустила бы и с помойным ведром во двор.

Около артиста столпились зрители-любители, и он знай подает своей собаке команды: «Атос, сидеть! Лежать! Стоять, Атос!» Пес наклонит голову, соберет лоб в морщины, глаза черные, умные. И грустные, вроде как

со слезой. Может, чувствует зверюга, для чего эта вся самодеятельность? Но хозяина слушает, все выполняет, старается.

А мужик, артист этот, болтает, рта не закрое: мол, ни за какие деньги бы не продал собаку, да вот развелся, видишь, с женой и теперь едет на Север по вербовке, не тащить же пса с собой, тем более первое время жить наверняка придется в гостинице, а в гостиницы с четвероногими друзьями не селят! «Как же! Гостиница тебе. Люкс! — с неожиданной злобой подумал Вася. — А койку в общежитии? И скажи спасибо». И хотел пройти мимо, но вдруг над самым своим ухом услышал молодой нахальный голос:

— И за сколько же ты, папаша, собираешься толкнуть это вторсырье?

Вася оглянулся. Рядом с ним, вертя на пальце ключ с побрякушкой, стоял высокий парень в кожаной куртке. Парень был лысый, как задница, но с большой рыжей бородой и ухмылялся от уха до уха.

— За полсотни отдам, — сказал артист, — хотя за такую собаку, молодой человек, и двухсот мало, медалист.

— Медалист... — прогундосил лысый. — Тогда-то что! Получил в прошлом веке? Больно, дед, он у тебя потертый. Моль, что ли, кусала? — парень захохотал, как идиот, и Васе в лицо полетели слюни. Он вытерся и только хотел сказать лысому пару теплых слов, как тот заявил, похлопав артиста по плечу:

— Прими, папаша, добрый совет: дуй, пока трамваи ходят, в ветлечебницу, там таких медалистов как раз принимают. Бесплатно, зато — без боли.

Парень опять заржал, но что главное — и артист тоже захихикал, сволочь подхалимская.

Ничего Вася не сказал, отпихнул лысого плечом и пошел к зданию рынка. Приволокла нелегкая на этот рабский базар! А артист? Ну, артист... Алкаш проклятый!

Алкашей Вася ненавидел, много они ему в свое время испортили крови, из-за них семь лет назад пришлось увольняться с завода, где работал с тех пор, как кончил ФЗУ. Последний год подобралась бригада — плюнуть некуда, одни пьяницы, чуть чего — пошли скидываться. И черт бы с ними, так ведь что получается — Вася, раз непьющий, у них, значит, кулак и жмот. И, главное, даже у мастеров и начальника он так считался: хороший рабочий, но любит деньги. Если не пропивает, значит, любит. И не докажешь, хоть на уши встань. А что работать

две смены подряд, и в праздник — «Вася, выручи», и из отпуска сколько раз отзывали, это подтверждение — кулак. Вот так. Выходит, кто работает, тот и кулак. Надоело... Вася уволился и перешел в НИИ, там коллектив в основном женский. Но тоже, смешное дело, первое время всё наливали: «Вася, сделай!» — и сто грамм спирту. Не берешь — удивляются, даже вроде обида. Теперь привыкли. А кто их знает, может и они думают, что ему абы гроши да харч хороший?..

Картошку Вася взял крупную и сухую. Спросил у бабки, откуда, сказала — из Эстонии. Цены на рынке нынче будь здоров, но Вася не обижался, как некоторые. Тут ведь дело какое? Не хочешь, не покупай. Цену крестьянской работе он знал хорошо, а сам сейчас платил за свою лень, за нее и платил, вполне мог еще зимой съездить в Язвицы и привезти мешок. Надежда предлагала не один раз.

Вообще-то у Васи с Кеной все на зиму бывало всегда запасено, вон уж лето наступает, а варенья прошлогоднего банок десять, не меньше. И еще сушеные корешки, и в банках — свежие, закатанные с солью. И грибы всех сортов, ну грибы — что! Капуста только в марте кончилась, две бочки держал на балконе. Конечно, если кому завидно, опять скажут «кулак», языком ботать — не руками шевелить, а хочешь, чтоб у тебя все было, ломи. Разбаловались... Как-то Алка будет жить? У той рук несколько нет. Ведь — в трудовой семье, маленькая была, просить не надо, сама стремилась помогать. А сейчас? Обидчивая, гордая, слова не скажи. В кого такая? В Кенкину мамашу, аристократку? Нет! не похожа... Васина покойница-мать говорила, ее отец был мужик — не подступишься, прямо яд, перец... Алка все про него, прадеда, расспрашивает, вообще интересуется, кто какой был из предков. Стыдно, говорит, не знать, от кого ты приходишь, получается, точно ты манкурт. Что за манкурт? А спросишь — будет надсмехаться...

...А вот Вася Ксению никогда ни о чем не спрашивал. Ни кто, ни откуда, ни как у них получилось. Раз перед самой свадьбой настаивала — «давай расскажу». Запретил. Даже матери сказать не позволил. И вот уж, слава богу, двадцать пять лет, а ни слова об Алкином родном отце. Не было его — и конец!..

От картошки еще остались деньги. Вася подумал и купил два стакана орехов. Для дочери... Морду бы этому Юрию начистить хорошенько!

На улице уже припекало основательно, хоть пиджак снимай. Вася поискал глазами ларек, там была здоровенная очередь. Откуда они набрались, эти пивные мужики? Вроде не выходной, время рабочее... Он вдруг почувствовал — здорово устал, голова как чугунная, в глазах мелькают какие-то белые точки. Остановился, сумку с картошкой поставил на землю, передохнул и не торопясь зашагал через пустырь к трамвайной остановке. И тут его окликнули:

— Извините, пожалуйста...

Он обернулся. Артист с собакой стоял рядом, кивал своей головой и радостно улыбался, как другу-приятелю.

— Извините, пожалуйста, у меня маленькая просьба. Мне — на минуту. Не подержите его? Буквально минута! — он мотнул головой в сторону гастронома за пустырем, и Вася понял: не может больше терпеть, душа горит. И, хоть не одобрял этого дела, пожалел. Подумал и согласился: «Только по-быстрому».

Этот засуетился, сунул Васе в ладонь нагретую петлю кожаного поводка и быстро-быстро затрусил к магазину. А собака как увидела, что хозяин уходит, сразу заскулила и — за ним, ремешок натянулся, вот-вот лопнет.

— Тихо, — строго сказал Вася. — Сиди. Придет твой артист, никуда не денется.

Но пес все рвался и визжал, потом начал лаять, но не зло, а жалобно и тонко, как щенок.

— Сидеть, Атос! — сказал Вася.

Пес сел, тяжело дыша и поскуливая, и все поглядывал в ту сторону, куда убежал алкаш.

— Ну, ну... Ничего, терпи... — успокаивал Вася. Атос скосил набок голову, а язык вывалил.

Ждали они долго. Солнце жарило, как взбесилось. Минут через тридцать, уже понимая, что его купили, как пацана, Вася все же решил сходить к магазину. Магазин, ясное дело, оказался закрытым на обед. Потащились к пивному ларьку. У ларька артиста тоже не было, и искать его — одна глупость. Ну, что будешь делать, такую твою растакую?! Ну, артист! Это уж точно — артист. А Вася зато лопух.

...и позавчера тоже писала, а от тебя писем нет уже больше недели. Но я и не жду, знаю, что когда вы после-

завтра спуститесь, ты, как обещал, сразу пошлешь мне телеграмму. И тогда же получишь на почте мои письма. Я все время представляю себе Кавказ и ваш маршрут, и всех — Мишку с Лешкой, и Галинку, и Александрова. Между прочим, Лешка ведь прислал-таки мне телеграмму перед восхождением, типичная «порка дров», в переводе — трепотня. Я ничего не поняла и даже испугалась. Бедные мои родители, в прошлом году я слала им телеграммы еще почище! Я тебя люблю.

Моя жизнь в Язвицах протекает по-прежнему. Вот, боялась, что буду умирать здесь с тоски, а ничего подобного: приятно видеть, как довольны родители, что я с ними. Особенно отец. В общем, все хорошо, только вот ужасно по тебе скучаю. Отец поправляется, сейчас он почти такой же, как до болезни, но не вкалывает, точно одержимый, на огороде. Мать не дает. Сегодня с раннего утра затеял все же чинить забор, приколачивает какие-то дощечки. Мама сказала — как только станет жарко, она его загонит в дом. Но пока не жарко, сегодня тихий серенький денек, и настроение у меня тоже тихое. Мама последнее время совсем не ругается, только, когда я сажусь за письмо, скажет: «блаженная» — и рукой махнет.

По-прежнему каждый день перед сном ходим с отцом гулять. Собаку, конечно, берем с собой. Кстати, сегодня мама заявила, что я плохо мою миску: «Раз уж взяли животное, надо заботиться». Это большой прогресс, раньше она Атоса демонстративно не замечала, считала его причиной папиного инфаркта. Вот интересно: пока отец был в больнице, Атоса кормила и гуляла с ним я, а он все равно хозяином считает только отца и больше никого не слушается. Маму, впрочем, боится. А со мной просто в дружеских отношениях, причем не на равных, а свысока. По-моему, он думает, что я тоже собака, но другой породы и младше его, он главный! Баба Надя все время норовит сунуть ему кусок, жалеет: «Бедная животина, это же надо — такой страхолюдина». Мама тут было заикнулась, что Атосу было бы лучше постоянно жить в Язвицах, но отец так поднял бровь, что она сразу замолчала. И все. Мама теперь с отцом не спорит.

Про меня все тут говорят — папина дочка, одно лицо. А считается, если дочь в отца, значит, счастливая. Это правда. Я тебя люблю.

Папа недавно спросил: «Ну и что же ты думаешь делать?» Я сказала: еще не знаю. На самом деле знаю.



Я думаю любить тебя. Других дел и планов у меня нет и быть не может, для них просто не нашлось бы места.

Письмо получается глупое. Помню, как я всегда мучилась над курсовыми, мне же обязательно было надо, чтобы ты, когда будешь проверять, поразился, какая я умная и способная. А когда мы ходили в походы и в горы, всегда лезла на рожон — показать, что я самая сильная, смелая и выносливая. Если бы тогда мне сказали, что у нас будет так, ни за что бы не поверила. И сейчас не верю. Вот обращаюсь к тебе в письмах на «ты», а увидимся, и опять язык не повернется.

Я тебе еще не писала, у нас появились новые соседи, дачники из Москвы, муж и жена. Обоим лет по сорок. Мужа я толком еще не разглядела, он с утра до ночи пропадает на речке, ловит рыбу. А жена, Валентина Ивановна, наоборот, никуда не ходит, целыми днями сидит за столом в саду и пишет. Мама уже выяснила — эта Валентина Ивановна доцент, без пяти минут профессор, биолог. Пишет она докторскую. Между прочим, очень красивая женщина, высокая, стройная. В день приезда она утопила в колодце ведро, и папа помогал вытаскивать. Мать жутко разозлилась, прибежала, кричала, что ведро достанет без него, второго инфаркта ей в доме не нужно. Отец, конечно, вытащил сам, и потом, как ты выражаешься, «был квас». Теперь мама нам все время рассказывает, что, мол, наука наукой, но это ненормально, когда здоровая женщина пол в доме ни разу не вымыла, не говоря уж об окнах, варенье не варит, за грибами не ходит и т. д. и т. п. Поскольку: «Женщина всегда в первую очередь должна быть женщиной». Я с мамой, конечно, спорю, но, честно говоря, не знаю, правильно ли так — всю себя отдавать одной, даже интересной, работе. Иногда мне кажется, что если бы — для тебя, я стала бы с удовольствием и мыть, и стирать, и пироги бы научилась печь. Если бы... Но этого никогда не будет, и нечего ныть!

Между прочим, папа сейчас чинит забор как раз между нашим участком и соседним, неподалеку от того места, где сидит Валентина Ивановна. Папа старается стучать потише и все время цыкает на Атоса, чтоб тот не гавкал на ворон. Я сижу в доме у окна, пахнет шиповником — под самым окном цветет куст. На крыльце дремлет баба Надя, а мама рядом вяжет отцу пуловер. Ей почему-то кажется, что после инфаркта самое главное — не простудиться. Мама все время проницательно посма-

тривает на отца. Смех! Ревновать нашего папу! Он, как я, однолюб.

Надо кончать письмо, а то я ведь могу писать тебе всякие глупости круглые сутки. Вот что: я тебя люблю...

## 11

Атосу надоело сидеть без дела, и он принялся остервенело копать передними лапами землю; взметнулась пыль, сухие комки полетели в разные стороны.

Тучи к вечеру разошлись, небо было черным и звездным.

— Вот это, видишь? Это Лебедь. Шею вытянул, крылья разбросал, летит. Всего семь звездочек. Самая яркая — Денеб. А та звезда — Альтаир, из созвездия Орла. Видишь — навстречу Лебедю — Орел? А вон Волопас в треугольной шапке, трубочку покуривает... Замерзла? Пошли домой, мать, поди, нервничает.

— Мама пирог печет, — мечтательно отозвалась Алла. — С малиной.

Алла была в легком платье, и отец обнял ее за плечи. Так и зашагали рядом, оба высокие, оба худые. Алла шла прямо, отец чуть сутулился, впереди мчался Атос... Тоже торопился к пирогу. Резво бежал, и не подумаешь, что старая собака.

У соседей горел яркий свет. За занавешенным окном видна была комната, обеденный стол посредине и около стола — Валентина Ивановна, в очках, наклонилась над бумагами.

— Пишет, — сказала Алла, — такая ночь... Все же я не понимаю...

В лесу за речкой коротко крикнула ночная птица. Кто-то, не различимый в темноте, тащил, скрипя воротом, ведро из колодца.

Василий Пантелеймонович остановился, снял руку с плеча дочери.

— Птица летает. Звезды светят. Дерево растет... — сказал он, глядя на освещенное окно.

— Что? — удивилась Алла.

— Да ничего. Не бери в голову.

С картофельного поля пахло сухой, теплой землей.



**В** первых числах июня город придавила удушливая, вязкая жара. Профессор Алексей Емельянович Расторгуев почувствовал себя совершенно больным и неожиданно старым. Он попросил трехмесячный отпуск и уехал на дачу с дочерью и шестилетним внуком Димой.

Однажды дочь профессора Вера Алексеевна пошла вместе с Димой на базар. Профессор в это время работал в саду — дергал на клумбах сорняки. Дочь и внук долго не возвращались. Алексей Емельянович забеспокоился и вышел за калитку их встречать, но только вышел, как сразу их увидел: медленно брели они по середине улицы, неся вдвоем за ручки большую незнакомую корзину.

— Уф-ф... — сказала Вера Алексеевна, подойдя и опустив корзину на землю. — Ну и жарыща...

— Дед! Гляди! Гляди, кого мы купили! Да гляди же! — закричал Дима.

Профессор заглянул в корзину и увидел, что из-под белой тряпки, которой она прикрыта, высовывается розовый нос пятачком.

— Эт-то... эт-то... для чего? — спросил ошеломленный дед.

— Не для еды, папка, не пугайся! — засмеялась дочь. — Димке ко дню рождения! Пусть играет, он давно просил собачку.

— Собачку?!

— А там щенков не продают, — объяснил Дима. — Только куры и поросята. Гусь еще был. А этого я уже назвал. Кузькой!

Ничего не сказал старый профессор Расторгуев. Посмотрел на пятачок, покачал головой и пошел в дом.

Рос Кузька быстро. Appetит у него был превосходный, характер спокойный. Бегал за Димкой по двору, рылся в клумбах, выкапывал и съедал клубни георгинов и луковицы тюльпанов. Спал поросенок в доме, — на веранде для него была сделана подстилка из старого байкового одеяла.

Во второй половине августа погода вдруг испортилась, день и ночь крышу долбил угрюмый дождь, ветер срывал с деревьев зеленые листья и мрачно кидал их в стекла. Все скучали. Дима кашлял и капризничал. Алексей Емельянович то садился за статью в журнал, то бросал ее и начинал раскладывать пасьянс. Вера Алексеевна разбирала в кладовке вещи — что оставить на зиму на даче, а что забрать в город. Только Кузька целыми днями спал, лежа на боку, на веранде и занимал, надо сказать, уже довольно много места. Во сне он иногда вздыхал и похрюкивал.

Как-то ночью профессор проснулся — за стеной плакал Димка, а дочь его успокаивала. Вдруг Алексею Емельяновичу показалось, что по его комнате ходят на тонких каблучках. В комнату светила луна — дождь кончился, небо было ясным и звездным. От окна дуло, и Алексей Емельянович подумал, что, наверное, ударил заморозок, а это значит — последние георгины погибли. И вдруг он увидел в дверях что-то темное, неподвижное. Сперва ему показалось — большая собака, но, взглядев-шись, он узнал Кузьку. Стуча копытами по полу, тот приблизился к кровати, в маленьких глазках блеснул лунный свет.

«Да-а... — подумал профессор. — Большой, скотина, настоящая свинья. Замерз на веранде и явился».

— Пошел! — сказал он Кузьке, тот благодарно хрюкнул и вдруг грохнулся на пол. Не успел профессор перевести дух, как поросенок уже спал, по обыкновению вздыхая и похрюкивая.

Однажды утром дочь сказала:

— Папа, сегодня мы с Дмитрием едем в город. Скоро в школу, надо купить форму, портфель, учебники, да и вообще он кашляет и плохо спит. Мы поедем электричкой после ужина.

— А я? — спросил профессор.

— К тебе будет приходиться Светлана Васильевна, я

договорилась. Купит, сготовит. А через недельку-полторы я приеду на машине за вещами и заберу тебя.

— А он? — профессор понизил голос, чтобы Кузька, спокойно стоящий у стола в ожидании кормежки, не понял, что речь идет о нем. — Его куда?

— Я сегодня решу этот вопрос, — пообещала дочь.

И в тот же день пришел Мухин, плотник, старый знакомый Расторгуевых. Вера Алексеевна услала Димку к соседям, а Мухина привела в дом и усадила за стол. Она нарезала пирог с капустой и налила всем чаю, а Мухину, дополнительно, — рюмку наливки из черноплодной рябины.

— Сама делала, — сказала Вера Алексеевна, — пейте, Иван Поликарпович, снижает давление.

Мухин выпил и поморщился.

— Может, и снижает, — сказал он.

— Так вот, Иван Поликарпович, — сказала Вера Алексеевна и покосилась на отца, который молчал, сурово глядя в окно, — мы позвали вас, чтобы посоветоваться как... со старым, можно сказать, другом нашей семьи.

— Лет десять знакомы, а то и все двадцать, — степенно подтвердил Мухин, поглядывая на пустую рюмку.

— Еще наливочки? — сообразила Вера Алексеевна. Но Мухин с негодованием отодвинул графин.

— Не употребляю, — отверг он.

— Иван Поликарпович! Вы, конечно, видели у нас во дворе свинью? — продолжала Вера Алексеевна.

— Ну! — кивнул головой Мухин.

— Так вот. Понимаете... нам скоро переезжать в город, а она, а ее...

— Колоть, что ли? — уточнил Иван Поликарпович.

— Ну, одним словом...

— ...резать, значит. Нет, не возьмусь. Крыльцо починить или еще что — свято дело, а это — нет. Вон, у вас забор — все столбы погнили. А свинью чтоб... нет, не мастер.

— Ты совершенно прав, Иван Поликарпович, — отчетливо сказал профессор. — А ты, Верочка... Не ожидал. Ты ведь сама, а-а, черт побери... — и, махнув рукой, профессор встал из-за стола и вышел из комнаты.

Это почему-то смягчило Мухина.

— Старость — не радость, — растроганно произнес он. — Я вам честно скажу, Вера Алексеевна: взяться — не возьмусь, поскольку не моя специальность. Я их и сам не держу, поросят, ну их. А с Анатолием поговорить можно. Это свояк мой, охотник. Он — кого угодно, за милую душу. Дрянь мужик, но — поговорю. . .

Вечером Вера Алексеевна с Димой уехали. Перед сном профессор скормил Кузьке весь борщ, сваренный дочерью ему на неделю. Боров нажрался и дрых на веранде, а Алексею Емельяновичу не спалось. Он вышел в сад. Совсем темно было в саду, сыро и неудобно. Пахло осенью: грибами, прелым листом, доцветающими сладковатыми флоксами. Профессор прошелся до калитки, постоял, глядя на улицу. Все дома были уже темными — не поймешь, спят там люди или сбежали от непогоды в город. Алексей Емельянович подумал, что, может, он сейчас вообще один в пустом поселке, — нет, не один — справа, у соседки, вдовы полковника Строева Светланы Васильевны, окошко еще горит. Но вот погасло и оно. Профессор поежился и побрел к крыльцу.

Утром Алексей Емельянович с удовольствием выпил горячего крепкого кофе, что было ему строго запрещено дочерью. День, кажется, обещал быть хорошим — посветлело, выглядывало солнце. Профессор подумал, что лето, собственно, вовсе не кончилось, глупая Верка зря утащила в город мальчишку.

В дверь осторожно постучали, и тотчас на пороге появилась улыбающаяся Светлана Васильевна.

— Ну, как дела, затворник? — сказала она. — Пошли бы прогулялись, в лесу прямо прелесть! Иду сейчас из магазина, так, подумайте! — у самой дороги — два вот таких подберезовика. Стоят рядышком! А воздух! А я тут у вас пока подмету.

— Что ж... Пожалуй... Пройдусь до погорелого места. Надо только корзинку найти. Вера ее вечно куда-то. . .

— А чего искать, время тратить? Берите, вон, мою кошелку, — Светлане Васильевне так, видно, не терпелось отправить профессора за грибами, что она его даже легонько подталкивала в спину. Немного удивленный Алексей Емельянович надел куртку, резиновые сапоги,

взял свою любимую палку, по прозвищу «посох», и корзину — ее он разыскал в платяном шкафу. Светлана Васильевна ходила за ним по пятам, приговаривая, что погода, глядите, вот-вот испортится, будете тогда жалеть, что проканителиться.

Но гулял он недолго. Не успел даже дойти до погорелого места, как набежали шустрые низкие тучи и начал накрапывать дождь. Пришлось вернуться назад. Недовольно размахивая корзинкой, в которой перекачивались три жалких масленка, Алексей Емельянович подходил к дому. И вдруг услышал громкий, оглушительный, отчаянный визг. Визг доносился с его участка, он делался все пронзительней и выше. И вдруг стих.

Профессор побежал, шлепая резиновыми сапогами. Когда, задыхаясь, он толчком распахнул калитку, то увидел, что по дорожке ему навстречу мчится со всех ног поросенок. Кузька мчался со скоростью, теоретически невозможной при его грузной фигуре, а у крыльца, на загубленной, развороченной клумбе, где час назад еще мирно цвели флоксы, сидел незнакомый человек. Из носа его текла кровь, длинные ноги в болотных охотничьих сапогах были устало раскинуты. Рядом на земле валялись разные предметы, как-то: фетровая шляпа, веревка, мешок и ружье. На крыльце, закрывшись передником, не то плакала, не то смеялась соседка Светлана Васильевна.

В двадцатых числах сентября пришла и настоящая осень. За три дня все листья с деревьев переместились на дорожки в саду, на грядки и клумбы, где скорчились почерневшие от ночных заморозков цветы. Только на верхушках тополей, стоящих вдоль забора за домом, осталось, точно на смех, по одному листку.

Расторгуев заклеил в доме окна, проложил между рамами вату. Иван Поликарпович Мухин обил изнутри дерматином входную дверь. Он же привез профессору дрова, которые они теперь вдвоем каждый день понемногу пилили, кололи и складывали в поленницу у сарая.

Однажды Мухин сказал:

— Сарай я тебе, Емельяныч, утеплю и денег не возьму. Нельзя же, ей-богу, скотину в комнатах держать. Все же дом — это дом, не хлев. И этот — не фон-барон.

— Видишь ли, Иван Поликарпович, я бы и сам рад. Я уж пол газетами застелил, а под них — полиэтилен, а все равно... Только понравится ли ему в сарае? Он у нас животное сугубо домашнее.

— Привыкнет, — отрубил Мухин. — Люди ко всему привыкают, а это, как ни говори, — свинья. Хоть и умный, подлюга! Вчера от тебя выхожу, он за мной побежал, за калитку. А тут — Алька-почтальонша. Мимо идет. «Расторгнуем, — говорит, — нету ничего». И пошла. А наш — встал ей поперек дороги и не пропускает. Она: «Дядя Ваня, убери зверя, я их боюсь». А я говорю: «Ты лучше в сумке поищи, может, есть чего. Животное чувствует». Просто так сказал, для шутки, а она порылась, порылась и вытаскивает. «Ой, — кричит, — смотрите, правда, письмо, а я не заметила!» Вот тебе и Кузька. Умней другой собаки.

— ...И потом, — раздумывал профессор, — в доме он всегда на глазах, а там...

— Верка придет? — сразу понял Мухин. — Так это, Алексей Емельяныч, пустяк дело. Врежу замок — и будь здоров! — и Мухин подмигнул профессору.

Опасался Алексей Емельянович не зря. За это время дочь приезжала трижды. В первый раз пришлось выдержать нудный, неприятный разговор.

— Папа, — говорила Вера, — я многое могу понять. Любовь к животным — с одной стороны, природное упрямство, осложненное... скажем, возрастными явлениями, — с другой. Но, в конце концов, нельзя же позволять себе такие немислимые поступки! Ведь ты не кто попало, у тебя — имя! Твое заявление об уходе!.. Мне каждый день звонят из института, и я вру, как девчонка, — вру! — будто ты решил отказаться от должности профессора-консультанта исключительно по состоянию здоровья... кстати, почему ты не указал этой причины в заявлении, так бы и написал: «по болезни», а то по каким-то «семейным обстоятельствам»?! Свинья для тебя — что? Семейное обстоятельство?

— А какое еще? Служебное? — огрызнулся профессор. — «По болезни»! Я здоров. Врать не приучен.

— Никто не понимает, почему ты послал заявление по почте. Сорок пять лет в институте — и даже не попрощался с коллективом! Это, извини меня, даже бестактно!



— Ага. Это чтобы я — в город, а ты сюда? Со своими... наемными убийцами. Так? Нет, шалишь! А коллектив... Соскучились бы, сами бы приехали. Да-с.

— Еще бы! — закричала дочь, чуть не плача. — Ясное дело, приехали бы! Но я же вынуждена говорить, что ты, ты уехал! На курорт!

— Это еще что за новости? Я тебя лгать не просил.

— Да? Спасибо тебе! Не хватало еще, чтобы сюда явились твои коллеги и увидели, что профессор Расторгуев бросил работу, чтобы спасти свинью! Стыд-то какой!

Профессор пошевелил бровями, помолчал, потом протянул руку и осторожно погладил дочь по волосам.

— Не надо, Верочка, успокойся, — сказал он. — Может, ты в чем-то даже... Но — не могу я! Не могу! Никак! Ты же его сама в дом принесла. Как там... «Мы в ответе за всех, кого приручили». И давай на эту тему — больше никогда. Хорошо?

Плача, Вера Алексеевна уехала и не показывалась почти неделю.

А потом появилась.

В то утро дочь решительно вошла во двор, где профессор с Мухиным только что начали пилить дрова. Рядом с ними сонно пасса Кузька. Со вчерашнего дня для него было налажено питание: профессор вошел в контакт с местной столовой, и там за малую мзду ему отдавали обеды — помои, картофельные очистки, хлебные корки. Приходилось три раза в день ходить в столовую с ведрами. Работа нелегкая, зато вопрос кормежки тем самым был решен раз и навсегда.

— Вот что, папа, — жестко сказала Вера Алексеевна, — с этим надо кончать. Сейчас приедут... в общем, доктора. Из ветлечебницы. Надо мной там, разумеется, все смеялись, но тебе ведь это до лампочки. Раз ты не желаешь, как все люди, — пожалуйста. Свинью отвезут в... пункт. И усыпят. Совершенно безболезненно. Между прочим, твой любимый друг Зуев усыпил своего пуделя, и это не считалось убийством и бог знает чем. Ты тогда сам...

— Зуевский пудель умирал от старости. Его разбил паралич, он страдал. — Только эти слова и сказал Алексей Емельянович. После чего коротко свистнул и пошел в дом. Вслед за ним тут же заковылял Кузька. Мухин, прислонив пилу к стене сарая, посмотрел на Веру Але-

ксеевну, покачал головой и проследовал за профессором и свиньей. Дверь за ними захлопнулась. Вера Алексеевна осталась во дворе одна.

Дул резкий ветер. Голые деревья яростно взмахивали ветками. Вера Алексеевна, подняв воротник плаща, который ни черта не грел, нервно ходила взад-вперед по дорожке, посматривая на часы. Минут через десять послышалось урчание машины, и к воротам подъехал фургон с синим крестом. Из кабины выпрыгнул бледный молодой человек в дымчатых очках и с небольшой черной бородкой. Одет он был в короткое кожаное пальто и вельветовую кепочку, светлый шарф, два раза обернутый вокруг шеи, свисал почти до земли. Держа руки в карманах, молодой человек пошел вслед за Верой Алексеевной к крыльцу, тщательно обходя лужи, чтобы не испачкать свои блестящие лаковые туфли. Однако дверь в дом была заперта изнутри. Вера Алексеевна постучала. Подождала и постучала еще раз. В доме стояла мертвая тишина. В отчаянии Вера Алексеевна принялась дергать ручку.

— У меня дефицит времени, — тихим голосом предупредил молодой человек в кожаном пальто и с бородкой.

— Я отблагодарю, — сказала Вера Алексеевна и, повернувшись к двери спиной, стала стучать ногами.

Через минуту послышались шаги и голос Мухина:

— Доктор математики отдыхает, просил не беспокоить. При попытках взлома вызову милицию. Слышите там, едрена палка?!

— Милицию?! Чудненькое приключеньице, — сказал человек в шарфе, — с вами не соскучишься! Мы так не договаривались, мадам. В общем, увы — мне пора, заболтался я с вами. Аривидерчи! — и он, не снимая перчатки, протянул руку, которую Вера Алексеевна испуганно пожала. Но молодой человек смотрел ей в лицо, и в глазах его крепло выражение презрительного недоумения.

— Ах, да... простите... конечно... вы потеряли время, я сейчас... — суетясь, Вера Алексеевна шарила в карманах плаща и в сумочке.

— Вот... — она нашла наконец десятирублевую бумажку.

Не сказав ни слова, молодой человек небрежно сунул десятку в карман кожаного пальто, повернулся и зашагал к калитке. Взревел мотор, фургон уехал.

И тотчас распахнулась дверь.

— Верочка! Да ты же озябла! В одном плаще в такую холодину! — причитал профессор. — Входи, чайку попьем!

Третий визит Веры Алексеевны состоялся через три дня. На этот раз Алексей Емельянович был дома один, писал статью и увидел в окно, как к воротам подъехало такси, откуда первой вышла дочь, а за ней низенький, широкоплечий человек с красным, тупым и одновременно свирепым лицом.

Профессор метнулся было к входной двери, но передумал и, быстро заперев на ключ свой кабинет, где спал Кузька, вышел на крыльцо. Он крепко обнял дочь, которая от этого несколько растерялась, и принялся хлопывать ее по спине.

— Знакомься, папочка, — сказала, слегка задыхаясь, Вера Алексеевна, когда ей удалось наконец высвободиться из отцовских объятий, — это мой друг, очень хороший человек. Его зовут Станислав Петрович. Мы — к тебе в гости. Ты же тут совсем одичал без общения. Тебе интересно будет поговорить со Станиславом Петровичем.

Убийца, широко улыбаясь всей своей красной рожей, шагнул навстречу профессору и протянул руку. Но Алексей Емельянович руки не заметил, едва кивнул и, отступая, процедил сквозь зубы:

— Что ж... Прошу.

Он повернулся к гостям спиной и двинулся на кухню, дочь и Станислав Петрович, обменявшись взглядами, пошли за ним.

— Прошу, — повторил профессор, указывая на две табуретки около стола, заставленного невымытой посудой. Сам он присел на край подоконника.

— Папуля! А... может, лучше в кабинете? — сказала дочь. — Тут у тебя как-то...

— Тут прекрасно! — плюшевым басом воскликнул убийца. — Уютная, дачная атмосфера. Не правда ли, профессор?

Алексей Емельянович смерил его взглядом и отвернулся. Убийца сел на табуретку. Нависла пауза.

Из кабинета послышался грохот, стена буквально ходила ходуном — это проснувшийся хряк чесал бок об угол книжного шкафа. Профессор не повел и бровью.

— Так чем могу служить? И прошу покороче, я занят, — ледяным голосом произнес он, глядя в стену над головой дочери.

— Станислав Петрович хотел проконсультироваться, папа. Видишь ли, он... он доктор, он...

— Режет? — осведомился Расторгуев.

— Верочка Алексеевна! Милая! Зачем же — сразу о делах? — заквакал убийца. — Мне, ей-богу, даже неловко...

Глядя на него, трудно было поверить, что ему вообще когда-нибудь от чего-нибудь могло быть неловко. Разве что в тюрьме.

— Я вас слушаю, — нетерпеливо сказал профессор.

— Знаете, — сразу оживился убийца, — у вас тут так мило, естественно. Природа, знаете... Кстати, Алексей Емельянович, дорогой, не подскажите мне, склеротику, какое у нас сегодня число? С утра забыл взглянуть на календарь, заторопился...

— Двадцать третье, — буркнул профессор. — Среда.

— Правда? Это же чудесно! — обрадовался душегуб. — А-а... вот маляк! — он шлепнул себя пухлой ладонью по лбу. — А, хе-хе... год? Год какой?

Алексей Емельянович внимательно посмотрел на убийцу, и брови его дрогнули.

— Год? — повторил он. — Ах, год... Разумеется, сто двадцать третий. До новой, извините, эры. А то какой же! Год Свины! А теперь разрешите представиться, — и профессор ткнул себя худым пальцем в грудь: — Братья Гракх! Они же — царь Соломон, а также — Жан Поль Сартр и, конечно, Наполеон Буонапарте! Для друзей — Напа.

— Папа! Ну зачем? — голос дочери дрожал, но Алексей Емельянович не смотрел на нее, он смотрел на мерзавца, на физиономии которого расцветала очаровательная улыбка.

— Прелестно, профессор. Ценю ваш юмор, восхищен и разбит наголову. Сдаюсь! — он задрал над головой свои короткие ручки.

Алексей Емельянович поднялся с подоконника. Он стоял, высокий и сутулый, в старом лыжном костюме, и молчал. Потом тихо сказал дочери:

— Эх, ты... Отца — на Пряжку... Эх, ты!..

Повернулся и вышел.

Прошло почти два месяца. Казалось, все в городе забыли об Алексее Емельяновиче. Дочь, во всяком случае, больше не приезжала, из института тоже не было ни слуху ни духу, хотя прошло уже пять дней, как Расторгуев отослал туда свою статью.

А жизнь на даче шла своим чередом. Кузька становился все толще и больше, хлопот с ним не убавлялось, так что Алексей Емельянович был очень рад, когда Мухин закончил наконец переоборудование сарая под жилое помещение. Он настелил там пол, заделал щели и даже незаконно установил железную печку-временку, строго наказав профессору соблюдать правила противопожарной безопасности.

— Смотри, не спали скотину, — сказал он, — умная ведь до чего тварь! Спрашиваю: «Ну что, нажрался?» А он поглядел на меня и облизывается. Веришь! Это чтобы боров — человеческую речь понимал!

В ноябре, после долгой изнурительной слякоти, установилась наконец зима. Снег прочно лег на землю, крыши сделались пухлыми, деревья и провода — мягкими; вдоль забора, у стен дома и возле сарая выросли сугробы. Алексей Емельянович чистил деревянной лопатой заметенное крыльцо и думал, что стал за последнее время гораздо выносливее физически, вот что значит — тренировка! Раскидать снег, принести из колодца воду, натаскать помоев для борова — все это абсолютно не было проблемой, а ведь еще летом, едва дойдя до станции, он начинал задыхаться и принимал валидол.

В один прекрасный день явился из города профессор Зуев, друг, коллега и сосед Алексея Емельяновича как по городскому дому, так и по даче. Приехал, как он выразился, «от имени и по поручению».

Сначала говорили о расторгуевской статье, потом пили чай, сидели на кухне, в плите трещали дрова, за окном медленно падал лохматый снег.

— Вот что, Алексей, — помявшись, начал Зуев, — это как, правда? Верочка жаловалась, будто ты из-за какой-то свиньи...

— Твоя Верочка, — вскинулся Расторгуев, — между прочим, сама его в дом принесла, я не просил, животноводством никогда не увлекался. А она принесла. В корзинке. Димке, видите ли, играть. В друзья!

— Ну... не знаю... — насупился Зуев. — Все же довольно дико. Какая-то патологическая любовь к свиньям...

— Да при чем тут любовь?! Думаешь, я сам голову не ломал, куда его? Тоже ведь не мармелад — целыми днями дерьмо чистить да помои таскать! А что делать? Это ведь как получается — сперва в друзья, а потом — под нож? И на колбасу?

— М-мда... — растерянно покрутил головой Зуев, — Ребус... Знаешь, был я как-то в одной стране, и там мне показали человека — представь — из племени людоедов. С виду обыкновенный гомо сапиенс... У них там, оказывается, такой обычай: едят исключительно врагов. Живет человек среди соплеменников, и никто на него не смотрит как на пищу. И вдруг он в чем-то перед племенем провинился. И жрецы признали его врагом. Так вот: в ту же минуту он становится съедобным...

— Миленький обычай, — грустно произнес Расторгуев.

— Врагом... — задумчиво повторил Зуев, поглядел в окно, помолчал и повернулся к Расторгуеву: — Возвращайся-ка на работу, а? Свиньи свиньями, а по вторникам и четвергам — будь любезен в институт. Так-то, Алексей Емельянович, наш дорогой несъедобный друг...

Прошел год. Снова наступила зима. Нынче она холодная и злая, но профессор Расторгуев по-прежнему живет на даче, изредка наезжая в город — по делам и повидаться с друзьями. В выходные дни его навещают дочь и внук. Внук привозит с собой собаку — фокстерьера Чипа. В доме фокстерьеру разрешается бегать, прыгать и лаять, за калиткой — тоже. А на участке запрещено.

— Очень шевутная собака, нашего до смерти загоняет. Тявкает, как все равно ненормальная, а ума — чуть. Только название одно, что пес, — сказал как-то Мухин.

— Надо ограничивать его в еде, — говорит Вера Алексеевна отцу, — а то хватит инсульт от обжорства, и ты же будешь лечить. Доктор Айболит! Кстати, папуля, до какого возраста живут свиньи?

— Не интересовался, — хмурится Алексей Емельянович, — как-то, знаешь, еще не думал над проблемой долголетия свиней.

Это неправда. Думал. И не только думал — тщательно просмотрел статью «Свинья» у Брокгауза и Ефрона, а также в Малой Советской энциклопедии. Из указанных источников узнал, что свинья относится к подотряду бугорчатозубых, отряд парнопалых, рыло ее хоботообразно и кончается кружком, несущим ноздри, что, вопреки всеобщему мнению, свинья — отнюдь не глупое животное. Осмысливая прочитанное, профессор решил, что его боров, скорее всего, является «свиньей крупной белой», порода — чувствительная к холодам, сырости и различным болезням, а именно: рожа, чума и пр. Про инсульт там ничего сказано не было, зато сообщалось, что одна свинарка на Полтавщине еще в тридцатые годы добилась получения от каждой свиноматки по двадцать восемь деловых поросят. Сведений о том, сколько лет живут свиньи, профессор так нигде и не нашел и сделал вывод, что этого никто не знает — свиньям вряд ли удастся продержаться до естественной смерти.

Недавно Алексею Емельяновичу исполнилось семьдесят пять лет. Чувствует он себя отлично, еще больше похудел, лицо обветрилось, руки огрубели. На даче он обычно носит валенки и ватник, лыжники из города обращаются к нему «дед» и на «ты». Кстати, недавно профессор и сам начал ходить в свободное время на лыжах, но свободного времени мало — Алексей Емельянович работает над книгой.

Однако возраст есть возраст. Расторгуев понимает: никто не вечен — ни звери, ни люди. И может случиться так, что бугорчатозубый Кузька переживет своего хозяина. Что будет с ним тогда? Надеяться на дочь? Смешно. Димка? Он боится Кузьмы, кроме того, у него теперь новый друг, фокстерьер Чип.

Иногда, сидя вечером у топящейся печки, Расторгуев подумывает, не завещать ли борова профессору Зуеву. Все же тот на целых три года младше. А что? Мысль неплохая. Друзья наших друзей — наши друзья. Кузька — друг Расторгуева, Расторгуев — друг Зуева, следовательно... А друзей не едят.



**Н**у, чего, спрашивается, он привязался? Тащится сзади вдоль тротуара, какой-то кривобокий, неуклюжий и деревенский.

Фирфаров оглянулся по сторонам и прибавил шагу, слава еще богу, никто не встретился из знакомых, ведь просто неудобно — идет человек к себе в институт на работу, а за ним — можете себе представить? — плетется какой-то настырный урод, которому место на складе или, по крайней мере, на селе. И надо же так влипнуть — забыл вчера запереть гараж. Украсть там, правда, нечего: «Москвича» своего накануне как раз отогнал в комиссионку — получил открытку, что подошла наконец очередь на «Жигули». А утром вышел во двор, и — будьте любезны — оказывается, ворота в гараже нараспашку. И почувствовал себя Николай Павлович таким растяпой, охломоном; тьюшей, а таких ощущений он просто не выносил и имел, между прочим, к тому веские основания.

Как же можно считать, например, тьюшей человека, который к тридцати девяти годам достиг уровня главного инженера проекта, сумел построить себе кооператив и гараж в новом районе и вот теперь, продав «Москвич-408» (в совсем еще хорошем состоянии), покупает «Жигули»? Нет, дело тут, конечно, не в материальных ценностях, и вовсе не в них, напрасно вы думаете, что Фирфаров был каким-нибудь мещанином и барахольщиком, просто он знал, что собственным трудом завоевал право на самоуважение, и не желал, чтобы на это право кто-либо посягал.

А то, что у всех сверстников Николая Павловича имелись уже давно семьи и дети, а он до тридцати девяти лет дожил холостяком, так это, если вам угодно,



свидетельствует только о чувстве ответственности и нежелании хватать первое попавшееся, чтобы потом через полгода разойтись, делить квартиру, имущество и платить до конца жизни алименты.

Когда-нибудь он, конечно, женится и создаст семью, в этом Николай Павлович не сомневался, и даже иногда представлял себе, как встретит однажды в Большом драматическом молодую и непременно очень красивую девушку, не то что расплывшиеся жены приятелей. Одним словом, когда-нибудь будет у Фирфарова семейный дом всем на зависть, но торопиться с этим он не собирался, ему и так неплохо жилось и совсем не скучно — зимой он по выходным катался на лыжах, в отпуск ездил на машине по Прибалтике, захватив с собою кого-нибудь из приятелей для компании, и, надо честно сказать, женатые эти приятели счастливы были вырваться на месяц из своего семейного рая.

Одно немного тревожило Фирфарова: в последнее время стала мучить изжога и ныло иногда под ложечкой. Мама из Мелитополя писала, что это от неправильного питания, и звала в октябре на отпуск к себе. Но до отпуска еще дожить надо, а сейчас закрутился — в июле делал сам в квартире ремонт, вообще-то и так было чисто, да подвернулись симпатичные обои и решил переклеить, теперь вот вся эта свистопляска с продажей машины, а там — новую надо брать. Брать можно бы хоть завтра, очередь подошла, но желательно непременно в экспортном исполнении, а такие будут только в сентябре, в конце квартала, то есть через месяц. Так что насчет поездки в Мелитополь было не решено, а чтобы не получить гастрит, Фирфаров установил себе порядок по четным числам обедать в молочном кафе «Аврора» на Невском, а в остальные дни варил кашу «геркулес», и очень вкусно получалось, не хуже, чем, например, у жены Леньки Букина, у которой все вечно пригорает.

...Николай Павлович Фирфаров стоял, растерянный, около своей парадной и рылся в кошельке, который назывался портмоне. Найдя там ключи с брелоком в виде обнаженной женщины из Парижа, он побежал было к гаражу бегом, но представил себе, как глупо выглядит, если посмотреть на него с какого угодно этажа их ко-

оперативного дома, и зашагал вполне достойно — не то чтобы медленно, но и не торопясь.

Украдено ничего не было. Целы оказались и домкрат, и запаска, но посреди гаража — какая нелепость! — стояла, тарахтя мотором, эта деревенщина с грязными колесами и надписью на ободранном лбу — «Беларусь». Стояла, уставившись включенными среди ясного утра фарами ему прямо в лицо.

— Этт-то что? Кто здесь? — строго спросил Фирфаров. — Выведите ваш агрегат, тут вам не МТС!

Конечно же, какой-то нахал увидел, что не заперто, и загнал сюда на ночь свой трактор, это у нас так всегда — только не запри дверь, сразу явится кто-нибудь без приглашения, и доказывайте, что вы не верблюд.

И откуда трактор в городе? А впрочем, мало ли откуда — со стройки, да хоть из совхоза. А водитель, естественно, дрыхнет где-нибудь тут же, в доме, у родственников: приехал «к сестры».

— Глупость... нахальство... — бормотал Фирфаров, оглядывая двор в поисках хулигана-тракториста, спешащего на место преступления, но обнаружил не его, а с неудовольствием увидел своего бывшего одноклассника, ныне водопроводчика, Григория Болотина, оказавшегося, как назло, и в новом доме соседом Николая Павловича.

— Ну, ты, Коля, даешь! Накопил и машину купил? Чудо техники — «Мерседес-Бенц»! — заржал Болотин, подойдя и заметив пыхтящий трактор. Ржать Болотин умел с самого детства, при этом он разевал свою пасть так, что она делалась больше всей его малопривлекательной физиономии. Сейчас Болотин хохотал особенно противно, загородив пастью весь двор. Зрелище, прямо скажем, весьма неприятное, и Фирфаров даже отвернулся — у него самого полость рта всегда была в полном порядке.

А Болотин прямо трясся от глупого смеха, и вместе с ним клокотал от возбуждения неизвестно чей трактор в фирфаровском личном гараже.

А между тем во дворе начала собираться толпа: дворничиха Валентина с вечно багровыми щеками, полунинтеллигентный владелец старого «Запорожца»-броневика и, самое неприятное, два жигулиста в заграничных замшевых куртках. Вчера еще импортные жигулисты на этом вот самом месте беседовали с Фирфаровым о ма-

шинах, завидовали, что у него гараж во дворе рядом с домом, хороший был разговор, на равных, а теперь что? А теперь стоит Фирфаров посреди двора как дурак, как посмешище, а рядом эта керосинка, иди доказывай, что не твоя. Доказать, конечно, можно, и даже нетрудно, но все равно уже попал в глупое положение, теперь до скончания века будут говорить: «А-а, это тот, у которого в гараже — помните? — трактор нашли!»

Нет. Такие инциденты надо прекращать немедленно.

— Убирайтесь вон! Да поживее, слышите?! — в отчаянии приказал Фирфаров трактору, и тот, послушно постукивая мотором, сразу выкатился из гаража. На дворе он выглядел еще уродливее и неуместней: непомерно высокие задние колеса и маленькие передние, облезлая краска... Фирфаров, не глядя на трактор, тщательно запер гараж, убрал ключи в портмоне, повернулся и зашагал к воротам, на всякий случай иронически улыбнувшись жигулистам, и даже пробормотал что-то вроде «бывает же!».

Жигулисты не услышали, зато услышал Болотин и заорал:

— Бывают в жизни огорченья, когда вместо хлеба ешь печенье!

За спиной Фирфарова опять раздалось его ржание, но это было бы ладно, плохо другое: мотор окаянного трактора учащенно и озабоченно затарахтел, что-то горячее пахнуло в спину, потянуло бензином. Так и есть! Он тащился сзади, этот железный урод!

— А придуривал, что не его! — надрылся Болотин.

До автобусной остановки всего два квартала. Фирфаров прошел их за обычные пять минут, но время-то было потеряно на гараж, и автобус восемь три уже ушел, следующий будет минут через семь и набитый, может не открыться. Так вот и на работу опоздаешь из-за ерунды. Никогда не опаздывал, и, главное, было бы из-за чего! Надо что-то предпринимать.

А трактор подполз к остановке и встал впритык к тротуару. Оглянувшись еще раз по сторонам, Фирфаров влез в безобразную кабину, тотчас же мотор восторженно заревел, затрясся от старательности, и трактор зашкандыбал по мостовой, нахально втираясь между легковыми машинами.

Вообще-то ехать было даже интересно: не нужно опускать пяточок, толкаться, передавать чужие, грязные монеты, не нужно уступать место толстым, якобы тяжело больным гипертонией старухам, которые всегда нарочно положат тебе свой живот на колени, или хныкающим деткам, тем, что вполне могли бы и постоять, но мама уговаривает: «Садись, Алик, садись, дядя уступит...»

Откуда этот сумасшедший трактор узнал дорогу? Они добрались до института на десять минут раньше, чем Фирфаров приезжал обычно. Правда, к самой проходной Фирфаров трактор не подпустил — оставил за два дома, выскочил, и опять никого вроде знакомого не было, никто не заметил, короче, обошлось.

Возвращался с работы Николай Павлович, конечно, на автобусе и всю дорогу, сидя у открытого окна, слышал сзади пыхтение и лязг — нахальная машина, громышная, шла следом.

«Завтра выйду из дому пораньше и поеду в метро. Не ползет же он под землю. Нечего приучать», — решил Фирфаров.

Но назавтра он проспал, потому что сломался будильник, а когда выскочил в семь минут девятого из дома, началась такая гроза, что конец бы финскому костюму, но у самой фирфаровской парадной, растопырив, точно крылья, свои железные двери, топтался вчерашний трактор. Фары его преданно сияли сквозь дождь, как глаза неврастеника, мотор гремел, будто военный оркестр. Дождь тоже грохотал прилично, и, быстро оглядевшись, Фирфаров прыгнул в кабину. А вообще-то в такой ливень никто не станет разглядывать — кто там в тракторе да зачем.

Пока они ехали до института, дождь кончился, но фанатик ни за что не хотел выпустить Фирфарова до самой проходной. А тут, как нарочно, с той стороны улицы прямо к ним направлялась Зоя Николаевна Прозорова, дама из бухгалтерии, самая любопытная и болтливая особа во всем институте.

Фирфаров жиманул на тормоз, но трактор сделал вид, что не слышит. Зоя Николаевна была уже в пяти шагах.

— Слушай, ты! — тихо, но грозно произнес Фирфаров. — Немедленно остановись! Совершенно невоспитанный жлоб! Это тебе не зябь, понимаешь ли... ворошить

и не это... окучивать. Ставите чеаэка в дурацкое положение!

Когда Фирфаров волновался, то вместо «человек» произносил «чеаэк», что, кстати, давно, еще в юности, в старом доме на Петроградской заметил Гришка Болотин и дразнил Николая Павловича гнусными вариациями этого слова.

На трактор речь Фирфарова произвела сильное впечатление, он разом встал, точно споткнувшись, и Фирфаров выскочил на тротуар навстречу Прозоровой, которая, подойдя, тоже его заметила и подняла было тонкие накрашенные брови, но Фирфаров предупредил ее неуместный вопрос.

— Техника на грани фантастики! — сказал он, кивнув на трактор. — Труженик полей. Хотел вот взглянуть, как у этих динозавров переключаются скорости.

И, подхватив Зою Николаевну под локоть, Фирфаров повел ее к проходной, рассказывая по дороге содержание статьи в журнале «Советский экран», которую ему вчера давал почитать Букин.

Неделю ездил Фирфаров на работу на «козле» — так он про себя назвал трактор, — и очень удачно все складывалось: ни разу никого не встретили, Николай Павлович сэкономил двадцать пять копеек — конечно, ерунда, все-таки тоже деньги, — билет в кино на дневной сеанс или батон за двадцать две и три коробка спичек. С работы ездить он считал неудобным: выходит из института вместе с подчиненными, и очень было бы солидно забраться в кабину «козла» у всех на глазах.

А «козел» всегда упрямо ждал конца рабочего дня, ошивался за углом или напротив института на пустыре и тащился за автобусом как приклеенный.

И дождался-таки своего: в четверг Фирфарова задержал директор, он вышел на сорок минут позже обычного и вспомнил, что на сегодня намечено кафе «Аврора», что ночью мучила изжога, а в кафе этом подлом, чуть опоздаешь, настоишься в очереди и простокваши уже не достанется. Посмотрел Фирфаров налево, направо и сел на «козла». Путешествие прошло вполне благополучно, только на Невском засвистел милиционер, но хитрый трактор, высадив хозяина, тотчас же влез в какой-то двор и отсиделся там, пока свистки не стихли, а потом выкатился опять на мостовую с таким видом, будто он тут работает, производит капитальный ремонт зданий.

Словом, довез-таки «козел» Фирфарова до «Авроры», и тот сразу нашел место и заказал свой любимый молочный суп-лапшу.

А в воскресенье они съездили на Сытный рынок и привезли десять килограммов картошки — запас на месяц. На рынок, рассудил Фирфаров, вполне естественно ездить на тракторах, и верно рассудил: нахальный «козел» въехал прямо в ворота базара и, расшугав бабок, торгующих вязаными шапками анилинового цвета, покатил между рядами. Чуть не раздавив очередь, которая тотчас разбежалась, он высадил Фирфарова у прилавка как раз того мужика, чей товар был самым крупным и чистым, а потом стоял, загородив Николая Павловича от вернувшейся разозленной очереди, для острастки ее разведя дымовую завесу из выхлопных газов. А Фирфаров тем временем наполнял свою сетку отборным картофелем.

Ночевал трактор во дворе, в противоположном от фирфаровского гаража углу, около навеса для мусорных бачков, так что даже сам Болотин не смог бы теперь ничего заподозрить. Впрочем, Болотина Фирфаров не встречал уже целую неделю, жигулисты же опять здоровались с ним, как со своим человеком, и даже раз они втроем обсудили положение в Кувейте. Дело в том, что один из владельцев «Жигулей» побывал недавно в этой стране транзитом и успел, не выходя из здания аэропорта, сделать множество интересных наблюдений, из которых самое большое впечатление произвели на него серебряный слон величиной с овчарку, продававшийся в киоске «Сувениры» на доллары, а также местные женщины легкого поведения, запросто разгуливающие среди пассажиров в белоснежных нарядах, вроде туник, но с разрезом на боку от подмышки до полу.

— И красотки же все — обалденные, — рассказывал жигулист.

— У них конкуренция там, — веско предположил Фирфаров, и все согласились, что да, конкуренция, а что же — среди всех профессий в капстранах она имеется, и среди этой тоже.

Так они беседовали во дворе, серьезные мужики, дымили «Кентом», даже Николай Павлович закурил для такого случая, а трактор в это время стоял в своем углу с молчащим мотором и выключенными фарами — спал.

Но через два дня все-таки разразился скандал. . .

Только Фирфаров, отдохнув после ужина, уселся с журналом «Наука и жизнь» в кресло, как в дверь позвонили. Звонok был противный, так звонила только Валентина-дворничиха. Некогда он первый и единственный раз в жизни вовремя не заплатил за квартиру, она тут же явилась скандалить и звонила таким же вот визгливым бесконечным звонком. Фирфаров открыл дверь. Конечно же, это была она, вся багровая.

— Сейчас убери безобразие, не то штраф в двадцать четыре часа! — проорала дворничиха и, повернувшись, стала злобно спускаться по лестнице, а Фирфаров побежал за ней. Так они и выскочили во двор — Николай Павлович в пижамных штанах и выкрикивающая бессмысленные угрозы дворничиха.

Посреди двора зияла пасть Болотина.

— Говорил я — его этот драндулет, — заквакал Болотин, увидев Фирфарова и показывая на забившийся в угол трактор. — Скажешь — нет? Ты! Че-е-ек с одной большо-ой буквы!

Стоило Фирфарову показаться во дворе, как трактор радостно засиял фарами и затарахтел.

— Вот! Вот так и кажно утро! А меня-то мучают, меня-то терзают: кто это людям спать не дает? Убирай бандуру, а то завтра в товарищеский суд! — взревела Валентина.

— Да при чем же здесь я, товарищи, — нарочно очень тихо и спокойно сказал Фирфаров и повернулся к трактору спиной. — Смейтесь, что ли? Я «Жигули» покупаю, все знают. . .

Но трактор, этот идиот, металлолом чертов, выполз из угла, развел пары и остановился рядом с Фирфаровым. Тут Фирфаров увидел одного из жигулистов. Усмехаясь, тот шел прямо к нему через двор, а подойдя, сказал, не вынимая рук из карманов:

— У вас же есть гараж, коллега. Поставьте свой транспорт туда, и инцидент исчерпан.

— Исперчен! — загоготал Болотин. — Удавится — не поставит!

И Фирфаров не выдержал. Щеки его побелели, подбородок задрожал. Не помня себя, он изо всех сил пнул железную подножку и больно ушиб ногу. От боли и от обиды слезы подкатили к горлу, и он закричал тонким голосом:

— Что это такое в самом деле?! Что вы пристали к чеаэку! Не мой это транспорт! Не мой! Не знаю — чей! И знать не хочу! Он посторонний, посторонний!

И вдруг во дворе стало темно.

Погасли фары, замолчал мотор. В полной тишине трактор двинулся к воротам, беспомощно рыская в темноте, два раза наткнулся на стену, но все-таки нашел дорогу и выкатился на улицу, будто кто-то толкал его сзади в спину.

— Как же... — забормотал Болотин, — куда это он, на ночь глядя? Эй, друг! Стой, слышь!

— Он же слепой, пропадет! — вдруг закричала дворничиха и побежала в подворотню.

Пожав плечами, Фирфаров медленно вышел за ней, игнорируя Болотина.

Трактор был уже довольно далеко. Приседая на правое колесо, он ковылял прямо на красный свет, кургузый и нелепый рядом со сверкающими легковыми машинами и важными автобусами. На мгновение туристский «Икарус» заслонил его, а когда проехал, трактора было уже не видно совсем.

Во дворе Фирфарова нагнала зареванная Валентина.

— Зараза! — яростно сказала она и плюнула ему под ноги. — Наставили в кооперативном дворе гаражей! Все участковому скажу! За квартиру никогда не плотись... тоже еще... чеаэк!..

Фирфаров хотел было поставить обнаглевшую дворничиху на место, но что толку связываться с полуграмотной бабой!

Мокрый холодный ветер дунул из подворотни, и он вдруг вспомнил, что завтра-то уже осень, первое сентября. Фирфаров постоял еще немного у ворот, поежился и пошел домой.





# ПОВЕСТИ

## ПОЛИНА



1

**Н**очью у гибрида родилось восемь крыс. Они пищали в картонке из-под итальянских сапог, а Полина ежилась от омерзения, натянув на голову одеяло. Но шебуршание и писк проникали и туда. Крысу вчера принес Евгений, сказал, что купил на «зверинном рынке», потому что она представляет двойной интерес: во-первых, как всякое живое существо, во-вторых, как гибрид серой, то есть дикой, и белой, то есть ручной. Евгений последние два месяца работал шофером ветеринарной «скорой помощи», отсюда, видимо, и любовь к этой нечисти. Животновод! Полина испытывала одинаковое отвращение как к диким, так и к ручным крысам и прочим мышам, у нее стыло под ложечкой, даже если она видела их по телевизору, так что Евгению без задержки было предложено катиться с гибридом подальше, с ускорением и по прямой. Куда? Не ее вопрос. Например, к себе домой, к мамочке, пусть та воспитывает крыс с ним на пару. А можно и поближе — во двор к помойному баку.

— Ладно, ладно, меньше эмоций! — Евгений вошел и разделся, и сидел весь вечер. Сперва ужинали, потом он читал новые стихи — «ночью сочинилось, специально для тебя перепечатал, спешил, хотел тебе — первой, а ты!.. Да посмотри ты на мыш, не бойся, симпатичный же, ей-богу, зверек!»

Гибрид сидел в коробке, куда Евгений накрошил ему булки и поставил воду в розетке из-под варенья. Розетка была от сервиза, но Полина тотчас поклялась завтра же выкинуть ее в мусоропровод. Однако ни есть, ни пить гибрид не пожелал, улегся на бок и, похоже, собрался сдохнуть.

— Пусть уж он тут — до завтра, — самым своим ласковым тоном сказал Евгений, — а то видишь, ему, бедолаге, плохо...

— Мне еще хуже! — отрезала Полина, нарочно севшая к коробке спиной. Эту фразу Евгений счел согласием, простился, как всегда церемонно поцеловав Полину руку, надел куртку, обмотал горло шарфом и ушел.

А ночью они родились.

Опасливо, точно гадья могли заползти к ней на постель, Полина выпростала из-под одеяла руку и включила торшер. Зажегся свет — так и есть, половина третьего, ночь погублена, черта с два заснешь теперь в этом крысятнике! Встать и выставить на лестницу вместе с коробкой. Но Евгений же с ума сойдет. К людям, между прочим, у него такой любви не наблюдается... Ну почему, — скажите, кто знает, — он, видишь ли, обожает крыс, а жить они должны здесь?!

«Я — поэт, а поэты все эгоцентрики...» Сам, небось, дома, у мамочки, десятый сон смотрит... Нет! Сейчас же весь роддом — на площадку!

Полина решительно встала и подошла к коробке. Там шевелились эти бело-голые, каждый чуть больше фасолины. Крыса-мать лежала на боку, выставив покрытое редкой шерстью розовое брюхо, на котором вздулись соски.

Полина вернулась в постель и погасила свет. Полежала. Зажгла опять и взяла со стула листок со стихами.

...Нет, все-таки много мути, хотя есть хорошие куски. Что, например, означает: «И прохладную птицу на лоб положить»? Мертвую, что ли? Женька сказал, что имел в виду, разумеется, руку. «Разумеется»... А все стихотворение, мол, навеяно известной картиной Чюрлениса.

...«Поэт такого уровня, как Евгений Барвенко, в миру имеет право вести себя, как свинья. Запомни. А окружающие должны терпеть и благодарить бога за честь существовать с ним рядом» — так поучал Полину, и не один раз, Петя Кожин, приятель Евгения и его глав-

ный поклонник, единственный из Женькиных друзей, кто бывал в Полинином доме.

Сейчас она перечитала стихи в третий раз, стихи красивые, но почему все-таки нельзя было то же самое выразить как-то... ну, попроще, чтобы каждому понятно? Тогда бы наверняка напечатали, а так что? Сколько лет он все пишет и пишет — и ни разу нигде не опубликовали, ни одной строчки. Обидно же, хотя вообще-то редакторов можно понять: как такое напечатать? — ведь с работы снимут, читатели разозлятся, скажут, что делают из них дураков. Другое дело, было бы у Евгения имя, с именем и не то еще можно. Советовала ему: пиши без фокусов, попросту, напечатают раз, другой, привыкнут, а тогда уж и позволяй себе что угодно. Обозлился и выругал беспринципной бабой. Больше советов Полина ему не давала — пускай живет, как хочет, взрослый мужик, своя голова на плечах... А про дохлую птицу все же лучше убрать!

Полина выключила лампу. За окном еще не думало светать — декабрь и такая погода, — снег валит и валит вторые сутки, а ветер южный, все сразу тает и мокнет, потому и дышать тяжело. Черт с ними, с крысятами. Женька завтра унесет... хотя завтра, завтра-то суббота, а по субботам он завел моду оставаться у Полины, и, значит, опять бессонная ночь. Вот, тёткина жизнь, ей-богу!

Конечно, теперь намного легче, не то что первое время, два года назад. Теперь Полина, если чувствовала, что ни за что не уснет с ним рядом, ставила себе на кухне раскладушку. А вот ту, первую их ночь она хорошо запомнила, не забудет, наверно, до смерти. Все было вроде обговорено и ясно (месяц до того выясняли отношения) — и про невроз, и про хемингуэвскую «Фиесту», которую Евгений нарочно дал ей прочесть, и про то, что духовная близость главнее и выше. Евгений в тот вечер много выпил, рассказывал, плакал. И она сама предложила ему остаться.

Полина только переехала тогда в эту квартиру, днем привезли мебель, и они с Женькой, скинув обувь, на цыпочках затащили в комнату шкаф, письменный стол и диван — на полу еще не просох лак. Остальные вещи горой были свалены на кухне, и там они вдвоем отпраздновали новоселье. Дом накануне приняла комиссия, из кранов, как водится, не шла вода, газ обещали подклю-

чить через веделю, электричество — тоже, но оно-то как раз не требовалось: стоял конец июня, белые ночи.

Кажется, во всем одиннадцатизэтажном доме было их в ту ночь всего двое. Да что — в доме! Во всем микрорайоне. Напротив Полининых окон стоял еще недостроенный корпус, а сразу за ним начинался лес.

Евгений говорил, читал стихи, много стихов, смысла которых Полина почти не улавливала, но ей до слез было грустно от них, а еще — от голоса какой-то ночной одинокой птицы, тревожно кричавшей в лесу.

— Это где-нибудь напечатано? — спросила она Евгения.

— Нет. И между прочим, надо еще уметь так писать, чтобы им не нравилось, — загадочно ответил он и надулся. Полина больше ни о чем не стала спрашивать, чего бередить, и так у парня все как не у людей: и со здоровьем и со стихотворениями этими. Красивый мужик, видный, и не подумаешь, что — такое... А эта Лидия, про которую он рассказывал, первая его любовь, — просто сволочь. И вообще бабы стервы, им первое дело — постель, а нет, так и катись на четыре стороны...

Она очень просила Евгения, чтобы не уходил, — страшно одной в пустом доме, да и ему добираться — не ближний свет, а транспорт уже не ходит. И, главное, пусть он ни о чем таком не думает, они же друзья, ей с ним просто так хорошо и больше ничего не надо. Он промолчал, будто не слышал, потом кивнул. И видно было: обрадовался.

Простыни были где-то далеко, в чемодане, и Полина застелила диван белой крахмальной скатертью. Евгений как лег, сразу заснул, а может, и притворялся, кто его знает, а вот Полине в ту ночь пришлось плохо. Все сказалось: и годы бабьего одиночества, и, будь она проклята, выпивка, и то, что он, гад, такой красивый, умный и культурный. И белая душная ночь за окном. А еще — дурацкие надежды, самомнение: дескать, мало ли что с другими, а вот со мной... Евгений лежал на спине с закрытыми глазами и ровно дышал, а она, стараясь его не потревожить, встала с дивана и пошла на кухню. Лак прилипал к босым ступням. Зверски хотелось пить, а в кране — ни капли!

Птица в лесу все кричала и кричала потерянным голосом, а потом вдруг запели соловьи, и белесое небо прямо на глазах начало голубеть. Полина сидела, при-

жав к щеке холодную бутылку из-под рислинга, и старалась не реветь в голос.

«Не было мужика, и это не мужик» — так Майя говорит, лучшая Полинина подруга. Все точно и правильно, но как ответишь на Майкин сто раз уже заданный вопрос: «Зачем он тебе?» Пробовала объяснять — друг, близкий человек, привязан, талантливый, жалко... А она: «Какая там дружба, вы — совершенно разные люди, он на тебя смотрит сверху вниз, не уважает, относится потребительски». Сама Женьку ни разу не видела, а уже все знает. «И никакой он не талант, ты мне поверь, в поэзии, слава богу, разбираюсь. Обыкновенный графоман. Ты мне давала стихи, — так это же набор слов! Декаданс! И Игорь так считает, я ему показывала. Пародия, говорит».

Иногда Полина думала: а может, Майя права, она всегда все знает, все читала, ходит на выставки, кандидат наук как-никак; и от этого ей еще больше становилось жалко Евгения — человек жизнь кладет на эти стихи. А Игорь? Что Игорь? Он для Майки высший авторитет, муж и должен быть, а для Полины — обыкновенный Игорешка Синяев, сто лет знакомы, учились на одном потоке. Конечно, никто не спорит, Игорь мужик толковый, пробивной, всю дорогу был общественником, потом пошел расти, так что теперь зам генерального директора, член того и сего. И дай ему бог, как говорится, здоровья, личного счастья и больших творческих успехов, только вот ума от должностей не прибавляется и души тоже, правда?

Короче, что бы они там с Майкой ни твердили, Евгений — это Евгений, часть Полининой жизни... Хотя, конечно, иногда от такой жизни выть охота, особенно если нанесут полон дом крыс!

...И все-таки перед самым утром Полина уснула, и крепко. Не слышала даже, как звонил будильник, вернее, слышала, да не проснулась. Она видела во сне, что должна сдавать экзамен по математике, вот уже звонок, все в класс пошли, а она стоит, ничего не помнит, не знает, кругом одни девчонки в белых передниках, а она — сорокалетняя баба! — зачем-то в домашнем халате. Звонок звонил и звонил, как нанятый. Полина скинула одеяло, села. Нет, это был не будильник, а дверь, и, не накинув даже халата, она с закрытыми глазами ощупью пошла открывать. В дверях стоял Евгений, на шапке снег, лицо все мокрое.

— Ну, сударыня, и здорова же ты спать! А я всю ночь гулял по Петербургу. Устал адски. Дай поесть, с ног валяюсь.

Полина уже проснулась окончательно.

— Питаться будешь после того, как отнесешь домой весь приплод, — ядовито сказала она и пошла в комнату. Евгений двинулся за ней, оставляя на паркете мокрые следы и комья снега.

— Вот, любуйся! — она показала на коробку. — И чтобы пулей отсюда!

Он подошел, хмыкнул, потом опустил на корточки, снял шапку и положил рядом на пол.

— Учти: я больше не собираюсь... — начала было Полина торжественно, но тут на письменном столе затрещал телефон.

Звонила Майя.

— Все спишь? — осведомилась она и, не слушая ответа, продолжала: — Быстро одевайся и без завтрака — ко мне. Игорь в Москве, на ВАКе. Пьем кофе, клеим в передней обои — я достала моющиеся, в три часа придет из школы Ларочка, и все вместе — в Эрмитаж.

— Не могу, — быстро ответила Полина.

— А ты без «не могу». Что за дела? Опять, что ли, со своим иждивенцем?..

Полина плотнее прижала трубку к уху.

— Дело не в этом, — понизив голос, сказала она. — Ко мне тут... приехали, понимаешь? И мы сейчас пойдем... в общем, смотреть город.

— Кто приехал? Откуда?

— Из Уфы. Ой, извини, Маечка, побегу: яичница горит, — и Полина поспешно положила трубку.

Теперь на полу рядом со «зверопитомником» лежала и куртка. Евгений стоял у окна, смотрел на улицу.

— Город по грудь провалился в снежное небытие... — вдруг произнес он нараспев и замолчал.

Снег все летел и летел.

Город по грудь погрузился в снежное небытие,  
По целине троллейбус уходит в последний путь.  
Трем фонарям ослепшим глаз не разомкнуть.  
Где-то над белым мраком мерцает лицо Твое...\*

— Яичницу будешь? — спросила Полина. — Или картошки пожарить? С луком?

---

\* Здесь и в дальнейшем стихи Елены Эфрос.

Разговор с подругой, как это часто бывало, расстроил Майю Андреевну. Лучше бы не звонила, на эту Полинку никаких нервов не хватит! Из Уфы к ней, видишь ли! Ведь вранье — не хочет идти, лень, а скорее всего, опять явился Евгений. А можно было провести такой хороший, уютный день вместе. Встав сегодня ни свет ни заря, Майя уже успела начистить для обеда картошку, поджарить котлеты, поставила тесто для быстрого пирога (сама Полина печь не любит, а пироги обожает) и, отправив Ларису в школу, села раскладывать по экземплярам рукопись статьи Игоря Михайловича, которую вчера привезла от машинистки. Хотела еще пропылесосить книги, да раздумала — и так чисто, влажную уборку она делала каждый день.

Майя Андреевна не считала себя домохозяйкой, да и смешно было бы считать — кандидат наук, стаж работы по специальности — пятнадцать лет с лишним. Но дочь перешла в десятый класс, предстояла страда поступления, и это было сейчас самым главным. А у Майи Андреевны с детства железный принцип: все делать как следует, выкладываться полностью, только тогда, уж проверено, добьешься результата. Этому своему качеству Майя Андреевна была обязана очень многим. Если на то пошло, даже замужеством. Нет, разумеется, не надо думать, будто семнадцатилетняя Майя поставила себе целью непременно выйти замуж за самого красивого и перспективного студента на курсе, поставила — и хладнокровно добилась. Майя Игоря любила, именно любила, а не влюблена была, как три четверти девчонок с их потока. И он в конце концов выбрал не «мисс курс» Риту Прохорову и, если на то пошло, не Полину Колесникову (та, правда, на него особого внимания как раз не обращала, но именно это, как известно, очень часто и бывает для мужчин главным стимулом), а выбрал он Майю, не бог весть какую красавицу, маленькую, остроносенькую, хотя и вполне ничего, и не первую отличницу, хотя, опять же, и не троечницу. А почему? Да потому, что с первого курса для Майи ее любовь к Игорю Синяеву была самым главным в жизни, единственным. Полина тогда возмущалась: «Сохнешь, а он тебя в упор не видит, это унижение!» Майя молчала. Откуда-то ей точно было известно; если настоящая любовь, ею можно только гордиться. Вот если бы она что-нибудь у Игоря вы-



клянчивала, бегала... А она просто хочет, чтобы ему было с ней хорошо.

Он много работал в СНО, и вот она тоже взялась за науку и сделала на конференции блестящий доклад, о котором потом неделю говорил весь курс. Игорь ходил в походы, и домашняя, вечно простужавшаяся Майя очень быстро стала в этих делах чуть не большим мастером, чем он сам (кстати, и простуды прекратились). Когда шли летом группой в лес, она не уставала, не хныкала, как другие девчонки, не норовила при первом удобном случае томно улечься на подстилку, заклеить листком нос и загорать, а весело тащила здоровенный рюкзак, на стоянке сразу принималась ставить палатку, собирать сучья, разжигать костер. Девушки нежились на солнышке, а Майя носила воду, варила суп, мыла после еды посуду и шла с мальчишками купаться или ловить рыбу. И ничего удивительного, что вскоре все ребята из их компании стали уважать ее больше, чем своих капризных барышень, с которыми, впрочем, по-прежнему бегали в городе на танцы и в бары. Что ж... Спустя месяц Майя на вечерах плясала современные танцы лучше всех в группе, стала больше уделять внимания одежде, подстриглась у знаменитого Алика — победителя международного конкурса парикмахеров, и тут выяснилось, что внешняя красота не только дар природы... В общем, к концу третьего курса Игорь уже ходил за Майей как приклеенный, во время летних каникул они вдвоем съездили на попутках в Ясную Поляну, а осенью поженились. Жили дружно, и все потому, что Майя никогда не жалела себя, никогда не забывала, как выражался Игорь, «включить мозги», по течению не плыла: и в доме (они сразу стали жить отдельно от родителей, снимали комнату) все по первому разряду, порядок и красота, летом, как и до женитьбы, походы, и никаких дряг — мало, дескать, денег или что (о расходах Игорь понятия никогда не имел), никакой расхлябанности, мятого платья, распатланных волос, бабских разговоров. Потом, когда была уже Лариса, когда получили квартиру, Игоря назначили замом главного инженера, а Майя поступила в заочную аспирантуру и все силы, казалось бы, бросила на науку, дома все равно сохранялся уют, Игорю — каждый день свежая рубашка, по субботам — пироги. У Майи правило: ничего за чужой счет, только за свой. Ночь не спи, занимайся своей диссертацией, а утром — завтрак за нарядно накрытым

столом и — улыбка. А что? Разве это так трудно, если любишь человека? А синяки под глазами?.. Ничего, можно запудрить, и бледные щеки подкрасить. Покойная мать, помнится, называла Майю «душечкой» — здоровье готова гробить, лишь бы мужу угодить. Всю жизнь под него подлаживается. Майя возражала: «душечка», к твоему сведению, как раз положительный образ, это еще Лев Толстой отметил, да взять хотя бы Наташу Ростову после замужества... Мать не соглашалась: сейчас другое время, надо реально смотреть на жизнь, а то проквохчешь лучшие годы возле мужа, а он на шестом десятке сбежит к молоденькой. Мама, когда это говорила, исходила, конечно, из горького собственного опыта, всю жизнь была только женой и хозяйкой, ездила за мужем из гарнизона в гарнизон, а Майкин отец, полковник, как вышел в отставку, так и бросил семью, женился на культурнице из санатория, где отдыхал. Культурница была крупная, грудастая, точно комод, у которого выдвинут верхний ящик, недалекая, но действительно молодая, моложе его лет на тридцать.

Для Майи материнские предостережения были — пустой звук, ее отношения с Игорем строились на другой основе, так что, когда встал вопрос — уйти на год-другой с работы, чтобы помочь Ларисе, она особенно не раздумывала, кончила тему, которой была руководителем, и уволилась, — надо так надо, дома сидеть сложа руки не придется, и скучно не будет, это уж так. Потому что все — с любовью, даже, если на то пошло, и с вдохновением. Все — и старания, чтобы Лариса успешно закончила год и поступила в вуз, и новый режим питания для Игоря — после сорокалетия тот вдруг захандрил, то желудок, то давление. Мужчины, известно, народ хрупкий... В общем, крутиться приходилось будь здоров. Ларисины домашние уроки — раз, но это, положим, было всегда, с первого класса: Лара занимается, мать сидит рядом. Игорь ворчал: сколько можно, надо девочке наконец быть самостоятельной, вымахала жирафа — выше матери, а никаких навыков в преодолении трудностей. Майя не соглашалась — при чем здесь рост? Взрослеют они теперь поздно, и если родители имеют возможность помочь ребенку, что тут вредного? А навыки... Что ж... Еще жизнь впереди, всякого придется хватить, и лучше в эту жизнь войти сильным. Вообще детство — это такое время, когда человек на всю жизнь напитывается знаниями, заботой, а главное, любовью, —

как конденсатор. Что получит, то потом и отдаст. И тут не надо жадничать, бояться передать. Люди, у которых было счастливое детство, — обычно добрые, хорошие, открытые люди. Нет, баловать, конечно, нельзя, кто спорит, но речь не об этом, а о разумной, сознательной любви. Игорь не возражал, он в домашних делах обычно всегда соглашался с женой.

Дальше — культурная жизнь. Некультурный человек — обделен, Майя Андреевна хотела, чтобы Лариса научилась получать радость от искусства. В филармонию у них с дочерью уже третий сезон были абонементы, серьезную музыку Майя всегда любила. По субботам обычно ходили в музей или на выставку, иногда брали с собой Игоря, но в последнее время он и по субботам с утра до вечера пропадал на заводе. Зато уж в воскресенье, если хорошая погода, старались выехать за город, летом на машине с палаткой, зимой — электричкой с лыжами.

А режим? А диета? На одном из родительских собраний выступал врач и подробно рассказывал, как должно быть организовано питание подростка, особенно в тяжелом последнем классе. Некоторые мамы было зароптали — нереально, трудно, а Майя Андреевна взяла слово и напомнила: воспитывать детей — не развлечение, а работа, да, да! — труд, причем ответственнейший, так что жалеть себя тут не приходится, а в конце концов, для кого живем? Для детей. Ну, естественно, взялся за муж... Приготовление обеда занимало теперь уйму времени, особенно вечная возня с овощами (врач сказал, овощи это основное). По два стакана морковного сока ежедневно для Ларисы, а заодно и для Игоря — вынь-положь. Игорь Михайлович привез из ГДР электрическую соковыжималку, так Майя Андреевна ей не доверяла, сплошная пластмасса, а из пластмассы может вымываться мономер. Морковку она терла на фарфоровой терке и отжимала через двойную марлечку, работа, конечно, каторжная, но опять же, если с любовью, то все в радость.

Сегодня, пользуясь отъездом мужа, Майя Андреевна решила переклеить в передней обои. Игорь бы, конечно, брюзжал: «опять ломись», а так, вдвоем с Полинкой, они бы тихо-мирно, за разговорами сделали все в два счета. Так нет, у той опять чрезвычайные обстоятельства. Привела своего тунеядца, графомана этого, и обихаживает. Глупо. Нет, никто не спорит, каждой жен-

щине необходимо о ком-то заботиться, но найди же достойного! В конце концов, возьми в детдоме ребенка, раз нет своих... А здесь,.. И никакого собственного достоинства, даже на молекулярном уровне. Ведь без комментариев ясно: «гению» она нужна исключительно как младший обслуживающий персонал, говорить ему с ней не о чем, у него для разговоров наверняка имеются какие-нибудь «интеллектуалы», бездельники вроде него самого, а если Полина все-таки воображает, что ему с ней интересно, так все мы склонны самообольщаться, а она больше других. Культурный уровень у нее — прямо скажем... И оправданий тому никаких — семьей не связана, свободного времени навалом, двадцать с лишним лет живет в Ленинграде, и выросла тоже не в лесу — мать была учительницей младших классов в Калуге, все же человек с каким-никаким образованием. А она? Вот хоть сегодня — звали в гости, могла провести день в семье, сходили бы в Эрмитаж на испанцев... Господи, может, она вообразила, что ее хотят эксплуатировать при оклейке передней? Так в оклейке разве дело? Ей, дуре, удовольствие доставить хотели, вон и пирог... Так нет! Будет вместо этого слушать заумный выпендрей. Как-то пыталась пересказывать его философствования — уши вянут. «Метафизическое зло», «богоборчество», — говорит, а ведь смысла не понимает, как, впрочем, скорее всего, и сам «гений». А его «стихи»? Бред сумасшедшего! Как она все же умеет сделать свою жизнь нелепой! За женщину он ее не считает, за человека... сомнительно, и тем не менее взгромоздился на шею. И что самое характерное — так у Полинки было всегда. Всех своих возлюбленных она безошибочно находит и выбирает по одному-единственному признаку: чтоб был неполноценный. Или больной, как покойный Борис, или моральный урод, как Лашинский. Или серый и дикий, как Юра Глухов, ее бывший муж. Все эти ущербные, надо отдать им должное, ведут себя одинаково: быстро разобравшись, что к чему, начинают успешно паразитировать, так что «великая любовь» непременно кончается скандалом, в результате Полина каждого своего «избранника» выгоняет вон. Тоже, между прочим, не слишком-то благородно, сама выбрала, никто не заставлял... А все потому, что никакой там «великой любви» и не было. Любовь бывает одна и на всю жизнь. Счастливая, несчастная, но — одна. А тут... И вот через месяц появляется новый. Прекрасный и обо-

жаемый. Точно так же, как предыдущий, один к одному. Обидно до слез: была бы какая-нибудь косая или кривая — нет! — красивая женщина, высокая, стройная. Даже сейчас, в сорок лет, фигура как у девушки. И черты правильные. Конечно, когда живешь для одной себя, сохраняешься лучше...

Майя Андреевна дружила с Полиной с первого курса, они учились в одной группе, старостой которой бес­сменно был Игорь Синяев. Полинка вечно сидела без копейки, мать в Калуге еле сводила концы с концами, а когда Полина делала диплом, внезапно умерла от ин­фаркта. Училась Полина, ничего не скажешь, на повы­шенную стипендию, ей все всегда дается легко, не то что Майе — та вкалывала как следует, даром что считалась избалованной полковничьей дочкой. Все были уверены — кто-кто, а уж Колесникова получит диплом с отличием, а она перед самой защитой вдруг влюбилась, и все по­шло под откос... Лащинский преподавал у них на фа­культете черчение, бабник и выпивоха был патентован­ный. И пошляк к тому же, — бывало, подойдешь с эски­зом: «Алексей Юрьевич, какой тут у меня вид снизу?» Он точно только того и ждал: «Какой у вас — не знаю, а у вашей детали...» И смотрит, как ты краснеешь. Ни одной юбки не пропускал, а эта дурочка — сама к нему на шею. На kota и мышь бежит... Кто откажется? А по­том, когда выяснилось, что как честный человек обязан жениться, — в кусты. А Полина — в больницу, а потом в другую, с сердцем, — нервное потрясение плюс наслед­ственность. В общем, диплом она защищала уже осенью. Слава богу, еще оставили в Ленинграде, но распределе­ние дали плохое — в тяжелый цех. Там она взялась бо­леть уже без передышки, и заводское начальство само позаботилось: у них при заводе свой НИИ, перевели ее туда. Тоже не бог весть что, все равно в цехах приходит­ся бывать ежедневно и нервотрепки хватает, а она при­жилась, она как кошка, везде привыкает. Уходить, во всяком случае, не собирается, хотя Игорь Михайлович не раз предлагал помочь, даже звал зачем-то к себе на завод в лабораторию.

А история с подонком Лащинским так ничему По­лину и не научила — через полгода она скорострительно выскочила замуж за парня, знакома с которым была пе­ред этим не то месяц, не то два. Познакомились на ве­чере, и вскоре этот Глухов из общежития переселился к Полине в качестве мужа. Сперва без записи, а потом

сходили в загс — он настоял, нуждался в прописке. Полина жила тогда в коммунальной квартире на Васильевском — дали от работы. Комната была хорошая, большая и светлая, и квартира малонаселенная.

Глухов оказался серым, как валенок, но Полину это ничуть не смущало, наоборот, похоже, чем-то даже нравилось: «Я и сама не принцесса Турандот, вот и будем вместе ликвидировать пробелы!» Первое время все таскала его по театрам. Глухов терпел целый «квартал», а потом начались скандалы. Да какие! У Майи Андреевны были даже подозрения, что муж Полину бьет, — та время от времени появлялась с синяками, а спросишь — «ударилась о дверцу такси» или упала и «можешь себе представить? — рожей об угол, вот смех!» Майю все это, естественно, приводило в ужас — во-первых, как можно так жить, во-вторых, зачем врать?

Через год развелись, делили комнату, имущество, и Глухов вел себя из рук вон, — претендовал на Полинкины вещи, скотина эдакая, сам-то в дом ничего не принес, а отсудил телевизор и обеденный стол. Не говоря о площади, — Полинка после размена переехала буквально в клетушку, хорошо еще, что дом пошел на капитальный ремонт, дали квартиру. Притом отличную. А вообще-то, вот парадокс: все человек делает, чтобы испортить свою жизнь, и выходит — что другие годами добывают собственным горбом, ей вдруг валится с неба. На блюдечке с голубой каемочкой.

Про вещи, которые Глухов отсудил, Полина, ясное дело, сказала: «Наплевать с космических высот. Что ни делается, все к лучшему. Полная перемена обстановки в прямом и переносном смысле».

Вот так. Только стала опять налаживаться жизнь, снова попала в больницу со своим сердцем. Майя Андреевна ее в тот раз буквально вытащила, ходила как за собственным ребенком, каждый день — обед в термосе, фрукты, соки. Потом Игорь достал путевку в санаторий. И чем, вы думаете, кончилось? Нашла себе там какого-то мальчишку, на пять лет ее моложе, принялась опекавать, и уж бог знает, что у них было и чем бы кончилось, да мальчик взял и умер. Там же, в санатории, прямо у нее на глазах. Сколько уж лет с тех пор прошло, — каждый год в день его смерти ездит на кладбище, возит цветы. И за могилой ухаживает. А у мальчишка, между прочим, живы родители...

Что же это все такое? Никто не спорит, Полина добрая, отзывчивая, этого не отнимешь. Но с другой стороны, — а чем себя еще занять? Как ни смешно, а такая вот филантропия направо-налево, если вдуматься, для многих — линия наименьшего сопротивления. Легче это, чем полюбить всерьез, построить семью и всю себя отдать ей, легче, чем заняться, допустим, самообразованием. И уж, разумеется, легче, чем усыновить ребенка и жить для него. Вообще куда приятней делать добро тому, кому ты его делать не обязан, это аксиома, и не каждый может такое себе позволить — времени у всех в обрез, силы тоже ограничены, вот и получается: на первый взгляд, помогать чужим, посторонним — очень благородно, прямо подвиг, а на самом деле подвиги эти совершаются, как правило, за счет самых близких, которые при этом чувствуют себя обделенными... Сейчас Полина «спасает талант». Звучит красиво, кто спорит. Жаль только, когда на дешевые эффекты уходит человеческая жизнь. Дешевые, потому что Евгений — ярко выраженный бездельник. За два года раз пять менял работу — то он лифтер, то оператор в котельной, теперь вот, Полина говорила, устроился чуть ли не на живодерню. Где бы ни работать, лишь бы не работать. Вечно, без денег, вечно на шее у матери-пенсионерки или у дуры Полинки. Как же! — поэт, талант, которому все позволено.

Игорь Михайлович как-то объяснял жене, что нестроенная личная жизнь ее лучшей подруги вовсе не случайность. Видимо, сказал он, у Полины с детства комплекс неполноценности, хотя непонятно откуда — прелестная женщина. Но вот парадокс — не верит, что ее можно полюбить за ее личные качества, прямо какой-то психический сдвиг. Не верит, и потому выискивает убогих, за кем не надо тянуться, надо, наоборот, опускаться. И вот тут-то кроется ошибка: ущербные всегда озлоблены, к благодарности не способны из-за раздутого самолюбия, любить умеют только самих себя, так что бедная Полина всю жизнь обречена терпеть пренебрежительное тунеядство. Казалось бы — несправедливость! А если вдуматься?.. Нет, любовь не покупают услугами, ее заслуживают всей жизнью...

Игорь, конечно, прав, он умница и в людях разбирается. Одно непонятно, откуда у Полины такой комплекс. Скорее всего, оттого, что росла без отца, даже ни разу его не видела, а это всегда деформирует психику.

Да и мать... Майя несколько раз видела Полину мать. Симпатичная была женщина, только уж очень какая-то... правильная, без конца Полину воспитывала, и что ни слово, то цитата: «девушку украшает скромность», «всякий труд почетен», «нужно думать не об удовольствиях, а о жизни». Голосок тихий, въедливый, у бедной Полинки лицо аж перекосится, а молчит, матери никогда не грубила. Кстати, Игорь считает, Полинкина бесшабашность — отсюда, протест против материнских бесконечных наставлений. Вполне может быть... Позвонить, разве что, еще раз? Может, одумалась, придет? Нет. Бесплезно. Эта фанатичка, если что решила, сделает по-своему, не переубедишь.

Взглянув на часы, показавшие без трех минут двенадцать, Майя Андреевна решила до возвращения дочери съездить на автомобильную барахолку — осенью сняли «дворники», когда Игорь один-единственный раз оставил машину под окном. А еще неплохо бы купить распродвал. Хоть автомобиль и в хорошем состоянии, а про запас. Для Игоря сейчас машина — любимая игрушка...

### 3

Майя Андреевна ошибалась, думая, будто Полина ни разу не видела своего отца. Одна встреча была, и совсем недавно, только можно ли считать это встречей, вот вопрос...

Пятнадцатого октября Полина прилетела из Сочи, из отпуска. Наплавалась, загорела, как негритос с Филиппин, хотя врач и запретил открытое солнце. И вот, не успела войти в дом, звонок по телефону. Голос женский. Спрашивает, как милиционер:

— Гражданка Колесникова?

— Я — Колесникова. В чем дело?

— А в том дело, — говорит голос, — что стыдно должно быть. Ваш отец, Колесников Василий Иннокентьевич, скончался восьмого октября у нас в доме престарелых, где его никто не навещал, в то время как имеется родная дочь. Об этом мы, само собой, напишем в центральную газету, а также о том, что тело до сих пор не погребено, находится в районном морге, и его уже собираются передать в мединститут для опытов!



— Для каких... опытов? — спросила Полина, садясь на стул.

Но «голос» не реагировал, точно на том конце провода крутили магнитофонную ленту.

— ...об этом бездушии мы, конечно, тоже сообщим, куда следует, а ваш адрес и место работы получили в справочном столе, но нам, как гражданам, да просто, наконец, как людям, совершенно непонятно, до какой степени...

— В каком морге? — все-таки прорвалась Полина.

Женщина закончила фразу через полчаса и адрес назвала, но потом опять забубнила про возмутительное отношение. Полина медленно положила трубку. Телефон затрещал опять, она не подошла.

В морге сразу начались сложности. Зачем-то потребовалось, чтобы она опознала тело, и пришлось долго объяснять ошеломленному служителю или как там он называется, что сделать она этого не может, поскольку не знает, как выглядел ее родной отец. Потом потребовались документы, а их, кроме собственного паспорта с фамилией «Колесникова», у Полины, естественно, тоже не было. Но тут откуда-то появилась маленькая квадратная старушка, та самая, телефонная активистка из дома престарелых. Полинин загар и цветущий вид вызвали у нее новый приступ злобного негодования, но работник морга отвел ее в сторону, что-то сказал, и старушка стихла. Больше того, внезапно полюбила Полину, стала ласковая, повела к отцу, и Полина, глядя в чужое мертвое лицо, вслушивалась в себя — дрогнет ли хоть что-нибудь, ведь отец все-таки. Нет. Не дрогнуло.

Организовать все помогла та же Лилия Корниловна из дома престарелых, а деньги выложить пришлось Полине, у дома престарелых такой статьи в бюджете предусмотрено не было. Провожать отца пришло человек десять, всё старики — Лилия Корниловна привезла прямо в крематорий на микроавтобусе. И гордилась: удалось оформить как экскурсию.

От дома престарелых был венок, от дочери — живые цветы, все как у людей. Крематорский оратор сказал речь, что прощаемся мы сегодня с хорошим человеком Колесниковым Василием... тут он запнулся и вместо Иннокентьевича назвал отца Ипполитовичем.

А Полина смотрела на темное лицо среди цветов

(странно: человек мертвый, а цветы живые...) и думала, что ведь совсем не знает, каким он был, ее отец. Даже о том, что жил, оказывается, в Ленинграде, услышала только три дня назад, мать всегда говорила: «Где-то на Урале, не знаю где, возможно, умер. И больше не спрашивай, не хочу вспоминать, это — подлец». В анкетах Полина писала: «разведен с матерью в декабре 1940-го года, местонахождение неизвестно». А она родилась в январе сорок первого и вот теперь ничего об отце не знает. Сказали бы раньше, что жив, в Ленинграде, нашла бы, хотя... Может, и не стала бы искать, мама этого не хотела, да и он сам, папаша, не больно старался увидеть родную дочь... А он, небось, и понятия не имел, что дочь существует. Вообще-то думать об этом теперь пустое дело, у мертвого не спросишь...

Заиграла музыка, и гроб медленно стал проваливаться под пол.

Полина не поехала в город со стариками. Все кончилось — и слава богу. Помахав отъезжавшему микроавтобусу, она вышла на шоссе и остановила первую попутку, грузовик с фургоном. Очень не хотелось отвечать на вопросы. И повезло: водитель попался тихий и не любопытный. Полина смотрела вперед на дорогу, вдоль которой стояли яркие осенние деревья, на густое синее небо и молчала... Это называется: «повидалась с отцом». В первый раз в жизни. И в последний... А все же он знал, наверняка знал, что Полина существует, живет в Ленинграде, иначе с чего бы ее стала разыскивать эта старушка, Лилия Корниловна. Знал и не искал. Почему? Выходит, мама не зря говорила, что ему всегда на всех было наплевать?.. А если все не так? Если он считал, что не имеет права? Мол, маленькая была, не признавался, а теперь, когда сам состарился, — «здрасьте, я ваш папа!»... Ничего уже не узнать. Одно ясно: без нее жил, без нее умер. А может, и вспоминал, нужна была... Вот так и живем — ничего не знаем, кому нужны... Да и самим-то нам кто нужен, не всегда понимаем... Надо купить к ужину сыру, а лучше, пожалуй, зайти в кулинарию, вечером придет Женя, он любит слоеные пирожки, а там бывают теплые, с капустой и яблоками.

Про отца Полина не рассказала никому. Да и кому, собственно, рассказывать? Евгению было не до того — писал, как одержимый, новую поэму. Майя? С ней По-

лина последнее время не откровенничала. Особенно после того, как та принялась вдруг вспоминать по какому-то поводу Юру Глухова, — какой он был серый и необразованный и как однажды сказал, что басню про лебедь-рак-и-щуку написал Салтыков-Щедрин. Полина слушала ее тогда с изумлением — ничего этого она про Глухова не помнила, зато очень ясно помнила новогодний бал, на котором они познакомились, — жарко натопленный зал, красный пахнувший мастикой паркет, духовой оркестр. И высокие окна, настезь распахнутые прямо в шелестящую черную ночь.

#### 4

После обеда Полина с Евгением собрались в центр. Было у них такое правило — по субботам выбираться из новостройки. «В Петербург», — говорил Евгений. Сегодня они доехали до Чернышевской, вышли к Неве, заваленной пухлым снегом, и по набережной побрели к Летнему саду. Подмораживало. Снег все падал, вдоль тротуара громоздились высоченные сугробы. В Летнем саду пахло деревней.

Они ступали по нерасчищенной дорожке след в след. В саду шла нескорая зимняя жизнь. Не спеша летели влажные тяжелые хлопья. Дети, проваливаясь в сугроб, медленно катили грузный снежный шар. Толстые ватные бабушки неторопливо и значительно беседовали, сидя на скамейках, вросших в снег.

Евгений сегодня был в хорошем настроении, дразнил Полину, читал свои старые стихи, которые ей никогда не нравились.

...Я постигаю суть судеб,  
еще покрытых пеленою,  
и по сравнению со мною  
Создатель безнадежно слеп...

Надо было смолчать, но Полина не выдержала и опять сказала, что стихи напыщенные, а у Евгения — мания величия.

— Так я же гений. Простой, нормальный гений, — с улыбкой отвечал он.

— Об этом обычно становится известно после смерти — кто был гений, а кто был... «ге». — Эти слова Полина говорила ему в сотый раз, считала себя обязанной.

Сказала и сейчас, и тут же подумала — зря. От него ведь не знаешь, чего ждать, обозлится — и готово, испорчена прогулка.

Но сегодня Евгений был настроен благодушно. Засмеялся и сказал, что все же надеется на кое-какую славу и при жизни. Потом прочел еще:

... Полночный свет качается в петле.  
Уходит время. Не снести разлуки.  
Его шагов беспомощные звуки  
разносятся по каменной земле...

— Нормально, — одобрила Полина, — только кого это «его»?

Евгений моментально обиделся и заявил, что не понять, о чем тут речь, может только технарка, начисто лишенная поэтического слуха. Его, конечно, разозлило слово «нормально», ему подавай «гениально». Ничего, перебьется. Желает с утра до вечера выслушивать комплименты, пусть не связывается с технарками.

Она замолчала и не произнесла ни слова до самого выхода из сада. Евгений тоже молчал.

На автобусной остановке напротив Инженерного замка он встретил знакомых — хмурого бородатого мужика в огромном собачьем малахае и девушку. Девушка была совсем молоденькая, в длинной, до пят дубленке и без шапки. Евгений тотчас выпустил Полинину руку и кинулся к ним, как к любимым родственникам. Полина отошла. Он и не думал ее знакомить. Как всегда.

Она стояла лицом к парапету Мойки. В громадной черной полынье плавали дикие утки. Восемьдесят девять штук. Большинство селезни. На той стороне, у замка, дети, скопившись у воды, кидали уткам хлеб. Над полыней с возмущенными криками носились чайки.

У Полины замерзли ноги.

— И все-таки Леонтьев прав! — услышала она и обернулась. Те и не думали расходиться. Евгений ораторствовал, размахивая руками, девица с томным видом слушала, время от времени смахивая снег с непокрытых волос. «Довыпендривается до менингита», — злорадно подумала Полина. Бородатый в дикой шапке глядел в сторону, ему Женькина болтовня, видать, уже надоела.

Полина закусила губу и медленно пошла к Садовой. Три раза оглянулась — Евгений все «выступал». К оста-

новке приближался автобус. Высокий парень в очках заторопился, побежал и толкнул Полину. Она выругалась. И тут же услышала:

— А еще называется женщина! Совсем уж стыд потеряли.

Пенсионер с собачонкой на поводке гневно смотрел на нее, жуя сизыми губами.

— А ты жучку убери! Запоганили весь город! — вдруг закричала Полина. — Ступить некуда! Куда милиция глядит?!

Прохожие оборачивались. Девочка с пустой птичьей клеткой так и шарахнулась в сторону. В круглых ее черных глазах был ужас.

— Ты что скандалишь? — рядом стоял запыхавшийся Евгений. — Я туда, сюда... А она тут устраивает уличные беспорядки.

Старик со своей шавкой опасно заковылял через улицу.

— А катился бы ты... — медленно сказала Полина, глядя прямо в улыбающиеся глаза Евгения, — тоже мне... интеллигент... Вести себя не умеешь! Не представил, ничего... Женщина его на морозе два часа ждет, а он: а-ля-ля-тополя, распелся, как тетерев, размалхался...

— Это что за семейный скандал? — Евгений надменно поднял брови. — Мы с вами, мадам, покуда еще, слава богу, не обвенчаны. Так что уж позвольте мне самому решать, с кем из приятелей вас знакомить, а с кем нет, какой разговор вам под силу, а...

— Ах, во-от что! Значит, трепаться с этими пижонами мне не под силу, зато кормить тебя да обстирывать — в самый раз?

— Ты... Ты... — зашелся Евгений. — Да для тебя честь — стирать мою одежду! Таких поэтов в России...

— Хвагит! — заорала Полина. — Тунеядец ты, а не поэт! Графоман! Что вылупился? Ударить хочешь? Ну, ударь, попробуй, я тебе так врежу, живо с катушек полетишь!

Отпихнув Евгения плечом, она бросилась за автобусом, догнала у остановки, вскочила и сразу плюхнулась на свободное место. Всю дорогу, до самой станции метро, ее колотило: нет, вы подумайте — стирать его барахло — честь! Совсем озверел, спиногрыз чертов! Пускай теперь только заявится...

Только на эскалаторе она пришла в себя, посмотрела

по сторонам и увидела рядом пожилого, потертого мужчину с неряшливо растянутыми петлями на пальто и очень знакомым выражением на совершенно незнакомом лице. Полина отвела взгляд и тут же услышала:

— Полиночка?

Она вздрогнула.

— Лашинский! Господи, Лашинский! — Полина шагнула к нему вниз, через ступеньку, обняла, уткнулась лицом в плечо.

— Не узнала, да? Не узнала? Стареем, никуда не денешься, — приговаривал он. — А вот я тебя сразу... Не меняешься. Сколько мы не виделись, лет двадцать? Ты-то как?

— Я? Лучше всех! — она подняла голову. — С ума сойти! Ну, рассказывай: как ты, где ты, что? Слу-у-шай, а как Рита? Ты ведь на Ритке на Прохоровой женился? Ритка красивая была, лучше меня...

— У Риты волосы очень хорошие, — медленно произнес он, — Рита от меня ушла. Полиночка. И Никитку с собой...

— Ну ладно, ладно, ты... Обойдется. Чего в семье не бывает, помиритесь.

— Да нет, это уже все. Они ведь уехали... Слушай, Полинка, — вдруг попросил Лашинский, — пойдем сейчас ко мне, а? Посидим. Боюсь один в пустую квартиру, — нет, честное слово, боюсь.

— Пойдем, — согласилась Полина.

## 5

Только к одиннадцати Полина разделалась с уборкой и стиркой. Наломалась, зато вымыла полы и отдраила почти добела вконец запущенную ванну. Над ванной она развесила на плечах постиранные рубашки, вытерла руки и пошла на кухню, где Лашинский как раз собирался сливать воду с картошки.

— Давай сюда, — Полина отобрала у него кастрюлю, — надо будет тебе принести щавелевой кислоты для ванны, отъедает ржавчину в момент.

Стол уже два часа стоял накрытый, — ужин, конечно, не ах... да где взять одинокому-то мужику! Иваси в своем соку да банка шпрот, а еще Полина по дороге успела купить масло, триста граммов колбасы и сыру голландского. Сыр она сразу нарезала, часть выложила

на тарелку, остальное затолкала в стеклянную банку и закрыла крышкой.

— Так всегда и храни, — велела она Лащинскому, — возьми, сколько надо, остальное — назад, в холодильник. Хоть месяц держи — не засохнет.

Полина обвела глазами стол:

— Надо будет тебе соленых горькушек дать и капусты, у меня есть.

Лащинский быстро раскис, сидел, опустив лысую голову, и все говорил про свою Риту:

— ...в чем была, в том ушла. Ни гвоздика с собой не взяла, даже платья оставила, те, что я подарил. В шкафу висят, я смотреть не могу. Хочешь, возьми...

— Да ты что, Алешенька! Давай сейчас все запакуем, ты мне адрес дашь, я завтра отправлю ей по почте.

Лащинский замотал головой... Сколько же ему лет? Тогда Полине было двадцать два, а ему тридцать четыре, это значит... Всего пятьдесят два? Да... А выглядит на шестьдесят. И опустил — вон, затылок сто лет не стрижен, ногти обкусанные. А ведь красавец был мужик. И куда все девается?.. Полина молчала. Хотела спать.

— Ладно, Полинка. Хватит о моих делах, — вдруг встрепенулся Лащинский. — У тебя-то что?..

— Я ж говорила — полный о'кей. Успехи в труде и в личной жизни.

— Замужем?

— Холостая. Сама себе хозяйка, что хочу, то и ворочу. Чужие портки по обязанности стирать — не мой стиль.

— Меня... давно забыла?

— Ой, Алешенька, да о чем ты! Знаешь, что ни делается, все к лучшему, верно?

За окном все валил и валил густой снег.

— Хочешь стихотворение прочитаю? — спросила Полина. — Вот, слушай:

Мне снилось: я летел на облаке  
в неутолимом транс времени.  
Голубизны высокий обморок  
не разрешил меня от бремени.

Века глаза мои туманили,  
тысячелетья тлели заживо,  
и свет летел в безумной мании  
и ни о чем меня не спрашивал.

— Сильно, — уважительно сказал Лашинский, когда Полина замолчала. — Вознесенский?

— Вознесенский — вчерашний день, — отрезала она, — а тебе, правда, нравится?

— Ну... Я, знаешь, не большой специалист, мало читаю, только в метро. Некогда. Но, по-моему... — замямлил Лашинский.

— Это Евгений Барвенко. Запомни. Ну, выгоняй меня, а то уже скоро двенадцать.

— А чай? Я сейчас, ты погоди, он — быстро... — Лашинский суетился, налил воду в чайник, пытался зажечь горелку, чиркал одну за другой спички, а они ломались и не горели.

— Это коробок отсырел, — сказала Полина, — возьми в ванной, там есть.

В доме не оказалось ни заварки, ни сахара. Полина порылась в шкафу и нашла кулек с изюмом.

— У нас в техникуме, — рассказывал Лашинский, — один... ну, в общем, преподаватель, завел себе любовницу. В своем же доме, только в другой парадной. Представляешь? Очень удобно — вышел из дому и сразу...

— Который час? — спросила Полина.

— Подожди, дай досказать. Так вот, один раз он сказал жене: посылают, мол, в Новосибирск на конференцию, на неделю, а сам собрал вещички — и шмыг к той. День живет, два живет, на работе за свой счет оформил. Как-то любовница ему говорит: вынеси, говорит, помойное ведро. Ну, он, конечно, дождался ночи, и в два часа берет ведро и в одних пижамных штанах, в тапочках — во двор. Выбросил мусор, идет обратно. Вошел в дом, вызвал лифт. Поднялся и звонит в квартиру. И, только нажал на звонок, вдруг понимает — пришел-то ведь к себе домой! Задумался и по привычке... Представляешь? А жена уже дверь отперла и видит: муж из командировки, из Новосибирска, вернулся. В пижаме, в шлепанцах и помойное ведро в руках!

Лашинский громко захохотал. Полина встала, погладила его по щеке и направилась к двери.

— Подожди! — он поймал ее за руку. — Я тебе еще анекдот расскажу: один англичанин едет в поезде...

— Да ладно, не уйду я, — сказала Полина, — не дергайся. Только давай ложиться, глаза уже не смотрят, устала.

...Просыпалась Полина каждый час. Было жарко. Лашинский ворочался и стонал во сне. На улице поднял-



ся ветер, и за балконной дверью что-то все время стучало. В шесть часов Полина решила встать, села, Лащинский, не открывая глаз, протянул к ней руку.

«Сейчас скажет «Рита», — подумала Полина с раздражением.

— Полина... — сказал он.

Она встала в семь, уговоров не слушала, завтракать отказалась — некогда.

— Да что у тебя там, семеро по лавкам? — спрашивал Лащинский. Со сна выглядел он еще старше — под глазами мешки, кожа на шее вся в мелкую сеточку.

— Не семеро, а восьмеро, а верней — девять, — сказала Полина, застегивая юбку. — И все голодные.

— Кошка, что ли? — догадался Лащинский.

— Вроде того... Крыса окотилась.

## 6

Вот она где — теткина жизнь! Один крысенок подох, задавили братцы с сестрицами или родился дефективный. Пришлось вытаскивать и, зажмурившись, тащить в мусоропровод. Полина проделала эту операцию в резиновых перчатках, которые затем выбросила тоже. Вымыв руки и намазав их кремом, пошла и позвонила Евгению. Трубку взяла мамочка. Полину она узнала с первого слова и очень любезно осведомилась:

— А вам известно, миленькая, сколько сейчас времени?

— Не интересовалась!

— Так вот сообщаю, — голос был елейный, — восемь часов пять минут. Время достаточно раннее, чтобы постесняться беспокоить людей в выходной день.

— И все же сделайте одолжение, беспокойте Евгения Валентиновича. Дело исключительной важности. Относительно крыс.

— Относительно... кого? — растерялась старуха. — Кого? Я вас не понимаю...

— Крысы! Крысы! — закричала Полина. — Твари такие! С хвостами! Под полом живут!

— Помешанная! Хамка! Оставьте моего сына в покое, слышите? Не смейте больше сюда звонить! Я в суд на вас подам! — визжала Женькина мамаша, Полина брякнула трубку.

Всего за час она успела: завернуть проклятую коробку в газету, проделав в газете дырки, чтобы гаде-ныши не задохлись, вызвать по телефону такси, доехать до Женькиного дома на канале Грибоедова, подняться на второй этаж, позвонить и вручить коробку старухе, похожей на козу, со словами: «Срочная посылка из Уфы. Расписываться не надо — с уведомлением». Ошарашенная старуха взяла коробку без слов. В лицо Полину она узнать не могла — при матери Евгений ее к себе ни разу не приводил. Полина сбежала по лестнице до самого низа и только тогда услышала хоть и приглушенный закрытой дверью квартиры, но все же довольно оглушительный вопль.

«Хватит бабку кондрашка!» — подумала Полина, выскочила на улицу, села в ожидающееся ее такси и с силой захлопнула дверцу. Всю дорогу она хохотала, от-вернувшись от водителя и зажимая рот ладонью. «Козу» ей ничуть не было жалко — тоже еще фонбаронша вы-искалась, «восемь часов пять минут». Пускай теперь вос-питывает крыс!

В четверть десятого Полина была уже дома; только вошла, как зазвонил телефон. Это наверняка был Евге-ний, и Полина не торопилась, не спеша снимала пальто и сапоги. Звонки не прекращались.

— Ну, что еще? — сказала она, наконец снимая труб-ку. Ее разбирал смех.

— Как «что»? — голос Майи дрожал от возмуще-ния. — Я со вчерашнего дня звоню, думала, ты там умер-ла, инфаркт или газом отравилась, ночью три раза наби-рала — в час, в два часа...

— В час и в два надо или спать, или... — Полина хи-хикнула. — Лично я — «или». Вне дома.

— Не валяй дурака, я серьезно! Где ты шаталась? Что произошло?

— Я тебе объясню: бешеная страсть. Встретила Але-шеньку Лащинского, а старая любовь не ржавеет.

— Что ты болтаешь?

— А что особенного? Встретились вчера в метро и ре-шили вспомнить старое.

— Ста-рое? Это — как он тебя беременную бросил? Как из-за него чуть на тот свет не отправилась?

— А, ерунда! Роскошный мужчина в дубленке. По-нимаешь, мы сперва пошли в «Садко», посидели, потом гуляли, потом он взял такси — и к нему...

— Ты соображаешь, что говоришь?! «Садко»... Мало

он тебе гадостей сделал? Это... это беспринципность и распушенность, если уж хочешь знать.

— Не хочу.

— Перестань хихикать! Пьянки, рестораны, отребье всякое! Ни о ком не думаешь, никаких сдерживаемых центров. «Садко»!

— Я не платила, меня кавалер угощал! — изгилялась Полина.

— Ох, Полина, что ты делаешь?! Нельзя же — только сегодняшним днем, нужно как-то думать о будущем, о жизни, сорок лет, а ты все как птичка. Стрекоза и муравей! Хоть бы друзей пожалела, раз себя не жалко, за нее переживают, а она...

— Ой! — закричала Полина. — Прости! Молоко сбежало! Пока!

## 7

До пяти часов Полина стирала. В прачечной всё рвут, и она решила сама прокипятить с отбеливателем простыни, пододеяльники и наволочки. На чердак идти было неохота, и, натянув веревки, она завесила бельем всю комнату, а сама уселась на кухне перед телевизором.

Передача была неинтересная, Полина задремала, а проснулась оттого, что услышала — кто-то ключом отпирает дверь. Это мог быть только грабитель. Или Женька. Полина сжала губы и уставилась на экран.

— Пришел взять книги, — объявил Евгений, входя. Он был уже без пальто и в домашних туфлях. — «Петербург» Белого и шестой том Бунина...

— На полке, — Полина с интересом смотрела телепрограмму. — Бери и отваливай. Без задержки.

— Как ты н-не-гос-тепри-и-и-мна, — старательно говорил Евгений.

Полина быстро взглянула на него и вскочила:

— Надрался, да? Говори — пьяный? И посмел еще — ко мне в таком виде!..

— Да, я выпил, — гордо отчеканил он. — И-имею п-право. Художник... А по-вашему — графоман!

Евгений качнулся и ухватился рукой за дверь.

— Я тебе покажу графомана! Идиот! Черт гороховый! В дурдом захотел? Тебе же нельзя, врач что сказал?! Шутки шутишь? Невроз...

— Невроз — удел стервоз! — глупо ухмыляясь, возгласил Евгений и поднял указательный палец. — Пойдем в к-комнату, тут ж-жара. . .

— Тьфу! Чтоб ты пропал, наказание, теткина жизнь! Иди на диван. Живо, понял? Сейчас чай заварю, чтоб ты пропал.

Полина металась по квартире, срывала с веревок пододеяльники и простыни. Евгений сидел на диване и, сонно помаргивая, смотрел на нее.

Когда, бросив белье мокрым комом в ванну, она с кипящим чайником в руках появилась на пороге, он спал, лежа поперек дивана. Полина сняла с него тапки, подумала, стащила и носки, а потом, валяя и ворочая его с боку на бок — джинсы и свитер. Подсунуть простыню не составило труда, этому она научилась еще дома, в Калуге, во время материних сердечных приступов. Положив голову Евгения на подушку и укрыв его одеялом, Полина села к столу, выпила со зла подряд две чашки чаю и почувствовала, что прямо умирает с голоду, — не удивительно: со вчерашнего вечера крошки во рту не было.

В одиннадцатом часу в дверь позвонили и зачем-то сразу постучали. Полина как раз кончала жарить картошку, телевизор исполнял арии из оперетт.

На площадке стоял Лашинский. Пахнущий одеколоном, с гвоздиками в руке.

Быстро выскользнув на лестницу, Полина прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной.

— Ко мне сейчас нельзя, Алешенька, — полупшепотом сказала она. — Ко мне приехали, понимаешь? Дядя из Уфы. Брат покойного папы. Двоюродный. Его нельзя беспокоить. Никак. Невроз, понимаешь? — Она старалась не смотреть в лицо Лашинского, не видеть, как выражение недоумения сразу сменилось разочарованием, а потом обидой.

— Ты, Алешенька, не сердись, — шептала Полина. — Мне самой жалко, что так вышло, приехал без предупреждения, с вещами, и вот. . .

Почему-то Лашинский поверил.

— Печально, — сказал он. — Главное, и ко мне нельзя, мать пришла. Жалеть и воспитывать. Утром, только я за тобой дверь закрыл, — идет. Вы могли на лестнице столкнуться. . .

— Знаешь что, — решила Полина, — ты меня подожди. Внизу. Хорошо? Я сейчас оденусь и выйду. Про-

вожу тебя до метро, поговорим, то-се. Ты только не расстраивайся, хорошо?

Войдя в квартиру, она заперла дверь, кинулась на кухню, ухватила со сковородки горсть жареной картошки и затолкала в рот. Потом на цыпочках пошла в комнату переодеваться.

— Кто там? — сонным голосом спросил Евгений.

— Спи, спи, — она нагнулась и поцеловала его в голову. — Там знакомые приехали. Из Уфы. Проездом. Торопятся в аэропорт. Я сейчас, только до автобуса доведу.

Но Евгений уже заснул. Обычно он спал тихо, а тут вдруг захрапел, и Полина повернула его на бок.

Лашинский ждал ее у парадного. Снег уже не шел, деревья стояли вдоль улицы тихие и тяжелые. Полина выбежала в распахнутом пальто с пакетом в руках.

— Вот! Бери, тут порошок ванну чистить и щавелевая, — она совала пакет Лашинскому. — И банка грибов, сама собирала, сама солила. Мы тем летом дачу снимали в Тосно. На троих, с работы. Так я — каждую пятницу, можешь себе представить?..

— Спасибо тебе, Полинка, — перебил ее Лашинский. — Я пойду, а ты не провожай, поздно. Беги домой. К дяде... из Уфы.

— Ой, да брось ты, не бери в голову, — она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку, — ты, главное, знай, я ведь тебя тогда очень долго любила, вешаться хотела, правда! Вот странно, сколько потом было всего, я ведь и замуж выходила, и... еще, а всегда, как расстанусь — точка. Забыла и кончено. Иногда даже хочу вспомнить, ведь была влюблена, с ума сходила, — не могу. А как с тобой — все помню. Интересно, да? Наверное, я тебя одного по-настоящему любила, а остальное так, веники... .

— Врешь ты все, Полинка! Хороший ты человек.

— Ну да! Я, наоборот, очень жестокая, если хочешь знать. Я из жалости — ничего не могу. Понял? И вообще... Да ты у нас еще мужчина — будь здоров! Такую девочку себе оторвешь, все упадут! Я вот до сих пор вспоминаю: прибегу к метро, к тебе на свидание, я всегда за полчаса приходила, терпежу-то нет, вот прибегу, стою, морозище, а я в капроне, в туфельках замшевых, и как издали увижу — ты идешь, так и обалдею. Ты тогда ходил зимой без шапки... А Ритка еще пожалеет, вот посмотришь... .

— Я с тобой, конечно, поступил как скотина.

— Вот еще! Сто лет прошло, а он все выдумывает. Ты лучше кислоту не пролей, там пробка плохая. И попроси мать, чтобы рубашки погладила, а то пересохнут, слышишь?

— Тебе позвонить?

— Да я тут собралась в командировку. Завтра или послезавтра. На месяц. Я ведь работаю по внедрению.

— В Уфу? — Лашинский усмехнулся.

— В солнечный город Сухуми. Синее море — белый пароход. Ладно, я пошла. Замерзла тут с тобой. Держи хвост пистолетом!

Полина опять чмокнула Лашинского в щеку и исчезла в парадной.

...Евгений как спал на правом боку, так и продолжал спать. Стараясь не шуметь, Полина расставила раскладушку. Матрац был в диване, вторая подушка тоже. Она завернулась в плед, легла прямо так, без матраца. И сразу заснула.

Снилась Полине решетка Летнего сада. Не та, знаменитая, настоящая, а совсем другая. Сделана она была из прямых металлических веток. От каждой ветки симметрично вправо и влево — сучья. А на сучьях плотно, прямо впритык друг к другу — железные листья, по форме — точь-в-точь лавровый лист. Сон был цветной, и белые, выкрашенные эмалью, эти листья на фоне ярко-синего неба выглядели очень красиво. Уже проснувшись, Полина все вспоминала свой сон и удивлялась, почему это никто не додумался до такой художественной решетки.

## 8

В командировку она уехала не на другой день, а как и было намечено, через два месяца, в феврале.

А до этого был еще Новый год, и встречать его Полина по обыкновению собиралась у Синяевых. Накануне она допоздна мыла квартиру, уже в первом часу украсила елку, совсем крошечную, зато живую. Осталось сделать свекольный салат, — завтра в лаборатории намечался сабантуй. В общем, легла в полвторого, а заснула только под утро, последнее время мучила бессонница, а тут еще бигуди: так повернешь голову — неудобно, так положишь — тоже давит. Тридцать первого, едва вошла

в дом, сразу завалилась спать. Но ненадолго — пришел Евгений. Неделю назад они опять поругались, он не показывался, а тут явился как ни в чем не бывало, притащил шампанское и сказал, что решил, так и быть, встретить Новый год в семейном кругу, вдвоем, то есть с Полиной.

— Может быть, Петр еще заглянет, — пообещал он.

— Даже не подумаю портить себе Новый год! — взвилась Полина. — Он решил! А меня ты спросил? От твоего Петра у меня и по будням-то заворот кишок. Что за дела? Я обещала Майке и пойду. Хочешь встречать со мной, идем вместе.

Полина уверена была, что он откажется. Заранее же презирает всю компанию, хоть никого в глаза не видел. Ну, как же: технари, буржуа, а он — первый поэт России. Да и Синяевы навряд ли ему обрадуются, чужой человек, а Майка от одного его имени вскидывается до потолка.

— А что? — сказал Евгений вяло. — Пойти, нешто? В конце концов, литератор обязан знать все социальные слои.

Он уехал домой переодеваться: «Не будем пугать филлистеров. Придется надеть фрак. А это тебе подарок, взгляни на досуге». Сперва Полина решила позвонить Майе, предупредить ее. Но тут же раздумала — другие приводят мужей и жен, разрешения, небось, не просят, а она что, хуже всех? С Евгением договорились встретиться в метро «Площадь Восстания» и оттуда пешком — к Майе. Полина опаздывала — наряжалась, красилась, собирала сумку. Уже в дверях вспомнила про Женькин подарок. Это был плоский белый пакет, перевязанный бечевкой. В пакете оказалась папка, а в ней листок. С посвящением: «Полине Колесниковой».

Что же молчали вы, светлые сосны и темные ели, —  
Эльфы и тролли в ту ночь подменили меня в колыбели,  
Вместо крещения в море кидали, к черному змею.  
Я и любить не умею и не любить не умею.  
Белые вороны в небе — не то облака снеговые.  
Тысячу лет на свете живу, а такое — впервые,  
Чтобы не углей на сердце ожог, не щипцов раскаленных —  
Моря белесого, неба далекого, веток зеленых.  
Тихие дети холмов, вам — молитвы мои и проклятья!  
Где моя родина, кто мои прадеды, кто мои братья?  
Видно, и сами своей вы на свете не знаете роли,  
Сосны и ели, боги и звери, эльфы и тролли.

Полина пробежала стихи глазами — очень спешила. Кажется, хорошие, только при чем здесь она? Что он хотел сказать словами «я и любить не умею и не любить не умею»? Нет, вот так, в дверях, ни в чем не разберешься! И, решив завтра прочесть все внимательно, Полина помчалась к метро, опаздывать она ненавидела.

Но опоздал Евгений. Она простояла на условленном месте в конце платформы четверть часа и уже обещала себе: «через пять минут не явится — ухожу». Он пришел через четыре минуты.

— Прошу прощения, потерял галстук.

— У тебя всегда причины, то одно, то другое. Бери сумку, рука отваливается!

Всю дорогу до Майкиного дома Полина молчала. Евгений вопросительно поглядывал на нее, потом сказал:

— У тебя какая-то страсть к стопудовым грузам. Что в этой сумке? Семейное серебро?

— Не семейное, а твое шампанское. Еще — банка грибов, капуста, брусника моченая, майонезу две банки.

— Ясно. Продовольственная помощь неимущим слоям, — подлизывался он. — А в мешке-то что?

Огромный пластиковый мешок Полина несла сама.

— Подарки! Новый же год! В двенадцать часов всем раздадим.

Он опять взглянул на нее, будто хотел о чем-то спросить, но не спросил.

— Ты посмотри, какая красота! — продолжала Полина. — До чего уютно, у нас в новостройке как-то не так...

Все окна старого Майкиного дома светились, на форточках висели сетки с апельсинами, на одной даже торт, — не влез, видать, в холодильник.

— ...А помнишь, раньше? Когда еще абажуры были? Каждое ведь окошко — другого цвета, розовые, оранжевые. От всех этих люстр и рожков не дом, а контора. Вот летом сделаю ремонт и закажу себе абажур. С кистями!

— Я поэму захватил, мало ли... — небрежно сказал Евгений.

Когда, войдя в квартиру Синяевых, Полина громко заявила: «А вот и мы!» — голос ее звучал слегка вызывающе. Но Майя Андреевна и бровью не повела, с Евгением



поздоровалась приветливо, сказала, что давно хотела встретиться: «друзья наших друзей — наши друзья, а мы с Полиной — с первого курса...»

Евгений галантно поцеловал руку Майе, помог раздеться Полине и, окинув взором ее новое голубое платье из модного материала «мокрый трикотаж», похвалил:

— Мадам, вы сегодня чертовски элегантны.

Сам он был в новом темном костюме и при галстукке.

— Что, сильно похож на клерка? — спросил Евгений, когда Майя Андреевна, извинившись, убежала в комнату, к телефону. — Это мой похоронный костюм.

— Что-о?!

— Матушка в прошлом году приобрела по случаю кончины кузена. Дескать, неприлично в джинсах торчать у тела.

— Ну, знаешь! Ты... вообще... — закончить Полина не успела, вернулась Майя Андреевна.

— Не уединяться! Прошу, прошу, Евгений Валентинович, пусть Полина покажет вам квартиру, библиотеку. А я сейчас, только приведу себя в порядок. Извините, ради бога, весь день кручусь, ни разу не присела. Лара, Лара! — закричала она, заглядывая в дверь столовой. — Я же говорила — не эти фужеры, ставь чешские, те, что папа привез!

— Мама, не возникай, он скоро придет, — слышался спокойный голос Ларисы.

— Игорь куда-то пропал, не знаю, что и думать, — пожаловалась Майя Андреевна. — Звоню на работу — не отвечают...

— Секретаршу пошел провожать. А ты, чем попусту звонить, лучше переоденься. Мы с Ларкой пока стол накроем.

Полина уже расставляла посуду. Евгений уселся в кресло к телевизору, склонив голову к плечу, положил ногу на ногу — ни дать, ни взять приличный гость, заведомо гостиных. Полине даже стало смешно.

Минут через десять появился Игорь Михайлович, розовый, свежий, энергичный, с громадным, разбухшим портфелем.

— Приветствую дорогих гостей! С наступающим! Игорь, — оживленно говорил он, пожимая руку Евгению. Полину поцеловал, жену потрепал по щечке, дочь щелкнул по носу. — Прошу прощенья за задержку, но — но-блесс оближ. Посиделки в дирекции, дело нешуточное, а затем... весь город обегал, и вот! — Игорь Михайлович

открыл портфель. — Любимой супруге! — он протянул Майе Андреевне небольшой сверток. — Французский, зачтите себе, парфюм. «J'ai osé». В переводе на отечественный означает: «Я рискнула». Далее. Любимой подруге любимой супруги — духи «Визит» на парижской эссенции, вещь дефицитная, идет к голубому платью и синим глазам. . .

— Вот не знала, что ты такой специалист в области парфюмерии, — с улыбкой сказала Майя Андреевна.

— Ты вообще меня никогда не ценила, — горестно вздохнул Игорь Михайлович. — И не мешай раздаче слов. А вот это — обожаемой дочери. Колготки финские. Одноразовые. С учетом выдающихся способностей обожаемой дочери вдребезги рвать чулки. Зато шикарно. Для сильного пола подарков, увы, нет, но могу угостить рюмкой коньяку и сигаретой. Коньяк армянский, сигареты на выбор: «Винстон», «Честерфилд» или «Данхилл».

— Можно, — сказал Евгений, — хотя вообще-то я курю «Астру».

— Мужчины, идите в кабинет, при ребенке курить не позволю, — предупредила Майя Андреевна.

— Как вам понравился наш новый замечательный телевизор? — вдруг спросила Лариса, повернувшись к Евгению, когда тот был уже в дверях. — Вы так смотрите на экран, будто там ползет что-то на редкость омерзительное!

— Правда? — удивился он. — Вообще-то, должен признаться, я цветной телевизор вижу впервые. Весьма ультрафиолетово, но это, по-моему, делает пошлость еще более обаятельной!

Евгений вышел вслед за Синяевым, Майя Андреевна, хмурясь, раскладывала вилки.

— Тетя Полина, а он ничего. Мне нравится, — задумчиво произнесла Лариса.

Гостей собралось немного — кроме Полины с Евгением, еще Поликарпов, главный технолог, подчиненный Игоря Михайловича, его жена Любочка и какой-то Дорофеев из Москвы, про которого Майя во всеуслышание объявила, что это ее идеал мужчины. Выглядел этот Дорофеев лет на сорок пять, сухой, поджарый, волосы темные, виски седые.

Встреча Нового года прошла как положено — пили шампанское, кричали «ура», Любочка лаяла собакой — наступающий год, сказала она, год Собаки, поэтому надо лаять и быть одетым в коричневое и серое. Сама она

была как раз в светло-сером, немислимо декольтированном платье с кусочком коричневого меха, приколотым у плеча, всем остальным повязали на шею коричневые ленточки. Посреди стола Лариса поставила ушастую игрушечную собачку.

Евгений вел себя исключительно. Молчал, улыбался, передавал салаты, внимательно слушал, что говорили другие. Говорили же, в основном, о предстоящей в скором времени защите Поликарпова (Дорофеев вроде чем-то мог тут помочь), и всё жалели какого-то Нетужилова: накидали мужику «черных шаров», а при обсуждении хоть бы кто выступил против.

— Ни одна скотина! — сказал Игорь Михайлович. — Совершенно беспрецедентный случай. Мне тут звонил из Москвы Саша... — он назвал фамилию известного академика, — так, оказывается, в ФИАНе...

— Ничего беспрецедентного! — вмешалась Лариса. — Точно такой случай описан в «Открытой книге».

Полина собрала со стола грязные тарелки и понесла в кухню. За ней вышла Майя Андреевна.

— А твой-то — прямо джентльмен, я его как-то иначе себе представляла... — начала она.

— На том стоим, — гордо откликнулась Полина, намыливая тарелку.

— ... и все-таки лучше бы именно сегодня ты пришла одна, — Майя понизила голос. — Я ведь Севу Дорофеева для тебя пригласила.

— Брось, не льсти. Для Поликарпова. Что я, не вижу?

— Поликарпов — само собой. Кстати, у него отличная работа, ему протекции не нужны. А вот ты... Между прочим, Дорофеев разведенный, физик, профессор, теннисист и вообще настоящий человек во всех отношениях.

— Красавчик он! — отрезала Полина.

— Смотри, пробросаешься. Ты думаешь, твой поэт со своими неврезами...

— Да что ты понимаешь про моего поэта? — вдруг вся покраснев, вскинулась Полина. — Невроз, к твоему сведению, излечивается. И уж лучше пусть невроз, чем такое благополучие, что смотреть тошно. Лично я...

— Ну, как знаешь, — перебила подругу Майя Андреевна и вышла из кухни.

Когда, перебив тарелки, Полина вернулась к столу, компания уже разбилась на группы. Майя смотрела «Голубой огонек», Игорь Михайлович с Поликарповым, сидя

рядом с ней в креслах, склонились друг к другу и вполголоса обсуждали что-то свое. В противоположном углу на диване с бокалом в руке устроился Евгений, справа и слева от него — Любочка и Лариса. Дорофеев слонялся по комнате. Увидев входящую Полину, кинулся ей навстречу, взял из рук тарелки и понес на стол.

Полина подошла к дивану и села возле Ларисы.

— Мы тут пьем за великое искусство, — кокетливо сообщила Любочка и чокнулась с Евгением, — только никак не можем прийти к единому мнению — зачем оно. Я, как пустая мещанка и баба, считаю — все-таки для отдыха и развлечения. Ларочка вот уверена — чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Их, как она утверждает, так учат в средней школе. А Евгений Валентинович загадочно молчит.

К Полине подошел Дорофеев и подал ей бокал шампанского.

— По этому поводу есть одна притча, — угрюмо сказал Евгений. — Когда господа богу надоело возиться с людьми, погрязшими в грехах, и когда он все испробовал, все, вплоть до потопа и атомного взрыва в Содоме и Гоморре, то решил применить последнее средство...

— Как интересно, просто мурашки бегают, — Любочка повела голыми плечами.

— Здесь, между прочим, довольно жарко, — хмуро заметила Лариса.

— ...так вот, — продолжал Евгений, — в один прекрасный день господь сотворил зеркало, люди посмотрели в него и увидели себя. Себя и свою жизнь. И пришли в такую бешеную ярость, что стали бросать в зеркало камни. Оно разбилось на миллионы осколков, а осколки рассыпались...

— Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, — продекламировала Любочка. Лариса бросила на нее гневный взгляд. Дорофеев наклонился к Полине и коснулся ее бокала. Полина кивнула, выпила.

— ...и тогда господь отвернулся от людей, а они спокойно продолжали делать мерзости. Но однажды кто-то сказал: «Если так будет продолжаться, мы все погибнем. Надо собрать осколки». С тех пор, вот уже много веков, люди ищут осколки зеркала. Один находит большой, другой — крошечный, многие вообще ничего не находят, а большинство и не пробует искать. Считает это занятие глупым. Или вредным. Зато уж тот, кто нашел...

— Ну-у... — капризно протянула Любочка, — это, конечно, очень интересно, но мы так и не выяснили, зачем искусство — для развлечения или для воспитания.

— Чтобы узнать правду, — сказала Лариса. — Верно?

— Правда, к несчастью, понятие относительное и субъективное, — вмешался Дорофеев, — я имею в виду, конечно, ту правду, которая содержится в произведениях искусства, даже великих, не говоря уж...

— А если все настоящие, великие произведения собрать вместе, то и получится!.. — кричала Лариса, влюбленно глядя на Евгения. Полине стало скучно, и она отошла к телевизору. Игорь с Поликарповым уже бросили свои разговоры, смотрели передачу, Майя сидела какая-то тихая. Полина села рядом. Известный эстрадный певец исполнял романсы тридцатых годов.

— Ретро, — заметил Поликарпов, — это теперь модно. Наш Колька приволок от бабки патефон и целыми днями терзает машину. Хрип страшный, жить невозможно.

— Сдаёт Леша, полысел, обрюзг, — Игорь Михайлович имел в виду певца, — мы ведь с ним были вместе в Чехословакии в прошлом году, — пояснил он. Полина кивнула и обернулась. Евгений что-то говорил, размахивал руками, вид у него был возбужденный, Лариса смотрела ему в рот преданным взглядом единомышленника, Любочка хихикала, Дорофеев вежливо улыбался. Полина встала и пошла к ним.

— Что же, лучше было бы до сих пор ходить в звериных шкурах? — щебетала Любочка. — Лучше, да?

— Я не шучу! — глядя почему-то на Дорофеева, тотчас откликнулся Евгений. — Все эти ваши фазотроны и циклотроны добром не кончатся. Что вам самим прекрасно известно. Но будет это гораздо раньше, чем мы дураем!

Дорофеев молчал. Выражение лица у него было терпеливое.

— Ребята! Завтра конец света! — Любочка вскочила с дивана. — А мы сидим как дураки! Выключайте ящик, будем веселиться!

— А вам пошла бы звериная шкура, — вдруг негромко произнес Дорофеев, поворачиваясь к Полине.

— У меня такой первобытный вид?

— Естественный. Впрочем, именно поэтому вам, очевидно, идет все. Вот и это голубое платье со «стрелкой». Изумительная брошка. Старинная?

— О, господи! Что же делать? — вдруг закричала Любочка. — Смотрите, снег пошел! Я люблю, когда снег! Все белое, а небо в полоску.

— Это еще бабушкина брошка, потом была мамина. Золотая, а жемчуг натуральный.

— А вам нельзя носить дешевые подделки. — Дорофеев смотрел Полине прямо в глаза. — Подобное притягивается подобным...

Полина, быстро взглянув на Евгения, пожала плечами.

Когда Майя Андреевна позвала пить чай, Евгений рядом с Полиной не сел, ушел на другой конец стола к Поликарпову. Место возле Полины занял Дорофеев. Чай пили с «наполеоном», Майя жаловалась: вчера весь день убила на коржи, то есть это теперь уже позавчера и вообще в прошлом году. Поликарпов заявил, что каждый последующий год всегда короче предыдущего.

— Вы лучше посмотрите, какие конфеты. Вкуснятина! Вот, жалуемся: того в магазинах нет, сего... А войди в любой дом — стол ломится! — перебила его Любочка.

Потом заговорили о том, кто как заваривает чай. Игорь Михайлович утверждал, что надо непременно в спецчайнике из тончайшего фарфора, у него такой есть, привез из Японии Ванюша, кстати, он только что избран в членкоры — читали? Нужно бы позвонить, поздравить... Дорофеев вспомнил анекдот про старого еврея, который заваривал чай лучше всех в местечке, но технологию скрывал, и только перед смертью завещал: «Евреи, не жалейте заварки!» Все смеялись, кроме Евгения и Ларисы. Евгений, поставив перед собой игрушечную собачку, что-то сосредоточенно писал на листке, вырванном из записной книжки, Лариса стояла у него за спиной и смотрела.

— Тихо, ребята, мы присутствуем при творческом акте, — строго сказал Игорь Михайлович.

— Экспромт? — догадалась Любочка и захлопала в ладоши.

Евгений молча протянул листок Ларисе.

— Никаких секретов. Нам тоже интересно. Лара, читай всем, — велела Майя Андреевна.

— Вслух, вслух! — закричала Любочка.

Лариса мялась, держа листок в руках.

— Евгений Валентинович, вы разрешаете? — спросил Игорь.

Евгений развел руками.

Голодной собаке костей накидали,  
Костей накидали, а мяса не дали.  
И супа не дали, и хлеба не дали,  
А целую миску костей накидали... —

начала Лариса.

— «Дали — кидали». Смелая рифма, — на ухо Полине сказал Дорофеев.

...А сами себе принесли на обед  
По полной тарелке горячих котлет,  
По чашке бульона из жирного мяса,  
Бифштексы, ромштексы и даже колбасы!

— Очень актуально: год Собаки, — вставила Любочка. — Женья у нас конъюнктурщик!

...Собака не стала ни ахать, ни охать,  
Она укусила хозяйку за локоть,  
А сына хозяйки — за пухлую щечку,  
А мужа хозяйки — за «пятую точку»,  
И больно, за палец, хозяйскую дочку.  
И были в тот день у нее на обед  
Четыре тарелки горячих котлет,  
Бульон из чудесного, жирного мяса,  
Бифштексы, ромштексы и даже колбасы.  
Собака решила, что миску с костями  
Разделят сегодня хозяева сами,  
А если хозяйка не любит костей,  
Пускай она ими накормит гостей!

— А что? Вполне профессионально, — одобрил Игорь Михайлович. — Вы не пробовали предлагать свои стихи в «Искорку»? Если хотите, я мог бы показать, у меня там работает жена приятеля.

— Не стбит, — сказал Евгений.

— А я понимаю, почему все хотят быть писателями. Не надо каждый день в семь часов на работу вставать, — веско заметила Любочка.

Евгений допил чай, поставил чашку и поднялся.

— Я, пожалуй, откланяюсь. Поздно. Весьма признателен, — он цеременно кивнул всем сразу и быстро пошел из комнаты.

Майя рванулась было следом, но Полина ее опередила, выбежала в переднюю, притворила за собой дверь.

— Что за демонстрации? В какое ты меня ставишь положение?! Это же просто неприлично! — шептала она, обеими руками вцепившись в куртку Евгения.

Он отнял куртку и оделся.

— На ваши приличия мне наплевать. Наелся досыта, — отчеканил он. — Надутые убожества! Фармацевты! Что ни слово, то глупость и пошлость. А рожи!.. Одна девчонка ничего, так и ту скоро...

— Ни стыда, ни совести! — обозлилась Полина. — С ним как с человеком... И еще всех подряд поливает! Никто силком не ташил. Сам напросился.

Она начала одеваться тоже, но Евгений не дал, взял из рук пальто и повесил.

— А ты-то куда, собственно? — надменно спросил он. — Нет уж, сударыня, оставайся, это твои друзья-единомышленники. Тебе же как раз такие нравятся, особенно супермены с учеными степенями. Здоровенные... самцы!

— Сволочь! — Полина изо всех сил ударила Евгения по щеке.

Секунду он смотрел на нее, приподняв брови, потом дернул ртом, вышел и захлопнул дверь.

— Баба с возу! — сказала Полина ему вслед и разревелась.

Через полчаса она вышла из ванной комнаты с густо намазанными ресницами и блестящими глазами. Встретили ее так, будто ничего не случилось. Только Лариса сидела надутая и вскоре отправилась спать.

Полина пила ликер, коньяк, смеялась, плясала русскую, а потом все танцы подряд с Дорофеевым. И в шесть часов вместе с ним ушла.

Вечер накануне отъезда в командировку Полина провела у Майи. Игорь Михайлович, закрывшись в кабинете, писал какой-то доклад, Лариса уехала к репетитору, а они пошли на кухню пить чай. Кухня у Синяевых была большая, как комната, вся в розовом кафеле, на полках — сверкающая медная посуда, на шкафчике, в ряд — пустые бутылки из-под заграничных вин.

— Этих в прошлый раз не было, — сразу заметила Полина.

— «Бордо». Финны приезжали, принесли, а это вот «Божоле», тоже французское. Ничего особенного, обычное сухое, не лучше нашего «Цинандали».

— Боже, лей «Божоле», не желей, — продекламировала Полина.



— Тоже в поэзию ударились? Смотри, дурные примеры заразительны. Кстати, как он там, твой гений?

— Нормально, — пожалала плечами Полина. — Работает, пишет.

На самом деле она ничего про Евгения не знала, он с самого Нового года исчез и не звонил. Пару раз она сама набирала его номер, но подходила мамаша, и Полина клала трубку. Как-то в конце января она встретила на улице Петю Кожина, и тот сообщил, что Евгений ушел из звериной «скорой помощи».

— И где же он теперь? — спросила Полина.

— Служба для него — вопрос сто тридцать второй. Он поэт. Его дело — писать стихи, — высокомерно ответил Петр. Сам он уже второй год работал проводником на поезде «Ленинград — Свердловск», но Евгений утверждал, будто Петя очень крупный философ, блестящий ум. Пишет эссе, максимы и афоризмы. В Полининой голове все это как-то не укладывалось...

— А как у тебя с Дорофеевым? — Майя Андреевна налила себе вторую чашку чая.

— Никак. Уехал в свою столицу, и слава богу. Я его не хочу. И уж тем более не люблю. Понятно?

— Нет, не понятно! Да очнись ты! В нашем возрасте смешно требовать какой-то там безумной любви! Чуть не с первого взгляда. Союз двух взрослых, симпатичных друг другу людей...

— Ага! Брак по расчету, да? По-твоему, раз он профессор, так я уж и должна за ним бежать, как бобик? Сама в своего Игоря, небось, до сих пор влюблена, а как другим, так, видите ли, «союз двух взрослых»...

— Да, влюблена, — перебила Полину Майя, — да, мне повезло. Только ведь везение-то не просто так дается, а заслуживается. Я это свое семейное счастье, если на то пошло, каждый день строю. Даже собственную любовь к Игорю — тоже строю. И охраняю.

— Это от кого же?

— Не от соперниц, не волнуйся. От самой себя. Господи, до чего ты бестолковая! И инфантильная. Думаешь, просто — сохранить в себе такую любовь, живя с человеком рядом двадцать лет, видя все недостатки?

— Если видишь недостатки, это уже не любовь. В общем, так: строить любовь с профессором Дорофеевым я не собираюсь, хоть повесь! Пускай он там лауреат или кто. И встречаться больше не буду, так и передай, чтобы не приезжал и не звонил попусту.

— Ну и дура. Вот скажи, для чего ты живешь? Для кого? Кому от этого тепло?

— Греть твоего Севочку не собираюсь.

— Мне тебя просто жалко! Ты себя знаешь как ведешь? Как женщина легкого поведения...

— Ну и пусть! А объявится твой профессор, так ему и скажи: дескать, не угодил!

Полина улетала следующей ночью. Вылет задерживался, она слонялась по зданию аэропорта из конца в конец. Высоко, под самой крышей, урчали голуби, бог знает как залетевшие сюда. На запертом киоске «Союзпечати» дремал черный кот.

Полина нашла работающий буфет, выпила две чашки черного кофе, потом направилась в автомат и позволила.

«Разбужу бабу, и черт с ней!»

Но трубку снял Евгений.

— Привет! — сказала Полина. — Что новенького?

— Полнолуние, — радостно ответил он. — А у тебя?

— У меня? Как всегда — полный порядок.

— Знаешь, кто ты?

— Ну?

— Ты Мария.

— Какая еще Мария?

— Которая не Марфа. Ладно, не суть, когда-нибудь объясню. Я вот сейчас глядел в окно на луну и сочинил одну штуку.

— Давай! — велела Полина.

Стихи были странные — о том, что луна движется не по орбите, а летает в небе, как хочет. Вроде бабочки.

...А утром, повернувшись обратной стороной,  
Оранжевые крылья смыкает за спиной.

— Здрóрово, — сказала Полина, когда Евгений замолчал.

— Нравится? Тогда я этот стих посвящаю тебе. Войдешь в мировую литературу... Хотя я тебе один уже посвятил, а ты даже спасибо не...

По радио объявили посадку на Полинин рейс.

— Спасибо за оба! — крикнула она. — Ну, салют! Я полетела. Я из аэропорта звоню. Ты сейчас ляжешь спать, проснешься, а я уже в Сухуми... Не знаю... Через месяц... Напишу...

Когда самолет набрал высоту, оказалось, что небо уже светлеет. Но луна была еще хорошо видна. Большая, полупрозрачная, она летела за самолетом. Как ночная бабочка.

«...В гостинице «Абхазия», конечно, комфорт и шик с видом на море, но вчера пришлось перебраться к Тамаре. Во-первых, завод черт-те где, каждый день два часа добираться, во-вторых, ей надо ехать в Тбилиси на конференцию, а Люлек — это ее муж — попал на пятнадцать суток. Вообще-то он не сам попал, а мы его посадили с Люськой, Тamarкиной приятельницей, потому что с таким отцом страшно оставить ребенка: каждый день пьян в сосиску, притаскивает домой всяких гопников, а девочке уже четырнадцать лет. Вот где горе-то! Девчонка хорошая, тихая, учится в музыкальной школе, так этот подонок среди ночи сядет за пианино — и ну играть «Катюшу», никому спать не дает. Тамара говорит: «Не могу ехать, боюсь за Аленку», а на конференции ее доклад. Я ей говорю: бери развод, гони его к чертовой бабушке! Ну, мы с Люськой пока что написали заявление, отнесли участковому, и его забрали. Таких вообще надо лишать родительских прав! Теперь я живу с Аленкой, а...»

— Ничего не понимаю, — сказал Игорь Михайлович, — какая Тамара? Какой Люлек?

— А что понимать? Обычные Полинкины штучки. Она же в любой командировке заводит себе лучших друзей, а те потом каждый год проводят у нее отпуск с тремя детьми, собакой и столетней бабушкой. В промежутках она шлет им посылки. Своего рода хобби. А Люлек — это такая миниатюра. Юмористическая. Высоковский исполняет. Помнишь, по телевизору? Пьяница из вытрезвителя: «Люлек, ты меня слышишь?»

— Не помню, — покачал головой Игорь Михайлович, — а ты просто ревнуешь.

— Я?! Кого? Почему?

— В силу особенностей характера. Ревнуешь Полину к ее новым друзьям. Ты ведь ее всегда ко всем ревнуешь, не замечала? Вообще ты к ней довольно сложно относишься.

— К Полинке? — удивилась Майя Андреевна. — Делать мне больше нечего — ее ревновать. Почему-то тебе хочется говорить мне... колкости. Что-нибудь случилось? Ты себя плохо чувствуешь?

— Не выдумывай. Читай про своего... Люлека, а я лучше пойду, посмотрю «Неделю». И поставь чайник.

Он ушел в кабинет, а Майя Андреевна, порывисто вздохнув, принялась читать дальше. Полина сообщала, что море и горы выглядят очень красиво и зимой, а также, что в Сухуми замечательно варят кофе:

«...Я облазила все кафе и другие торговые точки и нашла, где самый крепкий. От Тамариного дома далеко, но ты ведь меня знаешь: бешеному кобелю семь верст не крюк...»

Майя Андреевна отложила письмо и пошла ставить чайник. Вернулась и снова взялась за чтение... Делать ей там, что ли, нечего? Полина зачем-то подробно описывала экскурсию в обезьяний питомник, где ее потряс гамадрил-вожак. «Представь себе, пищу он раздает сам, сперва — любимой жене, а уж потом другим, согласно им же и установленной иерархии. Экскурсовод рассказывала, что несколько лет назад поставили эксперимент: отсадили такого вождя в соседнюю клетку и давай у него на глазах кормить его стадо. Без всякого порядка, кто смел, тот и съел. Любимая жена или самка с детенышем могли получить кусок последними, зато какой-нибудь нахальный племянник, который при вожаке и не высывался, хватал все в первую очередь. Зверь, глядя на эти безобразия, сперва рычал, тряс прутья клетки, потом впал в столбняк, перестал есть, и в конце концов его хватил инфаркт. Представляешь? До чего сильное чувство — самолюбие! Получается, даже если обезьяну не уважать, так она и жить не захочет. Самолюбие, выходит, сильнее, чем инстинкт самосохранения. Вот мне сразу и стало понятно, почему Тамаркин Люлек вечно буйнит, — его заело, что Тамара зам главного технолога, а он такелажник без образования. То-то он, чуть что, орет: «Я — рабочий! Мы матценности производим, а вы только бумажки перекладываете!» На работе, значит, ты начальник, я дурак, зато уж дома — я начальник, ты дурак! И по морде! Смотрела я на этого гамадрила, слушала экскурсоводшу и думала: никто, ни один, наверное, человек своих ошибок искренне признать не может. В принципе! Как это он скажет: «Я дерьмо»? Что ты! Это же себя не уважать! Да лучше сдохнуть, как тот

обезьян. Нет, мы если и скажем когда вслух о себе плохое, в душе-то все равно знаем — есть оправдание, иначе поступить — ну никак не могли. Да. А Тамарке я прямо сказала: гнать такого мужика, а не тютюкаться. От дурака хоть полу оторви, да уйди...»

Полинино письмо вызвало у Майи Андреевны грусть. Эти ее философские потуги с головой выдавали влияние доморощенного «гения». Вот оно: «с кем поведешься»... Нет, что ни говори: всякого рода размышления на абстрактные темы и глубокомысленные беседы «о судьбах» уместны и даже необходимы в юности, когда складывается мировоззрение, а у взрослого человека должны быть совершенно другие, взрослые проблемы. Но с Полиной-то все, конечно, далеко не просто — тут не только Евгений, тут ее собственная неприкаянная, незаполненная жизнь...

Сама Майя Андреевна на философствования времени не имела, просто сбивалась с ног. Лариса выглядела ужасно, осунулась, прямо картофельный росток. Врачи говорили: весна, авитаминоз, но весна весной, а и заниматься приходилось с утра до ночи, экзамены-то на носу, каждый день репетиторы. И, как назло, англичанка живет у парка Победы, а литератор и того дальше — в Сосновой Поляне, занятия кончаются поздно, отпускать девчонку одну неммыслимо, надо провожать.

Чтобы как-то усилить питание, Майя покупала на рынке гранаты, доставала икру, делала сама творог из молока и кефира, а Ларка капризничала, плохо ела, каждый раз со скандалом. И тут еще заболел муж — стенокардия. Доктор категорически: бросить курение. Ни в какую! Смолит по пачке в день, раньше такого не было. И такая повышенная раздражительность — слова не скажи, а больничного не берет, что ни день — до девяти-десяти на работе, прямо фанатизм! И вот у Майи Андреевны новые хлопоты — достать заграничное снотворное, заставить принимать мед с лимоном (снижает давление), перед сном обязательно все пропылесосить — при больном сердце нужен свежий воздух. С утра до вечера, как челнок: аптека, рынок, магазины, уборка. Тут уж не до болтовни про самолюбие у обезьян! А ведь надо еще как-то следить за собой — женщина всегда должна оставаться женщиной. Читать, конечно, времени уже не было, едва-едва успевала кое-как просмотреть новинки, чтобы быть в курсе, телевизор всегда — в полглаза, только с Ларисой в филармонию, единственный законный отдых,

каждого концерта ждала невесть как... Несмотря на кремы и маски Майя Андреевна за эту зиму очень постарела, пошли вдруг седые волосы, так что сослуживцы, приходящие в гости, ахали: «На работе цвела, а дома чахнешь. Летом куда поедете?» Майя Андреевна только вздыхала: «Какое у нас лето! Мы же в этом году поступаем».

Первого апреля она получила письмо от Полины. Та писала, что «сейчас уже все нормально, а три недели назад так прихватило сердце, думала: с общим приветом. Отвезли на «скорой», восемнадцать дней отлежала, теперь выпустили». Больше о здоровье ни слова, зато на трех страницах в восторженных выражениях описывался какой-то Арсен Саркисович, Полинин лечащий врач. И красавец, и талант, и душа — чистое золото: «Больные на него молятся, — если на отделении хотя бы один тяжелый, Арсен домой ночевать не уйдет, хоть стреляй!» Майе Андреевне было абсолютно ясно: идиотка опять влюбилась.

«...У нас на отделении» — обратите внимание: «у нас»!.. «У нас на отделении полный завал с младшим обслуживающим персоналом. Лечить больного мало, необходим уход и уход, а идти никто не хочет. Конечно, платят безобразно, но с другой стороны, нельзя же все мерить только на деньги! Спасать людей — самое чистое, самое благородное дело...» Так... Еще хватит ума — возьмет и останется санитаркой! А что? Сама себе хозяйка, может позволить любую блажь... Но насчет немедленного поступления нянкой в больницу в письме, слава богу, ничего сказано не было. Наоборот. Полина писала, что через неделю, самое большее через десять дней собирается выехать домой, а пока — «умоляю, купи и срочно вышли по адресу Арсена Саркисовича следующие предметы...» Список предметов, видимо, учитывал запросы всех членов семьи доктора — тут были бюстгалтеры двух размеров, колготки «непременно ленинградской фабрики», ползунки, пластмассовые вязальные спицы, мужская рубашка — «желательно чехословацкая», финское мыло, болгарский шампунь «для сухих и нормальных волос», он всегда бывает в магазине «Болгарская роза» на Невском, а также электробритва «Агидель» с плавающими лезвиями. «Если туго с деньгами, займи где-нибудь, я приеду, сразу отдам».

На другой день Майя Андреевна отправилась в «Пасаж» к открытию, оттуда прошла в Гостинный двор, по-

том в эту самую «Розу», убила, конечно, полдня, зато достала почти все. Кроме мыла, — заграничного не нашлось.

А Полина между тем ехала домой. Последние дни ее пребывания на заводе состояли из неожиданных триумфов. Во-первых, главный инженер мгновенно утвердил акт внедрения, досрочно! — подписанный начальником цеха и главным технологом несмотря на то, что качество полимерных покрытий, внедрением которых Полина занималась на заводе, «заставляло», — как выражался начальник цеха, — «желать много лучшего». Во-вторых, чего никогда в природе не бывает, секретарша главного инженера Лиля сама достала и вручила Полине железнодорожный билет — нижнее место. В-третьих, в день отъезда к гостинице подкатила черная директорская «Волга» с шофером Яшей.

Объяснить все эти чудеса можно было только Полининым сердечным приступом, за который администрация, видать, считала себя ответственной. Ибо старший инженер центрального института Колесникова торчала в цехе с утра до ночи, да что в цехе! — облазила весь завод от склада сырья до мастерской, где сколачивают тару.

Там же, во дворе, возле так называемой «железной свалки», куда со всего завода свозили металлолом, она и упала, потеряв сознание, чему предшествовал скандал, устроенный ею начальнику КИПа. Дело в том, что, имея вредную для здоровья привычку соваться куда не просят, Полина Васильевна обнаружила на свалке списанный потенциометр, который, по ее мнению, мог еще работать и работать. «Это же подсудное дело! — разорвалась она на весь двор. — Ему цена как минимум триста рублей. Если так деньгами бросаться, живо без штанов останемся!» Начальник КИПа, вызванный на место происшествия, пытался ей втолковать, что внутривзаводские дела, как правило, решаются без участия командированных, но Колесникова вдруг побелела и стала садиться на асфальт, а потом легла, и начальник КИПа бросился звонить в «скорую помощь».

Из больницы Полина Васильевна вернулась, как она сама сказала, «страшнее атомной войны», однако в первый же день пошла на «железную свалку». Потенциометра там, конечно, не было, и прибористы клялись, что он в ремонте. Оставшееся до отъезда время Полина за-

нималась качеством покрытий и за три дня до чудес с билетом и «Волгой» во всеуслышание заявила и не устала повторять всем и каждому устно и письменно, что ничего, кроме брака, организованный ею участок давать в принципе не может,— она это установила точно, проверив всю технологическую нитку. Технология, отработанная институтом, дает возможность добиться высокого качества, но — теткина жизнь! — какое может быть качество, когда гигроскопичное сырье всю дорогу валяется под дождем? Как, то есть, «неправда»?! Пойдемте, покажу! К тому же и мешки все рваные, а в инструкции по-русски написано: «влажность не выше 0,10%». А у нас в стране все как будто грамотные... или у вас на заводе не так?.. а когда с ослиным упорством нарушают температурные режимы и КИП делает вид, будто не знает, что приборы врут и сто лет не были в проверке... а обработка поверхностей под покрытие производится топором и долотом... и так будет всегда, если допускать к работе пьяниц, у которых руки трясутся... и в складе готовой продукции черт ногу сломит, и такой кабак везде, на всех этапах производства, тут уж не о покрытиях надо говорить, а и об основной продукции...

Перечень нарушений технологии и подробный план мероприятий по их устранению Полина ухитрилась подписать у и. о. главного технолога Тамары Георгиевны Мухиной и вручила по экземпляру директору, главному инженеру и секретарю парткома. На другой же день ей стремительно утвердили акт и с благодарностями отправили на вокзал.

Теперь в поезде, который только что тронулся, она размягченно думала о том, что, как ни говори, а совесть все же есть у всех, добросовестное отношение к работе способно растрогать любого, даже последнего бюрократа, а здешний главный инженер и вообще неплохой мужик, сердечный и толковый, а что недостатков полно, так покажите — где их нет? Полине как человеку со стороны все недочеты и ошибки, конечно, виднее, и за то, что она прямо все высказала, невзирая на лица, и даже не поленилась составить «перечень», ей на заводе только благодарны. Этим, слепому видно, и вызвано внимание со стороны администрации, а не только состоянием ее здоровья. Внимание же и человечность всегда надо ценить — где такое видано, чтобы за какой-то мелкой командированной сошкой присылали «Волгу»?

А черная «Волга» с шофером Яшей за рулем бодро



мчалась от вокзала напрямик в аэропорт и успела как раз к московскому рейсу, которым прилетела комиссия Госстандарта. В обязанности этой комиссии входила комплексная проверка качества продукции и соблюдения технологии. В силу чего знаменитый «перечень обнаруженных нарушений» да и сама Колесникова с ее длинным языком и луженой глоткой явились бы для членов комиссии просто ценным подарком. Но — увы... Самолет только заходил на посадку, а поезд, увозивший Колесникову, уже отправился...

Поезд деликатно пробирался между горами и морем, близко подступившим к железнодорожному полотну. Полина, стоя в пустом коридоре у окна, смотрела на волны, сине-зеленые, точно на дворе разгар лета.

Она давно не ездила поездом, полетела бы и сейчас, да Арсен Саркисович категорически: никаких самолетов. А еще велел, чтобы — с пустыми руками, тяжестей нельзя, вещи, привезенные с собой, все отправить почтой. Вещи Полина в основном отослала, да их и было-то всего ничего, но в последний день увидела в универмаге электрокофемолки, не удержалась и взяла две — себе и Майе. Кроме того, купила бутылку местного вина в подарок кому-нибудь, а еще на рынке — трехлитровую банку меда, старуха дешево отдавала, невозможно было отказаться.

Первые сутки она почти целиком проспала — благо, никто не мешал. Слезла с верхней полки два раза — попить чаю, и все. Нижнее место пришлось сразу уступить — это уж такое Полинино везенье: сели две старушки, маленькие, седенькие, а до того интеллигентные — язык не повернется сказать «старушки» — пожилые дамы. Да и на верхней полке ничем не хуже, наоборот, спокойнее: лежи знай, дремли или смотри в окно. Ты себе лежишь, а дело делается — поезд везет тебя к дому — в самом прямом смысле: солдат спит, служба идет, командировочные то есть капают. Дома опять начнется нервотрепка, заботы, объяснения с Женькой. Куда денешься? — без этого ни у кого не бывает. Хоть та же Майка — казалось бы, все есть: муж, дочь, квартира, машина, в материальном смысле — никаких трудностей, это вам не Полина, которая вечно в долгах; правда, если по справедливости, Сняевы, и когда мало получали, денег не занимали ни у кого, у Игоря такой железный принцип — не брать в долг, принцип с Полининой точки зрения поганый, признак мелочности, — кто боит-

ся братъ, тот и сам давать не любит, и это касается не только денег, всего... Нет, у Майки жизнь тоже не сахар, — хозяйство на ней, крутится от гимна до гимна, девчонка капризная, балованная, хоть и не дура, Игорь дома никогда не переломится, то ему срочно справку надо для министра писать, то доклад, а Майка бегаёт, как савраска. Однажды Игорь разоткровенничался и говорит: вот посмотрите, говорит, буду генеральным директором. И будет. А тогда к нему и вовсе не подступись, уже и сейчас, особенно при посторонних, так хвост раздует, до того важный, аж шапка падает. И академики у него — Коля да Вася... Вообще-то ведь и Женька тоже любит на себя напустить — гений времен и народов, Великий Писатель Земли Русской. Может, у всех мужиков такое самомнение? Как у гамадрила-вожака? Уж на что Люлек, а ведь туда же... При мысли, что будущий генеральный директор Синяев, «первый поэт» Евгений Барвенко и Тамаркин гопник одинаково похожи на обезьяньего лидера, на Полну напал смех. Она уткнулась лицом в подушку — было раннее утро, в купе еще спали. Отсмеявшись, Полина натянула халат, потихоньку слезла с полки и вышла в коридор. Там было пусто, только в тамбуре, возле туалета, мужчина в белой майке, надувая щеки, старательно водил по нему электрической бритвой да проводница в другом конце вагона растапливала кипятильник. Поезд шел полями, снег уже стаял, земля была черная, как уголь, и мокрая. По краю поля расхаживали грачи. Красноватое плоское солнце низко висело над узенькой сизой полоской леса на горизонте. Вдруг Полина увидела волка. Озабоченной трусцой он бежал вдоль железнодорожного полотна, низко опустив голову и прижав хвост. Волк казался маленьким и худым — оголодал за зиму.

А поля все тянулись, тянулись — нигде ни деревеньки... В городе сейчас уже пошел транспорт, люди встают, собираются на работу, горят окна, звонит телефон, в роддоме, может быть, только что кто-то родился, а какой-нибудь старик именно в эту минуту кончил жить. В городе каждую секунду что-то случается, а тут одни пустые, монотонные поля и на десятки, а то и на сотни километров — никого, одни грачи, голодный волк пробежал — вот и все события. И вдруг Полина подумала: а может, самое важное происходит как раз здесь, среди этих полей? Тут поднимается солнце, сюда приходит зима, а за ней весна и лето, тут вырастает хлеб, и осенью его

убирают, тут земля — вся открытая, не запрятана под асфальт, не заставлена домами, и как же ее много-то, этой земли!..

...Совсем молодой лесок выскочил навстречу, даже не лесок — роща, а скорей всего защитная полоса. Тонкие деревца замерли правильными рядами, все равно как пионеры во время зарядки... точно по такой же рощице и тоже весной, в начале апреля, она тащила Бориса. Был он худым, невысоким, а оказался таким тяжелым! Полина держала его со спины, а сама пятилась маленькими шажками. А земля была скользкой и толкой.

Потом врачи говорили: Боря умер еще там, в лесу, куда они забрели из санатория, гуляя после завтрака. Но Полина-то, когда тащила его к шоссе, этого не знала, думала — так просто, потерял сознание, а до шоссе была тысяча, наверное, километров! Ноги его волоклись по земле, оставляя две борозды, куда сразу натекала вода, с левой ноги вдруг свалился ботинок, а Полина не могла поднять и надеть — для этого пришлось бы опустить Борю на мокрую землю. Так она тащила его, мертвого, откуда только силы брались? Небо в том лесу было точно как сегодня — едва-едва голубенькое...

Распахнулась дверь на площадку, рванул сквозняк, взлетели занавески. Два железнодорожника хмуро и гудко протопали вдоль коридора. Полина вернулась в купе. Пожилые дамы внизу еще спали, спал и солдат, разместившийся на верхней полке напротив Полины. Она забралась наверх и тоже легла. И сразу заснула.

Ей приснился хороший сон — точно Женька встречает ее на вокзале и какой-то он совсем другой, не как всегда. Веселый и любит ее. Она, будто, говорит ему, что очень рада, пусть он теперь всегда будет такой, а не только во сне, а потом целует его, обнимает за плечи, а плечи теплые, и Полина ревет, а Евгений ее тоже целует и обнимает, говорит, что ждал, что все плохое прошло, главное, что она наконец приехала, теперь уж насовсем.

...А колеса все стучали, стучали, вагон поскрипывал и качался. На самом деле ей еще далеко было ехать.

Так всегда бывает, если нет времени, — соседняя почта оказалась закрытой по неизвестным «техническим причинам». Пришлось тащиться на Невский, но там по-

чему-то не принимали посылки. Ящик получился довольно тяжелый, оделась Майя Андреевна, как назло, чересчур тепло, — в дубленку и зимнюю шапку, так что вскоре была уже совсем мокрая, даже волосы слиплись. Ходить с ящиком от почты к почте — ни смысла, ни сил. Ни времени, — в три часа придет из школы Ларочка, надо кормить, а второго в доме нет. Майя Андреевна решила ехать на Главпочтамт, там уж гарантия, что возьмут идиотскую посылку.

Автобус, несмотря на то, что до часа «пик» было еще далеко, пришел набитый, внутри духотища, дубленку сразу расстегнули, шапка слезла на затылок, лицо горело. К тому же каждый, кто проталкивался мимо Майи Андреевны к выходу, обязательно ударялся об углы посылочного ящика и: «Госс-с!.. Совсем уже!..», или: «Встала тут, как все равно...», или, в порядке издевательства: «Гражданка, людям пальто рвете, сели бы уж со своим ящиком!» У Казанского освободилось место, и Майя Андреевна наконец села, пристроив груз на коленях. Села, рассеянно взглянула в окно и тут же увидела мужа. Он стоял около лотка с апельсинами. Это было невероятно! И дело не в том, что Игорь Михайлович не мог покупать на улице апельсины, мог, хотя и делал такие покупки крайне редко, но ведь в настоящее время он должен был находиться, конечно же, не на Невском, а в Технологическом институте, на конференции по высокополимерам. И об этом вчера сказал трижды, да еще предупредил: конференция, очень возможно, затянется — напряженная программа, а его доклад в конце дня, так что к обеду не ждите. Но это еще не все! Выворачивая голову, так как автобус, сперва притормозив, опять набирал скорость, Майя Андреевна успела увидеть, что выглядел Игорь Михайлович весьма и весьма необычно, даже, можно сказать, дико: без шапки, растрепанный, пальто нараспашку и при этом хохотал, запрокинув голову и широко открыв рот. А рядом стояла и улыбалась совсем незнакомая молодая женщина в кожаном пальто. Майя Андреевна вскочила и, провожаемая громкой руганью, стала протискиваться к передней двери. Слава богу, остановка была недалеко, сразу за улицей Желябова. С отчаянием выдернув полы дубленки, намертво зажатые телами стоящих у выхода, она выбралась из автобуса на мокрый тротуар и быстро пошла назад, через улицу, мимо аптеки — туда, где лоток с апельсинами.

Всматриваясь в тугую толпу, спешащую ей навстречу, Майя Андреевна с трудом различала лица, дважды ей показалось, что она видит мужа, — один раз у магазина «Золотой улей», — нет, не он; потом в очереди на троллейбусной остановке. Она бросилась к Игорю, наискосок пересекая тротуар, и столкнулась с высоким стариком, ударив его ящиком в живот. Старик отпрянул, поправил сбившиеся очки и очень вежливо извинился. Мужчина у троллейбуса в это время встал к Майе Андреевне лицом — и ничего похожего.

Она побежала дальше. У лотка никого не было. Продавец грузинского вида тоскливо смотрел вдаль. Майя Андреевна решительно подошла.

— Кило? Два? Пять? — вяло спросил продавец.

— Килограмм, — рассеянно сказала она, глядя по сторонам.

Продавец начал класть апельсины в синий пластмассовый таз, стоящий на весах. Движения его были неторопливыми и плавными. Как в замедленной съемке.

— Тут... сейчас были мужчина с женщиной. Вы случайно не обратили внимания, куда они пошли? — срывающимся голосом спросила Майя Андреевна.

— Два рубля. Ровно, — сказал продавец.

Он ждал, что Майя Андреевна заберет апельсины. Их было шесть штук. Но она, одной рукой прижимая к животу ящик, другой бестолково рылась в карманах, все время при этом оглядываясь. Пожав плечами, продавец один за одним выложил апельсины прямо на посылку. Майя Андреевна наконец нашла трешку и протянула ему.

— Так вы не видели? Такой высокий, без шапки. В какую сторону?

— Куда может идти мужчина с красивой девушкой? — продавец вдруг подмигнул Майе Андреевне. Она вздрогнула и быстро пошла прочь.

— Сдачу! — строго сказал продавец. Она не услышала.

— Гражданочка! Теряете! Апельсины теряете! — кричали ей вслед.

Майя Андреевна шагала, не останавливаясь. Ящик она по-прежнему прижимала к животу. Шесть апельсинов один за другим скатились с крышки, упали на асфальт и разбежались в разные стороны.

У Елисеевского магазина она взяла такси и поехала домой.

Прямо в дубленке и сапогах, с которых текло, прошла в комнату и позвонила. Где же, интересно, Люда, секретарь? В трубке слышались тягучие ленивые звонки. Майя Андреевна не раздумывая набрала номер Поликарпова. Телефон был занят.

Из своей комнаты вышла сонная Лариса.

— А нас раньше отпустили. Физичка заболела. Я есть хочу.

Сжав губы, Майя Андреевна ожесточенно крутила диск.

— Ну, у тебя и видок! Как будто тобой прочищали водосточные трубы! — Лариса захихикала.

Майя Андреевна бросила трубку на рычаг. И тут же подняла снова.

— Не болтай глупости! Возьми лучше посылку, в передней у вешалки, и отвези на почтамт. Поняла?

— А ты сама не могла отвезти? Целый день дома! Мне же уроки делать! — капризно завела Лариса.

— Алло! — откликнулся наконец-то Поликарпов.

— Юрий Сергеевич, здравствуйте!

— О-о, Майечка! — обрадовался Поликарпов. — Вот сюрприз!

— Мужа потеряла, — сказала Майя Андреевна, — звоню, звоню — не подходит. Случайно не знаете где?

— С утра был на месте. Может, обедать пошел? Начальство, оно ведь не докладывает.

— Наверное, обедает, — согласилась Майя Андреевна, — хотя... что-то, мне кажется, он говорил про какую-то конференцию... Не то в Техноложке, не то... Вы не слышали?

— Сегодня? — удивился Поликарпов. — Н-нет... Впрочем... вообще-то, вполне возможно...

— До свидания, Юрий Сергеевич. Привет Любочке! — она положила трубку и повернулась к дочери:

— Зачем ты подслушиваешь мои разговоры? Я кому сказала: бери посылку и отправляйся! Живо! Черт знает что! Распустилась совсем, ни о чем попросить нельзя — сразу пререкания!

Лариса внимательно посмотрела на мать и пошла одеваться.

Каждые десять минут звонила Майя Андреевна мужу. Номер не отвечал. На улице светило солнце, с крыш текло, капли торопливо колотили по карнизам...

В шесть часов она надела дубленку и медленно побрела к станции метро. Тем путем, каким Игорь Ми-

хайлович, если был без машины, ходил обычно с работы. На улице пахло весной, водой, на углу вовсю торговали мимозой. Майе Андреевне вдруг отчетливо представилось, как она стоит здесь, возле телефонной будки, час, два, три, как слабеет поток, вываливающийся из дверей павильона метро, и вот уже темно, горят фонари, потом наступает ночь, пусто. Она одна. В теплой дубленке Майю знобило, застыли ноги. Одеревеневшей рукой она нащупала в кармане две копейки, вошла в будку. Трубку сняла Лариса.

— Куда ты делась? Мы тут с голоду умираем. Я посылку отправила сто лет назад, прихожу, а тебя нет.

— Папа давно дома?

— Еще до меня пришел.

— Позови.

— Майка, что случилось? Где ты? — сказал Игорь Михайлович, и оттого, что вот он — он дома, никуда не делся, и голос такой же, как всегда, абсолютно такой же, а не другой, не чужой, от всего этого из глаз Майи Андреевны одна за другой побежали слезы. Она не могла больше терпеть ни одной минуты, она сейчас, немедленно, хотела знать все, чтобы уж больше не думать о... о том... Ведь и к лотку-то бежала не ловить и не уличать, а чтобы все скорее объяснилось, кончилось. Это она, конечно, теперь поняла, а когда бежала, тогда вообще ни о чем не думала, только тупо повторяла про себя: «Кошмар! Господи, какой кошмар!»

— Игорь, где ты был весь день? — тихо спросила Майя Андреевна.

— На конференции. Я же вчера говорил.

— Это... точно?

— Не понял.

— Просто мне известно другое.

Игорь молчал.

— Игорь?!

Он молчал. Молчал!

— Имей в виду! — вдруг закричала Майя Андреевна, понимая, что делает страшную глупость. — Имей в виду! Я завтра же позвоню в Технологический и узнаю, была ли там эта конференция...

Щелчок и — короткие, летящие мимо гудки. Они летели как-то легко и, точно снежинки, вкось.

За весь вечер Игорь Михайлович не сказал жене ни слова и спать лег в кабинете. Ночью Майя Андреевна пришла к нему, плакала, умоляла объяснить, что же все-таки произошло, она всему поверит, всему! Пусть он только не молчит, ей этого не выдержать, господи, она согласна, что дура, что говорила по телефону недопустимым тоном, она просит прощения, но только пусть, пусть этот кошмар кончится!

Игорь Михайлович молчал.

В четвертом часу ночи Майя Андреевна, распухшая и охрипшая от слез, вернулась в спальню и легла. Но стоило ей закрыть глаза, как она сразу увидела: солнце, Невский, ярко-желтые апельсины и хохочущее лицо мужа. И девицу в кожаном пальто, улыбающуюся Игорю уверенной, хозяйской улыбкой.

## 12

Квартира выглядела так, будто здесь лютовала бригада буйных маньяков. Стулья перевернуты, ящики письменного стола — на полу, их содержимое вывернуто на диван, шкаф — настежь, одежда раскидана по комнате; в кухне, рядом с холодильником, разбитая банка черничного варенья, варенье растеклось лужей, лужа растоптана, но всему паркету — липкие фиолетовые следы. Полина села среди этого хлева на пол и разревелась. Теткина жизнь! Называется, вернулась домой! Женька, что ли, тут веселился со своими дружками? У него, между прочим, есть ключи... Его прекрасный Петя, гад такой, кого хочешь на какую угодно пакость подобьет... «Гениальный поэт имеет право вести себя, как свинья». Ну я тебе сейчас покажу и свинью, и поэта, будешь знать, как водить сюда подонков! Полина вскочила, обвела глазами комнату и села опять, ноги не держали: нет, это не Женька, конечно, нет, на письменном-то столе транзистор стоял — нету... В шкафу лежали ненадеванные сапоги. Где они? А где голубое платье? Среди разбросанных вещей ни сапог, ни платья не видать. Тихо! Спокойно! Нечего психовать! Надо встать и без психозов... Почему ей сразу-то в голову не пришло, в дурацкую башку? А потому что казалось — уж если обокрали, значит, все вынесли, пустая квартира, одни стенки. А тут куча барахла посреди комнаты. Именно что барахла, которым даже воры побрезговали, взять не



взяли, а квартиру испоганили... А сапог нету. И голубого платья. Этот Дорофеев все говорил: «ваш цвет»... Много ли у нее хороших-то вещей? Вот костюм еще... А где он, костюм? Господи, все, что попримечнее, унесли, сволочи! Осеннее пальто здесь, вон валяется. Бери — не хочу. Правильно! В этом пальто только на помойку ведро выносить!

Полина ходила по комнате, поднимала с полу платья, блузки, белье, ходила медленно, опасливо, словно боялась, что среди тряпок прячется змея; страшно — вдруг сейчас выяснится: пропало что-то ценное, самое дорогое, такое, чего никак нельзя лишиться. Что именно это может быть, Полина не знала, не помнила и вспоминать не хотела. И вспомнила! И опять заревела и легла на диван вниз лицом. Потому что «стрелка», брошка мамина с жемчужинами, она ведь была приколоты к голубому платью!..

...Хорошо, когда ты в квартире одна, можно кричать в полный голос, проклинать свою чертову жизнь, где все — все! — не как у людей, все наыворот, в сорок лет ни детей, ни мужа — никого. Приехала — кто обрадовался, кто?! А сдохла бы там, в больнице, тоже никто бы не заплакал... Главное — этого только не хватало, всю жизнь считала копейки... Да что — деньги! Вон за сапоги деньгами разве плачено? Нервами! Бегала, высунув язык, занимала по десятке, очередь выстаивала. Приятельница позвонила на работу: в Гостином выбросили сапоги, за которыми все лето как дура гонялась, самые модные, последний крик. С работы ведь, идиотка, тогда отпрашивалась... А голубое платье... Тут она опять вспомнила про «стрелку», и плечи затряслись. Платье — что! А это уж не вернешь, нигде не купишь; ни за какие деньги! Мамина вещь, последняя память...

Час, наверное, пролежала Полина на диване. А потом встала. Пошла в ванную, долго мыла холодной водой лицо и так яростно терла полотенцем, что чуть не содрала кожу. Выйдя из ванной, выпила чашку холодной воды и подробно осмотрела квартиру. Рылись даже в холодильнике, взяли бутылку «Столичной» и две банки шпрот, сардины почему-то оставили. Варенье выворотили на пол, подонки! Из буфета пропал полиэтиленовый мешок, где хранились три пачки «цейлонского» и пачка «индийского» чаю. Растворимый кофе тоже исчез. Мелкотравчатая погань!

Из одежды не было еще югославского пушистого свитера. И нового пододеяльника с прошивками — Майя подарила на прошлое Восьмое марта... Полина изо всех сил старалась не думать о брошке...

На книжной полке зияли дыры. Что же они — тут-то?.. Сразу и не догадаешься. Так, ну конечно, Зошенко! Тут стоял Зошенко, два тома. Еще — Лермонтов. И Стейнбека нету. Женькиного. А там? Там... Вот, тетя, жизнь, — «Два капитана»!

Полина опять начала всхлипывать. Ну, зачем взяли? Старенькая ведь книжка, вся истрепанная, читана-перечитана, еще из Калуги — подарили в школе, когда окончила восьмой класс: «Колесниковой Полине за отличную успеваемость и активную комсомольскую работу».

Опять она терла лицо и пила воду из-под крана, а потом надела пальто, шапку и пошла в отделение милиции.

В отделении Полина долго ждала под дверью кабинета, куда ее направил дежурный.

— Квартирная кража? — желчно сказал он. — Да что вы сегодня, граждане, сговорились, что ли? Идите в кабинет номер семь.

Полина не поняла, но переспрашивать не стала. Седьмой кабинет оказался в самом конце длинного коридора. Из-за двери доносился визгливый женский голос и тихий, бубнящий, мужской.

Прождав минут десять, Полина приоткрыла дверь. За столом, спиной к окну, сидел молоденький милиционер, лейтенант, совсем круглоголовый и очень лопухий. Прямо в окно било солнце, и уши его светились, как два красных светофора. А щеки, наоборот, казались бледными.

— Я же вам, гражданка, три раза сказал: разбираемся. Будут результаты — сообщим, — устало бубнил лейтенант, глядя в бумаги. А возле стола стояла бабища размером с пивной ларек, красномордая, в замшевом пальто, шапка из голубой норки, в модных сапогах. Голенища сапог врезались в толстые икры, ноги под капроновыми чулками были багровые.

— Я вот тебе покажу «разберемся»! — орала бабища. — Пятый день всё разбираетесь! Ты хоть соображаешь?! — два ковра, три дубленки, золотых ювелирных изделий на две тыщи семьсот рублей, а он — «разберемся»! На заднице будете без дела сидеть, так ясно, до второго пришествия не найдете!

— Гражданка, перестаньте оскорблять, а то оштрафую, — лейтенант чуть не плакал... — Вам же русским языком...

— Оштрафуй, попробуй! Я жалобу подам! Два ковра...

— Надо было поставить квартиру на охрану, раз у вас столько ковров.

Бабища так и взвилась:

— Это значит — вам ключи отдать, чтобы потом ваши же гаврики... А-а, да что!.. Конечно, для простых людей вы делать не будете, дураку ясно. Были бы депутаты или народные артисты, небось, забегали бы! И следователя бы приличного нашли, не сопляка. А просто-му работнику...

— Разговор окончен, гражданка. Пройдите в коридор, понятно вам? Кто следующий? — лейтенант поднял наконец глаза и увидел Полину, топчущуюся в дверях. — Вы следующая? Проходите. По какому вопросу?

— Тьфу, зла не хватает. Ладно. К прокурору пойду. И в газету! — рывкнула бабища-ларек, однако протопала к выходу.

Полина подошла к столу. Вблизи парень казался еще моложе, лоб его вспотел, жидкие, серые волосы склеились и висели сосульками, глаза были испуганные.

— По какому вопросу? — обреченно повторил он.

— Я... да мне насчет прописки... — неожиданно для себя самой вдруг сказала Полина.

Лейтенант так обрадовался, аж вскочил.

— Так это ж в другой отдел! На второй этаж. По лестнице, потом направо по коридору, по левой стороне третья дверь. Нет! Четвертая... Нет, точно: третья...

— Спасибо, — Полина направилась к двери. — Я найду, до свидания.

— До свидания!

Всю обратную дорогу она себя ругала: раскисла, дура старая! Слюнтяйка. Пожалела. Тебя саму много жалеют? Работали бы как следует, воровства давно бы не было! Но бледное лицо лопухого лейтенанта так и стояло перед глазами. С такими бабами, как та, в замше, живо дойдешь до точки. Конечно, у нее ковры и дубленки — это вам не хухры-мухры, не пододеяльник с прошивками, даже не итальянские ненадеванные сапоги. Но... Они бы наверняка сразу стали спрашивать: кому давала ключи? Гражданину Барвенко? Это кто, муж, родственник? Нет? Ах, сожитель? Поташат Женьку, а

тот, вполне возможно, все еще сидит без работы. А потребуют его трудовую книжку? Это что же, гражданин, за последние пять лет девять мест работы? Поэт? Не смешите, гражданин Барвенко, поэты состоят в членах Союза писателей или работают в редакциях газет. И книжки пишут... Так. И книжек нет?..

И поедет наш гений на сто первый километр. За Полинину барахло!

Тут она остановилась. Брошка! Их пожалела, а материну память?.. Только ведь не найти им «стрелку», бандюги ее, небось, в первый же день загнали и пере-загнали... Вот, спросят, допустим: «Когда совершено ограбление?» Она разве знает когда? Может, вчера, а может, месяц назад, нет, не месяц, варенье бы на полу засохло, но все равно — попробуй, скажи точно... начнутся допросы, запросы, отпечатки — опять трепка нервов, и потом — она же ведь трогала вещи, перекаладывала, а это наверняка запрещено: следы, вещественные доказательства... А ведь могло быть хуже, пришли бы, когда она дома, и — ломом по затылку. Майка не раз говорила: спрашивай «кто?», а спросишь, скажут — «телеграмма». И — привет!

День был на редкость солнечный и звонкий, асфальт уже подсох, бабы — в весенних сапогах, а кто в туфельках. Полина усмехнулась: весенние-то сапожки тю-тю... Ну и черт с ними, если на то пошло! Неудобные были, хоть и красивые. Каблучищи — во! И вообще — горе, называется! Будем живы, наживем. Вон солнце — как на юге. Могло, между прочим (если бы ломом по башке), ничего не быть, ни солнца этого, ни запаха, от которого голова дурная, а верно говорят, что весной воздух пьяный, интересно — отчего?

Представляя себе, что могло бы случиться, окажись она дома, когда пришли грабить, Полина никакого страха не испытывала, и это ее удивило, — все же о жизни и смерти речь! И тут она подумала, что вот ведь странно, вроде бы она смерти и никогда не боялась, даже в больнице.

...Нет. Боялась. Почти целый год! Это когда они только что познакомились с Евгением и он к ней стал ходить. Полина ничего еще толком о нем не знала, видела, что высокий, красивый, воспитанный, стихи наизусть знает и что она ему нравится...

Они познакомились в электричке. Полина ехала из Зеленогорска от Синяевых, начался дождь, да какой!

Прямо тропический ливень, по стеклам — сплошная вода, как из шланга. И вот в Солнечном входит в вагон парень, ну до того мокрый — глядеть страшно! Вошел и стоит у двери, не знает, как в вагон пройти, — течет с него, на полу лужа. Полина сидела у выхода, и рядом с ней — место. Она ему: «Садитесь», а он: «Что вы! Я же мокрый, как водяная крыса!» А Полина: «К вашему сведению, водяные крысы как раз и не мокрые, у них на шерсти смазка». Вынула из сумки полотенце — на пляж ездила — и стала его вытирать, полотенце намокло, так она — газетами. Как знала: купила в Зеленогорске на вокзале целых три штуки — читать в дороге.

Приехали в город, парень весь синий, зуб о зуб стучит, а дома у него, сам сказал, никого, мать в отъезде. Позвала к себе чай пить.

Так и познакомились. Сначала приходил примерно в неделю раз. Час посидит и уйдет. Ни о чем серьезном не говорили, так, болтали, и все больше Полина, а он помалкивал. Потом однажды прочитал стихи. Ей понравилось. Он назвал: Марина Цветаева, и в следующий раз принес книжку. А как-то сказал, что сам пишет, попросила прочесть — прочел. Полина и лягнула: непонятно. Он, видать, разозлился, но ничего, только посмотрел, а потом говорит: мол, восприятие серьезной поэзии требует подготовки. Как и серьезной музыки. А Полина: я Чайковского безо всякой подготовки люблю, даже могу плакать, когда по радио Шестая симфония. Он засмеялся: Чайковский — композитор простой и демократичный, я не о нем, а как, говорит, насчет Шостаковича? Стал носить книги, в основном стихи. Скольких поэтов Полина тогда узнала, про которых раньше даже не слышала! Или слышала, а не читала. Например, Пастернак. Сперва — ну ничего не понять! Что, например, значит — «деревья вязли в кружке пунцовой стужи, пьяной, как крюшон»? При чем здесь кружка? Спрашивала Евгения, он терпеливо объяснял, говорил про образы, про то, что стихи — не ребус, не надо их пытаться расшифровывать, надо просто вдыхать, как воздух, и не думать, из чего он, этот воздух, состоит, сколько кислорода и есть ли азот. И вот, хотите верьте, хотите нет (Майя Синяева, например, не верит), а Полина в конце концов научилась радоваться стихам, смысла которых иногда даже ни за что не могла бы пересказать. Конечно, это странно, смысл должен быть во всем, иначе — зачем литература? Литература, все знают, формирует человека, воспитывает

вает, а какое воспитание, если не поймешь, о чем речь? И тем не менее про одни Женькины стихи она сразу говорила «муть», а про другие «нравится», хотя и те и другие были непонятные. И он однажды сказал, что будет читать ей все, что напишет, потому что у нее безошибочная интуиция, прирожденное чутье на подлинное. В тот вечер он впервые позвал ее гулять «по Петербургу». Они ходили полночи, дело было осенью, небо черное, влажное, какое-то мягкое, а все тротуары в листьях. Ни про какую любовь Евгений в ту ночь ни слова не сказал, хоть Полина и ждала, говорил про город, кто что построил, что здесь раньше было, потом вывел к Неве и давай читать Пушкина.

Явившись домой в пятом часу утра (на работу вставать в семь), Полина схватила с полки книгу и взялась за «Медного всадника», и вот ведь смешно: и Пушкина в школе, слава богу, изучала, и в Ленинграде прожила двадцать лет, а будто ничего раньше не видела, не знала и не понимала.

Так и пошло: как прогулка, обязательно что-нибудь новое, то дом, где жила старуха-процентщица (пришлось срочно читать «Преступление и наказание», стыдно сказать — раньше знала только по фильму), то Новая Голландия или занесенный снегом по уши верхний парк в Петергофе. О существовании этого парка она имела смутное представление, бывала только в нижнем, где фонтаны. В тот день Полина промочила ноги и свалилась с температурой. Лежа в постели с завязанным горлом, она поминутно пихала под мышку градусник и с ужасом видела, что ртуть все лезет вверх, уже тридцать девять и шесть, а будет сорок — пишете письма, наследственность — сердцу не справиться, врачи сто раз предупреждали. Вот тогда-то она и испугалась — вдруг умрет и ничего больше не будет, ни стихов, ни города... Ни Женьки. Ни того, что вот-вот, может быть уже завтра, должно случиться...

Примчалась Майка с сумкой лекарств и продуктов, готовила обед, варила клюквенный морс и все время пугала Полину: идиотка, плюет на здоровье, болтается невесть где и невесть с кем по ночам. Полина покорно слушала и совершенно искренне обещала сразу же, как только встанет, пойти к кардиологу и в дальнейшем вести себя осторожней. И ходила, делали кардиограмму, через две недели вторую, ничего страшного не нашли, но Полина до самой весны так и жила: с одной сторо-

ны — мнительность, лекарства и врачи, а с другой — стихи, разговоры, хождения по городу и всякие выдумки, о которых теперь даже вспоминать стыдно.

А весной все надежды кончились, а заодно и страхи: «Наши отношения будут продолжаться в прежнем русле. Ничего другого быть не может, и, если позволите, прекратим этот разговор».

Обижаться Полине было не на что — сама набилась с объяснениями.

И опять началась нормальная жизнь.

### 13

Полина зашла в универсам за хлебом, взяла еще масла, колбасы, десяток яиц. Больше денег не осталось, только пятак — доехать завтра до работы. А там лежит получка, одним словом, живы будем — не помрем.

Дома она поджарила себе яичницу из четырех яиц, «фирменную», с луком — две луковицы, по счастью, завалялись в ящике под кухонным столом. Очень хотелось пить, и Полина налила было в кружку воды из-под крана, а потом вдруг передумала и достала из шкафа фужер. Вот так у нас: сырую воду пьем, зато из хрустального фужера! Кстати, а его-то почему не сперли? Вполне могли. И вилки тоже, они хоть и не серебряные, а красивые, и мельхиор тоже ценится. Проморгали, паразиты!

Ни с того ни с сего Полине стало весело. Она отхлебнула из фужера воды и покачала головой. . . . А вообще-то, ведь могло быть и хуже, т а к жить еще можно. Если бы не брошка. . .

Тут Полина подняла фужер и, усмехнувшись, выпила за собственное здоровье. А что? За дураков, говорят, всегда воду пьют. Так что вполне можно предложить тост за собственный золотой дурацкий характер. Сама себя не похвалишь — от других не дождешься!

А теперь — за любовь! Ставить на себе крест нам еще, девочки, рано! Сорок лет — бабий век? Черта с два! Говорят, выдержанное вино дороже ценится. Арсен Саркинович явно был неравнодушен, и если бы она только захотела. . . А главный инженер? Это еще надо разобраться, почему он именно за ней прислал черную «Волгу». . . Не будем уж вспоминать про профессора Дорофеева: «Вам-бы-пошла-и-звериная-шкура». Ничего, без платья она ему, кажется, еще больше понравилась. Вот так: мы

вам нравимся, а вы нам не больно-то. «Ах, Таганка, ах, демографический взрыв!» Ну ладно — Дорофеев, но ведь есть еще Лашинский! Когда-то была влюблена до обмирания души, а теперь?.. Жалко — это да, это верно, но жалость еще не любовь... Пишут, что настоящая любовь — на всю оставшуюся жизнь. Вон и о Боре теперь вспоминается спокойно, а раньше ревела... Значит, никого никогда не любила? Встречалась просто так, как распутная баба?

Нет уж!

Всех она их любила! Всех до одного! Только по-разному — каждого по-своему, и обязательно как будто раньше, до него, никого и ничего на свете не было. А что все проходит, так куда денешься? Так уж она устроена, эта жизнь... А Женька? Это не любовь разве? Не любила бы, так давно бы выгнала, стихи — стихами, а хамство? И потом — обидно ведь, хоть он и не виноват. А все равно... Ведь не деревянная! А может, и не в здоровье дело — не любит, вот и все! Только когда сама... так относишься, не выгонишь... Говорят, на безответную любовь способен только сильный человек. Сильный-то сильный, а где их брать без конца, эти силы? Не девочка уже, это раньше все было легко и просто... Конечно, жить для одной себя — лучше и не жить, а все равно такая чертова любовь в сорок лет — что корь: в детстве ничего особенного, а тут, пожалуй, и концы отдашь... С другой стороны, и сама хороша, не выдумывай лишнего... Искал дед маму, а попал в яму... Конечно, он поэт, и то, и се... Как-то он там, непризнанный наш гений? Может, как Петр, устроился проводником, с него станет...

Полина решительно поднялась из-за стола, пошла в комнату и набрала Женькин номер.

— О-о! — обрадовался тот. — Ну, наконец-то!

— А меня обокрали, — сообщила Полина.

— Я к тебе сейчас приеду, — сказал Евгений, — я ведь теперь один, матушка отбыла в столицу к родственникам. Жить со мной категорически отказывается вплоть до полного моего исправления, — пока не найду работу. И теперь...

— Картошки возьми по дороге, — перебила его Полина.

— Увы — без копейки. Как церковная мышь...

Однако приехал он с шиком, на такси. Принес картошку, взял дома — «остатки матушкиных припасов».



Еще приволок рубашки и всякое барахло — постирать. Поставив портфель и сумку у двери, спустился в лифте и вернулся с пишущей машинкой и каким-то четырехугольным предметом, закутанным в белую тряпку. Под тряпкой оказалась клетка, а в ней — две толстые белые крысы.

— Матильда и Макс, — объявил Евгений. — Видишь, совсем не противные, даже симпатичные. Я нарочно оставил белых. Остальных пристроил. Всех! Представь — обегал пять школ, там у них живые уголки. . .

— А эти, значит, на развод? — спросила Полина. — Супружеская пара? Поимей в виду, в комнату я их не пушу, хоть разорвись. И клетку чистить не стану! Мерзость такая. . . И, главное, — Матильда. . . Тьфу!

— А мы их вот сюда, видишь, как раз встает, — приговаривал Евгений, заталкивая клетку между холодильником и батареей парового отопления.

— Точно! Батарея как огонь, быстрее подохнут.

Полина опять жарила яичницу, выставила на стол сухумский мед, колбасу, нарезала хлеб. Евгений читал:

Я иду нелегко по дороге оранжево-сизой,  
От угла до угла провожает меня пустота.  
Пусть опорой мне будет отсутствие верха и низа,  
Невесомая песня и маятник вместо креста.

Я не верю в родство —

Помоги мне назвать тебя братом,

Я не верю в судьбу —

Помоги мне ее обрести.

Я не верю в Тебя —

Помоги убедиться в обратном

И навеки забыть, кем я был до начала пути.

Потому что иначе раздавит меня невесомость,  
И звезда молодая, как пуля, пронзит мою грудь,  
Пересохшей реки запоздалая, горькая совесть

Предпоследнюю ночь не даст мне в себя заглянуть. . .

— Что-то есть, — сказала Полина.

— Как понимать «что-то»? — сразу вскинулся Евгений.

— А так и понимай. Некоторые строчки хорошие, а некоторые — так себе. Что значит — «маятник вместо креста»?

— У тебя полностью отсутствует ассоциативное мышление. Маятник — символ времени. Да что тебе объяснять! Между прочим, я тут на днях читал в одном доме, вернее, в мастерской. У Князева, ты его знаешь. . .

— Не знаю никакого Князева.

— Мы его как-то встретили на улице. Помнишь, у Летнего сада?

— Бородатый, с выпендренной девицей?

— Это его дочь. Но суть не в ней. Там народу собралось — сесть некуда, вся элита. И знаешь, очень хорошо слушали, а потом, когда обсуждали, ну... просто апологетические были выступления. Я не ожидал. Да, кстати, Князев просил тебя привести.

— Это еще зачем?

— Хочет писать.

— Меня?! Тоже еще нашел Джиоконду!

— Джоконду. Он говорит: ты — тип русской женщины, из этих, знаешь? — которые — коня на скаку. Между прочим, он прав.

— Ага. Сегодня в вагоне как раз смотрелась в зеркало, ну, думаю, и рожка! Не баба, а какой-то сержант-сверхсрочник... Господи, еще не знала, что тут творится! Нет, ты представляешь? — вхожу в квартиру...

К рассказу о краже Евгений отнесся с неожиданным сочувствием. Обычно он интересовался только собственными делами, а тут обошел вместе с Полиной разгромленную комнату, заглянул в шкаф, покачал головой.

— Я-то решил, ты здесь генеральную уборку затеяла.

— Так я же еще по телефону сказала: обворовали.

— Я подумал — розыгрыш, у тебя ведь весьма своеобразное чувство юмора. А тут — послушала бы свой голос. Точно тебя не обокрали, а наоборот, вручили медаль за спасение на водах. В милиции была?

Посещение следователя Полина изобразила в лицах

— ...она вылетела, чуть меня с ног не сшибла, он сидит, уши красные, глаза как у боксера...

— У боксера?!

— Не понимаешь, что ли? У собаки, собака-боксер, ну, бульдоги такие, только рыжие. У них еще глаза грустные-грустные, будто сейчас слезы побегут, вот и у него... Знаешь, я решила взять собаку!

Мысль о собаке пришла Полине в голову только что.

— От воров? — спросил Евгений.

— От тоски. Нет, шучу, просто так. Пусть будет собака, и все. А заявление я подавать не стала, ничего не найдут, а мороки не оберешься.

— Ну... не знаю. Дело, конечно, твое... А какую ты хочешь брать породу?

— Да хоть дворянина. Вообще-то, я бы давно взяла, так ведь командировки же! С кем животное оставишь?  
— Как «с кем»? — оживился Евгений. — Позвольте, сударыня, а я на что? Буду и гулять и кормить. Ты же целый день на работе, пес не может один взаперти... И за город будем его возить! Давай пуделя возьмем, а? Пудель — самая умная порода, почти человек. И до того трогательные...

Полина обняла Евгения. Он тоже ее обнял, поцеловал в волосы, похлопал по плечу и сразу отстранился.

— Иди, иди, нечего тут... вдохновляться, — пробурчал он, — связалась с уродом, так терпи.

— Подумаешь, больно надо! Учти: гениальные стихи писать может один из миллиона, а... это самое — каждый кобель...

— Гениальные? — переспросил он, усмехаясь и кривя рот. — А ты вот так уж уверена, что гениальные?

— Уверена. И нечего нюни распускать. Ложись на диван, не мешай убираться.

Евгений послушно лег, поджав ноги, и повернулся лицом к стене. А Полина принялась за уборку. Прежде всего всунула на место ящики стола и аккуратно сложила в них выброшенные вещи. После чего Евгений смог лечь как следует.

Без транзистора стол выглядел как-то куце. Голо. Полина подумала и переместила поближе к центру подставку с шариковой ручкой, изображающей взлет ракеты. Рядом поставила перекидной календарь, а возле него, чуть правее, стаканчик с карандашами. Окинув стол удовлетворенным взглядом, пошла было к шкафу, но почему-то вернулась, взяла стаканчик и поменяла его местами с ручкой. Опять направилась к шкафу, но вдруг, резко повернувшись, бросилась назад, схватила стаканчик и разом вытряхнула на стол все его содержимое. Покатились, посыпались на пол карандаши, вывалились скрепки и катушка черных ниток с воткнутой в нее иглой. Полина стояла не шевелясь, затаив дыхание. Она смотрела на середину стола. Там, рядом с красной резинкой, лежала ее «стрелка».

Преподавательница английского назначила урок на половину девятого вечера. Пока привезешь девчонку домой, будет уже двенадцатый час, а завтра с больной

головой в школу. Майя Андреевна, придя с Ларой к учительнице, деликатно попросила, чтобы впредь, если можно, это не повторялось, на что англичанка с милой, но жесткой улыбочкой возразила: в таком случае уроки придется прекратить. Настроение после этого разговора стало еще хуже, а надо было как-то убить целых два часа, присутствовать на занятиях англичанка не разрешала. Слава богу, погода стояла теплая, лужи просохли, а если бы дождь?

Майя не спеша шла через парк. Так и не отважилась она позвонить в Технологический институт, неловко было, противно, да, честно говоря, и страшно. Ну, убедись, что Игорь солгал, что тогда делать? А так оставалась надежда. Во-первых, хоть это и почти невероятно, она могла обознаться. Во-вторых, — мало ли! — вдруг конференцию перенесли в Дом техники на Невский, а тогда легко все логично объяснить: допустим, вышел с кем-то из сотрудниц или знакомых, — встретились на конференции, вышли в обеденный перерыв, и той понадобилось купить апельсины (кстати, домой Игорь Михайлович никаких апельсинов не принес), ей надо купить апельсины, а сумки с собой нет, и она попросила... Но почему, почему вместо того, чтобы все объяснить, успокоить... А он обиделся! Чувствует себя оскорбленным, поэтому не хочет разговаривать, вот и сегодня ушел, даже не позавтракал. Наказывает. Но, с другой стороны, нападение — лучший способ защиты... Нет, в любом случае он ведет себя жестоко и бесчеловечно, ведь знает же, что кроме него, кроме семьи, у Майи ничего больше нет... И все же... если безусловно честного, порядочного человека вдруг ни с того ни с сего обвиняют черт знает в чем, он может выйти из себя... Но почему у него был такой дурацкий вид там, у лотка? Без шапки, растерзанный... И этот дикий смех. Последнее время он почти каждый день задерживается на работе, даже с бюллетенем ходил... А под Новый год? Явился в одиннадцатом часу... Если окажется, что у Игоря — женщина, это... это катастрофа. Конец. Тогда лучше не жить... Майя не замечала, что из глаз у нее ползут слезы... Нет, этого быть не может! Он — не такой! Он — не способен... У девочки выпускной класс... Он думает, Лара ничего не замечает? Она прекрасно все видит — и что мать второй день сходит с ума, и что отец молчит, как... как каменный! Видит и нервничает. Нет, так нельзя. Попросить прощения... Она виновата, оскорбила... Но... Надо узнать правду.

Это все равно не жизнь, если — ложь и грязь. Если у него кто-то есть, пусть уходит. Лучше остаться одной, чем жить с человеком, который тебя предал. Неправда! Не лучше!.. И не надо себе врать... А вдруг он сам захочет уйти?..

Надо домой. Скорей! Там... Что — «там»? Может, позвонить ему, попытаться... Что? Всю ночь редела, умоляла — и без толку...

Майя Андреевна вдруг всхлипнула... Да как она сме-ла так про него подумать? Еще грозила: «проверю»... Тот, кто подозревает другого в предательстве, сам в душе предатель... А все-таки, наверное, так нельзя, чтобы всё, вся жизнь — в одном человеке, — очень страшно... Любовь — это страх, вот что это такое!.. Как всегда было страшно, когда Игорь, не предупредив, где-нибудь задерживался. И ведь не ревность была, какая там ревность! Просто — вдруг что-то случилось... сердце... Господи!.. Никогда больше никого не полюбить, никто не нужен... Для этого надо, чтобы тот человек был лучше Игоря. Ведь смешно — недавно поймала себя на том, что красивыми, вообще — симпатичными кажутся только те мужчины, которые похожи на него. У него — залысины, глаза близко посажены, очки. Для нее — если без очков, с шевелюрой и, допустим, большими голубыми глазами — чуть не урод... Даже не урод, а просто нет его...

...А что, если в один прекрасный вечер одной пойти... ну, хоть в кино, вернуться за полночь и непременно с букетом? Игорь спросит: «Где была?» Ответить рассеянно: «Так, деловая встреча». Тьфу, как глупо, пошло!.. Ну, а вся ситуация — жена ревнует мужа, следит, бегаёт за ним по Невскому, — это разве не пошлость? Боже мой! До чего унижительно, стыдно! И посоветоваться не с кем!

Майя Андреевна вышла на проспект. Торопиться ей было некуда, до конца урока полтора часа. Она свернула налево, мимо гостиницы. Там в ресторане, несмотря на будний день, кипела «красивая жизнь». Несколько окон были распахнуты, доносилась музыка. К подъезду то и дело подкатывали такси, оттуда высаживались возбужденные пары. Голоса их звучали нарочито громко, развизно и неестественно.

Майя Андреевна не заметила, как, миновав гостиницу, оказалась перед домом, где жила Полина. Будь та в городе, можно бы зайти, хоть погреться и чаю попить... Обсуждать то, что случилось, с Полиной? Вряд ли она

поймет... У нее ведь странное представление о любви, о морали и... вообще обо всем. Пожалеть — это сколько угодно, а понять?.. Как-то, помнится, с пеной у рта доказывала, что, если муж обманывает жену, та, мол, сама виновата. Почему? Да потому, что врут тому, кого бояться, а в семье должна быть любовь, а не страх и тирания. С чего бы это Игорь стал бояться Майю? Ведь это они, одинокие кукушки, своими доморощенными теориями разлагают людей. Мужчинам такие рассуждения, конечно, нравятся...

...Вообще-то, Полину осуждать грех, только кто виноват? Тот ей глуп, этот, видите ли, слишком красивый... А семьи построить не может, характер не тот, да и возраст уже... Годы идут, скоро ни одного кавалера не останется, что будет делать?.. Вот такие и разбивают чужие семьи!

...А Игорь молчит, о чем он думает? Что решает? Не было бы той проклятой посылки, не пришлось бы ехать на почтамт, жили бы сейчас спокойной, счастливой жизнью, — только теперь Майя поняла, какая это была прекрасная жизнь! И пусть бы даже... В конце концов, чего мы не знаем, того нет.

Тут Майя Андреевна подняла глаза и увидела свет в Полининых окнах.

## 15

— Ну, Майка, ты вообще даешь! Телепатия, что ли? Я же только сегодня ввалилась. А ты что так неважно выглядишь, болела? А я — поездом, и можешь представить? — прямо с корабля... на бал. На бал! — Полина начала хихикать, а сама стаскивала с Майи Андреевны пальто. Одета Полина была в старые джинсы и футболку, подпоясана широким ремнем, и Майя Андреевна, хоть вовсе ей было не до того, как всегда отметила, что талия у нее, точно у двадцатилетней. Не рожала, что там говорить... Ей никто не дает сорока, от силы тридцать пять.

— Вот, уборкой теперь занимаюсь, — болтала Полина, — посмотри, правда, я загорела? А у меня тут такое, тако-ое... — она опять засмеялась и сразу зажала рот рукой: — Женька спит, — она показала на закрытую дверь в комнату. — Пошли на кухню, я тебе все расскажу.

... Не надо было сюда приходиться... Советоваться? С ней?!

— Я на минуту, — сказала Майя Андреевна. — Мне за Ларой к учительнице, дай только чаю, замерзла.

— Анекдот! «За Ларой к учительнице»! Лара что, в первом классе? Сама до дому не дойдет?

— Как съездила? — перебила Полину Майя Андреевна.

— Отлично! Просто великолепно!

«Чему она радуется?» — как-то вяло удивилась Майя.

Полина отошла от плиты, и Майя увидела в углу клетку.

— Рекомендую: Матильда и Макс! — Эта дурища сияла от уха до уха. — Женька притащил.

— А что твой... их величество спиногрыз... тебе еще принесли? — Майя Андреевна вдруг почувствовала, что у нее дергается веко.

— Как же! Грязные рубашки! Но это ерунда. Ты лучше спроси, что у меня унесли! Майка, меня ведь тут обчистили.

— Как?!

— Квак! Прихожу с вокзала, а дома полный раздрай. Точно Чингисхан прошел. Ну, и конечно, что поприличней — все забрали: платье, сапоги...

— И это тебе смешно?

— А-а... Из дурака и плач смехом прет! — отмахнулась Полина.

Майя Андреевна покачала головой:

— Кошмар какой-то. Просто кошмар! Полинка, это же настоящая беда, а ты тут треплешься. Ты в милицию-то хоть заявила?

— Да ходила я... Садись к столу, чай уже заварился. А они все равно не найдут! Бери мед! Еще и таскать начнут, а у Женьки второй ключ был, только скажи им, такое начнется...

— А зачем ты чужому человеку ключи оставляешь? Чтобы ему было куда девиц приводить?

— Женя мне не чужой. И какие уж там девицы... А и привел бы, так я за него только рада.

— Да прекрати ты юродствовать, честное слово! — вдруг закричала Майя Андреевна. В голосе ее были слезы. Полина внимательно взглянула на подругу, хотела что-то спросить, но промолчала. Помешала в чашке, отпила глоток, потом сказала тихо:

— Брось, Майка. Было бы из-за чего психовать. Не то теряли. Ну, подумаешь, — сапоги. Если на то пошло, так они мне жали. И каблуки полметра, все ноги собьешь. Все равно бы валялись, а так... хоть кто-то спит.

— «Кто-то»? Нет, милая, не «кто-то», а воры!

Ну что с ней разговаривать, с Полиной. На все ей наплевать, и так было всегда. И, видно, будет до смерти. На секунду в голове Майи Андреевны мелькнуло, что если бы ее саму сейчас обокрали, все, все, до последней нитки бы вынесли, зато не случилось бы того, вчерашнего... она бы... она бы... Господи!..

— Невезучая ты все-таки, Полинка, — сказала Майя.

— Это я — невезучая?! Да я, наоборот... Знаешь...

И Майя Андреевна выслушала отчет о том, как Полина сперва не могла найти свою «стрелку», а потом нашла, и это как раз и является доказательством ее редкой удачливости.

— Вот что, — сказала Майя, когда Полина кончила рассказывать и снова принялась за чай, — все это, конечно, прекрасно — брошка и другие... — она покосилась на клетку с крысами, — радости. У меня с собой пятьдесят рублей. Бери пока, а завтра приезжай, сходим в сберкассу.

— Давай сколько есть, — обрадовалась Полина, — а больше не надо, спасибо. Перебыюсь: у меня на депоненте получка, завтра приду — возьму. Крайний срок — послезавтра. А сейчас ни копейки. Вообще. Представляешь?

— Так. Мне пора, — Майя Андреевна отодвинула чашку.

— Нет, погоди... Слушай, Майка, а что все-таки стряслось?

— Ничего.

— Не ври, не умеешь. Лучше в зеркало посмотри, глаза — как из Освенцима.

— Я пойду.

— Никуда не пойдешь, не выдумывай! — Полина вскочила, силком усадила Майю и сама опять села напротив.

— Давай, рассказывай.

Майя пристально глядела на пустую чашку, которую вертела в руках.

— Да что там рассказывать... Понимаешь... — начала она наконец, морщась, — вообще-то пустяки, даже



не знаю, как... глупость какая-то: еду вчера в автобусе, смотрю в окно — Игорь...

— С женщиной? — сразу перебила Полина.

— Да не в этом дело! Допустим, даже с женщиной, какое это имеет значение? Я же не ревнивая, этого еще не хватало! Просто... ну, он мне утром сказал, что идет на конференцию, а сам...

— Ну, и дальше что? Ты к ним подошла?

— И не собиралась! Я же тебе говорила: я в автобусе ехала... ну... и... проехала. А он стоит без шапки, хохочет...

— Ну, ты даешь! Бандит-преступник. «Хохочет!» Пускай себе хохочет на здоровье. Дергаешься из-за всякой ерунды. Себя довела, его, небось, тоже. Поругались?

— Когда ты видела, чтоб мы ругались?! Я только... Я ему сперва, конечно, ни слова не сказала. Только... что проверю, была ли конференция.

Полина помотала головой:

— Зря. Не стоило. Мне бы кто пригрозил: «проверю», я бы вообще... Ладно. Все это чушь. Ей-богу, чушь, Майка! Успокой нервы и помирись с Игорем.

— Я — мириться?! Ты думаешь, что говоришь? Он же мне солгал!

— Постой, Майка. Ты успокойся. Во-первых, может, это еще и не он, ты обозналась. А если и он... знаешь, я с Игорем твоим знакома как-нибудь двадцать лет. Похихикать с бабой — это он способен, но чтобы всерьез... А вот обозлиться, что допрашивают, к стене припирают... я бы, кстати, тоже...

— Да что ты все «я» да «я»?!

— Да ладно! Не думай ты об этом! Плюнуть и растереть!

— О чем ты говоришь, Полина? Он меня обманул, это тебе ясно? Или для тебя вранье — уже норма? Ты пойми — мне не важно, с женщиной он был, без женщины, и кто она ему. А важно, что он мне лжет. Изза... нее. Это предательство. У нас такого никогда не было. В жизни.

— Ну, даже и обманул. Подумаешь, трагедия! Не обязан он тебе докладывать про каждый свой шаг. Зачем так мужика унижать? Ну, постоял на Невском... Баба-то хоть интересная?

— Не разглядывала. И... да! Вранье для меня — трагедия.

— Да не бери ты в голову! Делов-то: встретил молодую женщину, поговорил, покрасовался... Даже если и поухаживал — тоже мне, беда! Им ведь все это нужно, мужикам! Для тонуса! А ты хочешь, чтоб он, кроме тебя, ни на кого не глядел? Это неестественно, Майка, очнись, нам же по сорок лет, не забывай!.. Ну, чего ты? Ну, хочешь... Хочешь, я с Игорем поговорю?

Как это было глупо — идти сюда, к ней, сидеть, исповедоваться, ругать Игоря. Выслушивать обывательские, безнравственные сентенции... Не хватало еще, чтобы она ввязалась в это дело. Заступница! Господи, какая тоска, какая тяжесть в груди. И боль. Вот так, наверное, бывает инфаркт. Пускай! Игорю сразу сообщат, и он...

— Мне пора. Опоздаю за Ларой, — Майя еле выдавила эти слова, губы были мертвые. Полина смотрела с испугом.

— Майка, стой! Я провожу. До дому, — голос звучал виновато.

Майя молча вышла из-за стола.

— Ты собирайся, я только сейчас морду сполосну и переоденусь, вся в пыли, как собака, — уборку делала. Я пулей, — и Полина исчезла из кухни. В ванной тотчас грянула вода.

Крысы ворошили в своей клетке. За стеной, в обворованной комнате, спал тунейдец, ублюдок, про которого Полина воображает, что он великий поэт. В ванной плескалась вода.

Почему-то на цыпочках Майя вышла в переднюю.

...А ведь она сказала, в общем, разумные вещи... Но оттого, что они разумные, и сказала их именно Полина, а еще оттого, что Полина жалеет, смеет жалеть... ее, от всего этого почему-то хотелось кричать. Или разбить вот это зеркало, в котором сейчас отражалось бледное, распухшее... да, да! — старое лицо... Или — умереть. Да как она... смеет?! В этой разумности — подлость, вот что!

Вода все шумела. Майя Андреевна судорожно, со всхлипом, втянула воздух и торопливо оделась, чуть не оборвав петли на дубленке... И почему все-таки с ней, с Майей, должно было случиться все это? За что?.. Нет, она не обозналась, как она могла обознаться? И Игорь с той... не просто так красовался, и Полина это прекрасно понимает, а говорит нарочно, чтобы показать, будто сочувствует... Интересно, что сейчас делает Игорь?.. А вдруг он, правда, не виноват? Надо позвонить ему,

спросить... Что спросить?... Пусть встретит их с Ларой у метро. Да! Он обязан! Уже поздно, почему женщина должна ходить в одиннадцатом часу по улицам одна с девочкой, у которой есть отец?... А может, уже нет?... Он должен, должен встретить — не ради Майи, ради Лары.

Майя Андреевна решительно вошла в комнату. Сейчас же позвонить, сказать... Игорь зашевелился во сне, забормотал. Плохо спит, совесть не спокойна? Игорь? Это же... это же... как его? Это Полинин любовник. Хахаль! Развалился, точно у себя дома.

Майя зажгла настольную лампу. Евгений спал, подложив под щеку ладонь. Посреди стола блестела Полина «стрелка».

...Тягучие, злорадные гудки. Спит, не слышит. Опять зашевелился. Это — не Игорь, Игорь дома! Игоря дома нет — гудки. Ушел. Сбежал. Взял вещи. Сапоги и голубое платье... Я схожу с ума.

— Алло, — голос в трубке был хриплый, неприязненный.

Майя молча слушала.

— Алло! Алло!

Она быстро нажала на рычаг.

Лампа светила Евгению прямо в лицо. А он красивый... Вот, пришел к ней. Зачем-то она ему нужна. Таких любят. Именно таких! Эта ее гадкая мудрость помогает ей жить. «Нам по сорок лет!» Это не ум, это хитрость! Сплошные удачи — даже брошку, и ту...

Евгений сладко вздохнул и повернулся лицом к стене.

Майя дотронулась до «стрелки», медленно взяла ее, медленно сжала в кулак. Постояла. Надо идти.

Ручка «французского» замка повернулась свободно, но дверь не открылась. Заело! Вода в ванной уже не шла. Черт! Майя ударила дверь ногой, и та сразу распахнулась. Кабина лифта точно ждала — была тут. Она быстро нажала кнопку, створки съехались, кабина пошла вниз. Все.

В ресторане ревели и взвизгивало веселье. В сквере ее обогнала пьяная компания. Низенькая, полная женщина в кожаном пальто громко хохотала Полининым голосом, все время приговаривая: «Ой, не могу!» Майя Андреевна остановилась перевести дух. В груди, там, где, по всей вероятности, помещается душа, была боль. Коро-

тышка в кожаном пальто вдруг побежала наискосок через газон. Мужчины бросились за ней. Один упал. Немолодые, солидные люди, у обоих наверняка семьи... Оркестр в ресторане давился и захлебывался. Прядь волос, выбившись из-под шапки, упала Майе на лицо, она вынула из кармана руку — поправить. Ногти впились в ладонь, пальцы не гнулись. Майя опустила руку, разжала. Что-то звякнуло о бетонную плиту дорожки... На той стороне двое мужчин догнали наконец свою кожаную, схватили под руки, поволокли. Она упиралась, что-то капризно выкрикивала. Майя Андреевна повернулась и, спотыкаясь, пошла прочь.

Пройдя несколько шагов, остановилась, потеряла лоб. И бросилась назад. Опустилась на корточки и принялась слепо шарить по дорожке. «Стрелки» не было. Может, не здесь, чуть дальше? Треснул чулок. Майя ползла, обдирая кожу на коленях. Не видно, ничего не видно! Если бы фонарик! У Игоря есть... для загородных прогулок. Всхлипывая, она ощупывала перед собой дорожку. Каждый сантиметр. Лучше остаться одной. Лучше — что угодно, чем так... Ободранные колени горели. В ресторане надсаживалась музыка. По проспекту, шурша, летели машины. Громко стучали шаги, громко переговаривались прохожие. Воздух набит был звуками. Как бутылочными осколками. Безжалостно пахло весной.

## 16

Котлет четыре штуки... А разрешают ли там оставлять мясные продукты? Полина идет звонить Игорю, он должен знать. Но Игоря дома нет, сонная Лариса говорит — уехал на работу, семи не было. Какая-то там где-то авария. В воскресенье? Ни свет ни заря?.. Ну-ну... Ладно, авария так авария.

За Полиной Игорь обещал заехать в половине одиннадцатого, а сейчас? Сейчас без четверти десять, надо собрать передачу, позавтракать, одеться... Сперва — передачу. Полина вытаскивает из холодильника банку протертой смородины и бутылки с кефиром и соком, приносит ножницы, лейкопластырь, шариковую ручку. Так. Теперь отрезать три узкие полоски пластыря, наклеить на бутылки и банку и аккуратно, чертежным шрифтом: «СИНЯЕВА М. 7 ПАЛАТА». Котлеты на сковородке трещат, сжечь не хватало!

Десять. Сейчас придет Евгений. Каждое утро с девяти до десяти гуляет со щенком — нашел себе работу. И ведь ни разу не проспал: «Животное должно гулять в любую погоду». Сегодня, кстати, как раз хороший хозяин собаку не выгонит — ветрище, в окна так и задувает, по радио сказали: северо-западный, семь — десять метров в секунду, а небо какое-то сизое, тучи черные, низкие, и это — конец мая! И, главное, батареи уже не топят, околеешь тут, сама не заметишь, одно спасение — рефлектор. Раньше Полина в таких случаях зажигала на кухне газ, раскочегаришь духовку, через полчаса по всей квартире тепло. Теперь нельзя: «продукты сгорания газа вредны». Рехнуться можно — Полине были не вредны, собаке — вредны! И ведь откуда что взялось? Сам кормит, сам выводит, сам подтирает лужи на полу. Пес вообще-то отличный, до того потешный, черный, лохматый. Мефистофель, сокращенно — Тоффи. А Женьку не узнать, раньше мог полдня валяться в постели с сигаретой, а сейчас в девять часов уже как штык. Денег тут принес, продал какие-то книги. Пишет Женька сейчас не для балды, а для дела: этот Князев, художник, еще с двумя приятелями подрядились летом оформлять территорию дома отдыха под Лугой, те двое режут деревянные скульптуры, Князев рисует щиты, Евгений говорил — насчет охраны природы от людей или что нельзя купаться в неположенных местах, ну и так далее. Вот для каждого щита и надо сочинить стих, щитов до черта, деньги обещали приличные, а после этого дома отдыха предлагают еще халтуру в совхозе — тоже щиты про надои и опоросы и другая наглядная агитация. «За лето сумею круто заработать, зато потом всю зиму можно писать для души». Решили осенью съездить вместе в Крым, а пока Женька собирается в Лугу, берет с собой Тоффи. А Полина к ним будет приезжать на выходные. Скорей бы уж! Город надоел как не знаешь что: кругом асфальт, а над головой пепельница. За городом земля мягкая, и небо — живое, в нем и ветки, и птицы, и звуки. То дятел стучит, то ветер скрипит деревом, то кукушка... А тут только вой да грохот... Что это там визжит? Будто машина тормознула у парадной. Уж не Игорь ли раньше времени?

Полина идет на балкон. Нет, такси, — у Игоря синий «Жигуленок»...

Игорь приезжает точно в половине одиннадцатого. Полина к этому времени успевает попить с Евгением кофе, навести перед зеркалом красоту и накрошить булки

Матильде и Максе (оказалась дамой). Их клетка стоит на кухонном шкафчике, чтобы пес не слишком интересовался. В новом, цвета «морской волны» плаще она спускается вниз. Полный о'кей — автомобиль у подъезда, Игорь за рулем читает газету.

— Гони, братец, получишь на чай, — Полина усаживается рядом, устроив на коленях сумку. — Давно ждешь?

— Только что.

Одет нарядно, в светлой импортной куртке, чисто выбрит, пахнет французской туалетной водой, а посмотришь в лицо — точно после пятнадцати суток. Похудел, глаза красные. И — залысины, раньше вроде были не так заметны. Хорошо выглядеть ему, конечно, не с чего, последние недели достается мужику на всю железку.

Без Майки дом буквально рушится. Этот фон-барон Синяев понятия не имеет, что у него в квартире где лежит, вплоть до его же собственных рубашек и галстуков, не знает, где прачечная, куда Майя сдала белье, когда последний раз платили за квартиру и как вызвать телефонного мастера. Лариса в свои семнадцать лет — малый ребенок: все ей надо приготовить, подать, напомнить, а тут еще приближаются выпускные экзамены. Когда Игорь, проведя вечер у Майи, в десятом часу добирается наконец домой, ему приходится готовить ужин, заниматься с дочерью. Поздно ночью он еще ухитряется подмести квартиру, а в это время на плите варится морс или компот для Майи — ее постоянно мучит жажда.

А в семь звонит будильник, нужно вскакивать, поднимать дочь, ставить кофе... И такая свистопляска изо дня в день уже полтора месяца. А сколько еще впереди?.. Полина, конечно, помогает — то обед привезет, то сварит суп на три дня, то купит для Майи творог и фрукты, или устроит в доме генеральную уборку да еще заставит участвовать Ларису. Та ворчит — избалована девка до крайности — но делает.

Последняя неделя для Игоря была, конечно, особенно тяжелой: остался совсем один, Полину услали в Москву, в министерство. Вернулась только вчера, и вот теперь они, слава богу, вдвоем едут к Майе — воскресенье, приемный день...

— Опять дождь, это надо! — возмущается Полина. — Ну, у вас, я тебе скажу, тут и климат! У нас, в Москве, уже лето. Представляешь, я в эту пятницу ходила в сарафане! Даже не верится.

Дождь настырно бьет по радиатору, точно гвозди вколачивает.

— Как Майка?

— Без изменений.

— А врачи что? Диагноз-то хоть поставили?

— Суицидная попытка, депрессивное состояние. «Делаем всё».

— Ясно. Дежурное блюдо. А Лариса как?

— Сочинение на пятерку написала. А вообще трудно: эгоизм, дошедший до патологических размеров, все заботы — только о себе: «Не знаю, как в такой обстановке я смогу подготовиться к экзаменам». А вчера заявляет: «Это что же — если мама до июля не поправится, мы не поедem по Волге? У меня будет испорчено лето?»

— Это от детства. Надо заставлять ее больше делать по дому, чтобы чувствовала ответственность. Подумай — экзамены! Вот приду, научу варить суп, все польза.

— Как съездила?

— Что ты! С оглушительным успехом. Утвердила директивное письмо. У министра, представляешь? Ну, у меня там вышло дело с Трегубовым — остросюжетный фильм ужасов!

— Тебя пустили к самому Трегубову?!

— Именно что не пустили, сама ворвалась. Конечно, я — не тот уровень, Мальцев должен был ехать, наш зам по науке, но они разве могут себя от кресла оторвать? Тем более там же не представлять надо, а работать, одних виз — девять штук. И у замминистра...

— Кто у тебя заведующий лабораторией?

— Да Никифоров, кто же! Доктор наук, пятьсот рублей вынь да положи, всегда болен. А кто ко всякой бочке затычка? Колесникова! Ну — поехала, визы получила, на ушах стояла перед каждым, еще ведь просто так ни одна скотина не подпишет! Тут — формулировка не та, там — срок внедрения не реальный, здесь — опечатка... Короче, я это письмо только перепечатывала пять... нет, шесть раз. Все сама, у них машинистки сверхзагружены, не подступись, а сотрудники — это вообще, каждый клерк корчит не ниже министра. Так они уйдут на обед, я останусь одна в комнате и — за машинку. Ну вот, собрала все визы, а надо еще согласовать с Трегубовым. Прихожу. Секретарша: «Кладите в почту, зайдете послезавтра, сегодня Виктор Андреевич почту уже вернул, завтра он весь день на сессии, а послезавтра, то есть не послезав-

тра, а уже в понедельник...» Что за дела? У меня завтра — последний день командировки. Говорю ей: «Я пойду сама». А она даже не разговаривает, мырра старая, сидит, как мышь на крупе. Я и зашла. Кабинет громадный, стол — с футбольное поле.

— Да был я у Трегубова!

— Правда, на хомяка похож? Маленький, круглый. И — щеки. Сидит, пишет. Голова лысая. Вхожу, глаз не поднял. «Здравствуйте, Виктор Андреевич!» — ноль внимания. Ну, я подошла, кладу перед ним письмо, начинаю объяснять — вот, мол, визы, вот... А он — представляешь? — как отодвинет мои листки, только что не швырнул, и бубнит: «По этому вопросу должен был явиться Мальцев. На таком уровне решать ничего не намерен. Какого дьявола ты суешь мне эти бумажки?» «Ты» — как вам это нравится? Я и говорю ему, очень спокойным, между прочим, голосом: «Ну так и порви их к чертовой матери». Тут он на меня первый раз посмотрел...

— Ох, Полина...

— Думаешь, вру? Будешь в министерстве, зайди, передай привет, так и скажи: «Вам привет от Колесниковой». Сразу вспомнит, мы с ним теперь наилучшие друзья, за руку прощались. И на «вы». Слушай! Майке котлеты можно? Я пожарила, еще горячие, в фольгу завернула и в полотенце.

— Все ей можно, только она ничего не хочет.

У входа в клинику Игорь Михайлович ставит машину, и они с Полиной идут в вестибюль. Вестибюль как вестибюль, очень даже респектабельный, с колоннами, но у Полины сразу портится настроение. Вот уже в который раз приходит она сюда, а привыкнуть не может. Точно здесь силовое поле какое-то. Из тоски. Игорю тоже не по себе, весь понурый, пришибленный.

Молча они поднимаются по широкой мраморной лестнице. Дверь на отделение, как всегда, заперта, но дежурная сестра сразу выходит на звонок. Свидания с больными — в столовой. Вокруг столиков вплотную друг к другу пациенты и посетители. Одни едят, другие смотрят, не спутаешь, кто здешний житель, а кто гость, хоть и нету больничных халатов и пижам, все в домашнем. Столы заставлены банками, термосами, кружками, завалены развернутыми пакетами, апельсинными корками. Худой лысый мужчина одну за другой методично всовывает дольки апельсина в беззубый рот сидящей напротив



старухи в спущенных чулках. У старухи застывшее, бессмысленное лицо. Мужчина, впихнув очередную дольку, делает глотательное движение. Полина отворачивается.

Сестра приводит Майю. Игорь находит место в дальнем углу, на диванчике. Тут, правда, нет стола, и Полина выкладывает угощение себе на колени.

Майя за эту неделю не изменилась, разве что пополнила слегка, полнота нездоровая, отечная — без воздуха, без движений...

— Как самочувствие? — бодро спрашивает Полина, разворачивая котлеты.

Майя не отвечает, только смотрит, а Полине от ее взгляда вдруг делается стыдно.

— Я... вот... котлеты, все домашнее... Будешь? С пылу, с жару... — бормочет она.

— Ты нашла «стрелку»? — строго говорит Майя.

Опять! Каждый раз, стоит Полине прийти в больницу, у Майи это первый вопрос. И в записке, которую писала тогда, перед тем как наглотаться проклятого снотворного, тоже — только про брошку: мол, взяла, взяла и потеряла, пойдй поищи в сквере у гостиницы.

Ходила Полина в тот сквер, ничего, конечно, не нашла, но до брошки разве теперь!

Полина простить себе не может тот вечер — несла чепуху про воров, про крыс идиотских, а потом еще лучше: пошла давать советы. «Плюнуть и растереть!» На чужую беду всегда легко плюнуть... только самое-то обидное, что, похоже, беды у Майки никакой не было, не виноват Игорь... Во всяком случае, ни в чем серьезном не виноват. Конечно, Полина ни о чем его не спрашивала, да что спрашивать — и так все видно. Никто ему, кроме Майи, не нужен. Вот хоть и сейчас — глядит на нее, а у самого слезы в глазах.

— Ты «стрелку» нашла? — повторяет Майя уже с раздражением.

— Нашла, нашла. А как же! Я ж тебе сто раз... Прибегаю — лежит...

Майя медленно поворачивается к мужу:

— Что Лариса?

— Сочинение написала. Пятерка. Хотел ее сегодня к тебе привезти, но подумал...

— Бережешь? — перебивает Игоря Полина. — А зря! Хорошенькое дело — взрослую девку к родной матери не пускать. Охраняем их от отрицательных эмоций, а потом сами же плачем: эгоисты растут.

Майя не слушает. Она смотрит на Игоря, и из ее широко раскрытых глаз выкатываются две слезинки. Она берет мужа за руку и его ладонью закрывает себе лицо. Потом начинает всхлипывать, сперва тихо, жалобно, потом все громче. Игорь бледнеет, беспокойно оглядывается, ищет глазами сестру. Полина осторожно обнимает Майю за плечи, плечи вздрагивают.

— Ну, Майка, Майка... — уговаривает Полина, — все будет хорошо, все будет... Игорь, скажи ей! Майка, Игорь вам путевки купил на июль. По Волге. Каюта «люкс». Майка!

Майя кусает губы, сжимает в кулак — аж костяшки белеют — левую руку, а правой все крепче прижимает к лицу Игореву ладонь. Сил нет смотреть! Полина встает.

— Не реви! — говорит она строго. — Сестра услышит, нас выгонят. Я пойду, я — продукты в шкаф... Майя, запомни: там кефир, компот, апельсины две штуки... Майка, слышишь?

Майя не отвечает, она стонет, точно у нее что-то болит. Стонет и раскачивается. Взад-вперед. Как китайский болванчик у Игоря на столе в кабинете. В прошлом году привез из-за границы какой-то не то академик, не то артист, словом, Коля-Петя-Вася, теткина жизнь!

Домой Полина едет на троллейбусе, Игорь остался разговаривать с завотделением. Майю увела сестра, делать укол. Троллейбус медленно плывет вдоль тротуара, за бульваром — Нева, вода черная, вся в «гусиной коже», холоднющая, а на деревьях уже листья, и трава зеленая. Вон и одуванчик распустился, а там — еще... Погода погодой, а растения свои сроки знают. Хоть бы за город скорее, в Лугу... По траве деловито прохаживается скворец...

Полина едва успевает добежать от остановки до своего дома, как ударяет град, частой дробью бьет по асфальту, по глубоким лужам, по веткам тополя. Да такой крупный, убойный, каждая градина с боб! На улице темно, прохожие бегут, судорожно раскрывая на ходу зонты, бросаются к парадным, прячутся под навесом универсама напротив.

В квартире пахнет табачищем — не продохнуть. В кухне на столе полная пепельница. На газу кипит чайник, давно, видать, кипит — вся плита залита водой. Спасибо — не распаялся!

Полина выключает газ, выходит в переднюю, снимает плащ, туфли. А это еще что?!

— Женька!

Ни звука. Конечно, так и есть: разлеглись в обнимку на диване, а Полинина домашняя туфля — вот она! — сожрана вчистую! Хорошо — домашняя, эта собака и выходными не побрезгует. Хозяева! Туфли испортили, чайник чуть не загубили, на кухне — бой в Крыму. Полина подходит к окну. Батюшки! Снег! Настоящий снег! Конец света: пустырь напротив белый, только одуванчики торчат.

— Женька!!

Проснулись. Тоффи прыгает с дивана на пол и сразу делает лужу.

— Евгений, убирай за своим. Вставай, слышишь?

Вскочил мгновенно, схватил тряпку, однако, вытерев пол, опять укладывается на диван — руки за голову. Полина садится рядом.

— Устала. Туда сходишь — как будто мешки неделю грузила. А вы тут что делали? Верней, что Тоффи делал, я знаю, а ты?

Тоффи, точно понял, тоненько лает в передней.

— Я? Да так... Попробовал тут... сочинять. Если можно так выразиться.

— Ну и...

— Создал один опус: «Лес — твой друг и зеленый кров, не разводи в лесу костров».

— То, что надо! Чего ты так смотришь? Надо — значит надо. Скажи спасибо своему Князеву, что хоть такую работу тебе нашел. Ведь последние же ботинки донашиваешь! А это, что ни говори, по специальности...

— Полагаешь — по специальности? Ну, спасибо... А может, все-таки лучше бы наняться бочки грузить?

— А, отстань ты, надоел со своим нытьем! Пойду чай подогрею — остыл.

Полина ставит на огонь чайник, вынимает чашки, достает сыр из холодильника. Открыть еще сардины, что-ли, есть охота. Или котлеты разогреть?

— Жень!

Не отвечает. Опять заснул?

В передней Полина чуть не наступает на Тоффи. Щенок разлежся под вешалкой и — теткина жизнь! — самозабвенно грызет Женькин ботинок. Второй лежит рядом. Готовый.

Полина проснулась в начале шестого от холода. Дверь на балкон — настужь, а теплое одеяло отдала вечером Евгению, сама укрылась байковым. Да и матрасик — прямо скажем. . . Для святых угодников. Вот так и живем, валяемся на раскладушке, как бедные родственники, в собственном доме. А поделом — дураками только пни сшибать. Зато Женька на диване буржуем. . . Полина повернулась — нету Евгения на диване, курит, небось, на кухне, в комнате она запретила.

Она слезла с раскладушки, стащила с дивана ватное одеяло, а байковое бросила туда. Снова легла. Перебьется Женечка, не замерзнет, с собакой тем более. Ему-то что, может хоть до двух часов в кровати байбачиться, а тут через два часа на работу. Слава богу, сегодня получка, а то за квартиру, за свет-газ не плачено, да еще старый долг висит — за сапоги. Евгений явился из своей Луги без копейки, когда заплатят за стихи для щитов — неизвестно. Про другую работу, в совхозе, молчит, а Полина не спрашивает.

Седьмое июля, лето, считай, прошло, а Полине всего раз и удалось съездить за город, к Евгению: в июне вкалывала без выходных — конец полугодия, а тут отпуска, все, у кого дети, конечно, гуляют, а Колесникова, как обычно. . . И в ночную смену пришлось выходить, и с утра до позднего вечера торчать. Куда денешься, работа есть работа. А с сегодняшнего дня в цех, мастером на целый месяц. И хорошо, с другой стороны: когда занят, всякая дурь в голову не лезет. И жалеть себя некогда. . . Да и не за что жалеть — здоровье есть, это главное, а то как вспомнишь про Майку. . . Сейчас-то уже ничего, грех жаловаться, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Выписалась, уехали всей семьей отдыхать. Вернее, уплыли — на теплоходе по маршруту Ленинград — Астрахань. Вернутся двадцатого, а с первого августа у Ларки экзамены в университет. Майя не хотела ехать — девчонке надо заниматься, консультации, репетиторы, а Игорь настоял: «Твое здоровье главнее ее поступления, ей в армию не идти, не примут в этом году, примут в следующем». Вот у них теперь как! . .

В день Майкиной выписки Игорь Михайлович сделал Полине одно предложение, да такое, что хоть стой, хоть падай: перейти к нему в объединение главным технолог завод. Вместо Поликарпова — тот защитился, пере-

водят в институт. На слова Полины, мол, не утверждают в кадрах, где это видано, чтоб ведущего инженера со стороны — сразу в главные технологи? — Игорь только рукой махнул: «Не твоя забота, я сейчас временно и. о. генерального, так что уж как-нибудь... Давай, бери расчет и устраивайся». Хорошее дело: «бери расчет!» Игорь-то, конечно, добра желает, спасибо, а работать как? Людьями руководить — тут особые нужны способности. И опыт. А еще любовь к этому делу. Там у них, в отделе главного технолога, Игорь сказал, семьдесят человек народу, и половина из них мужики... Конечно, справиться кое-как можно, только... именно, что «кое-как». Соблазнительно, кто спорит! «Главный технолог Колесникова» — звучит. И зарплата вдвое больше. Это один раз в жизни бывает, чтоб такая возможность...

Полина думала всю ночь, всё перебрала, все «за» и «против». И отказалась: поздно уже карьеру делать, да и ни к чему. Лучше быть приличным ведущим, чем каким попало главным технологом. Тем более назначенным по благу. Ведь по благу же, чего тут! Отблагодарить хочет. А на черта она, эта благодарность, за государственный-то счет? Боком выйдет. Ну, какой, если разобраться, из нее начальник? Смех один! А у себя на заводе Полина Васильевна — человек. Проработала на одном месте чуть не двадцать лет, это что-нибудь значит или нет? Как говорят: «где родился, там и пригодился». Так она и сказала Игорю. Тот, ясное дело, кричать, спорить. Чуть не разругались, Майя выручила: «Оставь Полину в покое, это ее дело». Игорь и замолчал.

Так и не вышла Полина в огромные начальники. Что ни делается, то к лучшему, верно ведь?

Да где же он, Женька-то? Сколько можно табаком травиться?

Полина встала и отправилась на кухню. Так и есть — полно дыму, вон животные в клетке аж мечутся. Называется: «творческий процесс». Евгений за столом, бледный какой-то, жеваный. И злющий: вошла, даже не посмотрел. И пес, конечно, тут же, лежит рядом, дышит отравой.

Полина открыла форточку. Теплый влажный воздух пах почему-то паровозной гарью. Издалека, с шоссе, доносился грузный и монотонный шум тяжелых автомашин. Зашипели колеса — по проспекту воровато бежал не то слишком ранний, не то запозднившийся троллейбус. Вид

у него был неопрятный и пришибленный, даже дуга вбок, точно у пьяного.

Полина покосилась на Евгения: не пишет. Дождидается, когда она уйдет. Сидит, насупился, рожа упрямая, глядит в свою бумажку, а там три строки, и те перечеркнуты, а рядом нарисован кот с большими усами.

— Ну, чего? — спросила Полина. — Как успехи в творчестве?

— Блистательно. — Головы так и не повернул.

— Кофе сварить?

Не ответил. Отпихнул листок и поднялся. Подошел к раковине, взял из сушилки стакан, налил из-под крана воды и выпил. Сказал, что собаку перед работой выводить не надо — они недавно ходили. Потом тут же, у раковины, стал читать стихи. И все незнакомые. Говорил будто с трудом, губы кривились, голос звучал глухо. Полина постояла, послушала, потом осторожно присела на край табуретки.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...

У Полины аж горло стиснуло, до того почему-то делалось вдруг его жалко...

...Как вода в новгородских колодцах должна быть черна  
и сладима,  
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда...

Она сидела, не двигаясь, замерев, а Евгений все говорил. С улицы вдруг ворвался крик воробьев, проснулись на карнизе и заверещали враз, хором.

...Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе  
И для казни Петровской в лесах топориче найду.

Он замолчал. Смотрел на Полину, ждал чего-то. Лицо странное — не то злое, не то печальное, испуганное даже. У него никогда не поймешь.

— Здорово, — сказала она, — нет, правда! Мне лично так очень даже понравилось. Эти лучше, чем раньше. Ты у нас, Женечка, молодец.

Евгений приподнял брови, усмехнулся:

— Понравилось, говоришь? Молодец? Ну, спасибо, ну, утешила. «Лучше, чем раньше»...

И вдруг прошипел, дергая ртом и бледнея:

— Это Мандельштам, ясно тебе? Не слыхала про такого?

И рванулся в переднюю. С грохотом упала табуретка, на секунду притихли под окном воробьи. Тоффи вскочил и побежал было следом, да не успел — хлопнула дверь.

Стоя возле стола, Полина слышала, как загудел лифт. Она провела рукой по лбу, поправила волосы. Потом взяла пепельницу и выбросила окурки. Хотела выкинуть и листок с котом, да передумала, отложила.

Крысы суетились в своей клетке. Накрошила им булочки, налила в розетку воды. Дала кусок хлеба с маслом Тоффи — отвернулся. Ушел под стол и лег.

Небо за окном было уже голубым, остервенело орала воробьи. В соседней квартире, видно, открыли окно — отчетливо слышалось радио. Голос диктора звучал бодро и празднично.

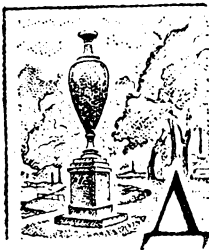
Она вернулась в комнату, отдернула занавески. Крик воробьев стал еще яростнее. Внезапно они сорвались с карниза и всем скопом, тучей, пронеслись мимо балкона.

Ровно в семь пятнадцать Полина вышла из дома.

## ЦВЕТНЫЕ ОТКРЫТКИ

Но в плеске твоих мостовых  
Милы мне и слякоть, и темень,  
Пока на гранитах твоих  
Любимые чудятся тени,  
И тянется хрупкая нить  
Вдоль времени зыбких обочин,  
И теплятся белые ночи,  
Которые не погасить.

*А. Городницкий*



I

Дорофеев лежал еще минут пять, в подробностях обдумывая план предстоящего дня. В купе было полутемно. Мерно позвякивала в пустом стакане ложка. Сосед, как ни странно, тихо и ровно дышал, лежа на спине. Дрых, негодяй. Выражение лица его было умильно-младенческим, и не поверишь, что всю ночь этот тип оглашал вагон взрывами храпа. Дорофеев сперва пытался бороться: цокал в темноте языком, зажигал и гасил ночник — храпун испуганно затихал, но тут же заводил с новой силой. Чертыхнувшись, Дорофеев повернулся к стене и вдруг заснул.

Сейчас, покончив с планом, он приподнялся на локте и поднес руку с часами к окну — там, между опущенной с вечера шторкой и нижним краем, имелась небольшая щель. Все точно, до Ленинграда — ровно час.



В Ленинград Дорофеев ездил только в двухместном куте — расход невелик, а для душевного равновесия и самоуважения обязательны две вещи: посильный комфорт и точный, заранее составленный план действий на день. План избавляет от унижительной необходимости суетиться, спешить, подводить кого-то, опаздывать, а поэтому — непременно волноваться и ненавидеть себя за бестолковость. Дорофеева всегда раздражали люди, которые торопятся, те, кто не умеет организовать свое время, — серьезный и малоприятный для окружающих недостаток.

Стараясь не разбудить соседа, Дорофеев поднялся и пошел мыться, а когда вернулся, поезд уже лихо отшвыривал частые пригородные платформы. День, похоже, намеревался быть жарким, небо в дымке, у дачников, скопом выгружающихся из встречной электрички, потный, распаренный вид. Это — в восемь утра! И собака, уныло трусящая вдоль полотна, тяжело вывалила язык. Трава сухая и пыльная, а в Москве, уезжали, моросило.

Поезд проскочил Колпино. Дорофеев сидел, обдумывая: стоит ли сейчас, сразу, звонить Инге. Решил не звонить — начнутся уговоры немедленно приехать, а он наметил: завтра. А сегодня — Петергоф, что бы там ни бубнил Володька Алферов.

За окном уже двигался город. Дорофеев не спеша убрал в портфель дорожный несессер, футляр с очками, журнал, который читал перед сном. В коридоре толпились загодя собравшиеся пассажиры, в пиджаках, с чемоданами. Сосед тоже не выдержал — простился, взял портфель и ушел. Типичный провинциализм — будто все они едут до полустанка, где поезд стоит полминуты. Ленинград, хочешь не хочешь, постепенно делается провинциальным городом. Дорофеев надел пиджак только тогда, когда мимо окна, замедляясь, поехала платформа. Поезд остановился. Дорофеев неторопливо и тщательно пригладил волосы, положил на столик десять копеек за чай и через опустевший вагон вышел на платформу, кивнув на прощание проводнице.

Народу на перроне было немного — «Стрелу» встречать не принято. Зычно выкрикивая старорежимное «поберегись!», пробежал носильщик, толкая перед собой тележку. На ней громоздились щегольские чемоданы с пестрыми наклейками и сумки из «Березки». Прошла высокая, худая девушка, держа перед собой, как свечу,

алый тюльпан. Дорофеев брел по платформе, высматривал Володьку: не иначе проспал, поспать — это он любит.

Впервые за последние четыре года Всеволод Евгеньевич Дорофеев приехал в Ленинград не в командировку, а по личным делам. Неделю назад позвонил Володька Алферов, школьный приятель, сказал, что решили в кои веки собраться классом, — в этом году, как-никак, тридцать лет со дня окончания. Собираются у Марка Соля, у того, плюс ко всему, еще юбилей — первое пятидесятилетие в классе.

— Соль ведь у нас этот... второгодник, помнишь? А мне оргкомитет поручил доставить столичную штучку — профессора, обеспечить, короче, твою явку. Будешь высоким... там... гостем, а то, говорят, зазнался, никто тебя не видел последние сто лет...

Что поделать — Володька был прав, почти ни с кем из класса Дорофеев действительно не общался лет, по крайней мере, двадцать, а уж последние четыре года, с тех пор как переехал в Москву, — точно ни с кем. С Володькой встречались, когда тот изредка наезжал. Остановливался Володька всегда у Дорофеева в Сивцевом Вражке, а сам Всеволод Евгеньевич, бывая в Ленинграде, предпочитал гостиницы — комфорт, свобода и никого не стесняешь. Но в этот свой приезд обещал — к Алферову, уж больно тот напирал и бил на жалость; только что развелся, один, как проклятый, пустая квартира, а гостиницы летом все равно не достанешь.

Всех-то дел было у Дорофеева в городе, где он родился: юбилей выпуска да встреча с Ингой, бывшей женой, — дважды звонила ему в Москву, и домой и в институт: надо срочно переговорить, нет, разговор не телефонный, с сыном не порядок, крайне серьезно... если говорю, значит, серьезно! Ты меня знаешь, зря панику из-за пустяков я поднимать не стану.

А кто же тогда станет? Тем более из-за Антона! И сколько раз поднимала за двадцать лет его жизни. Уколол палец — срочно врача, да не какого попало, а хирурга, профессора, светило из светил, иначе верный сепсис. А непрерывный Валериан Михайлович? Знаменитый педиатр (и конечно, самый дорогой, вроде зимнего рыночного помидора: «Тебе жалко денег на Ребенка?!»)? Шестнадцать лет Дорофеев честно терпел, молчал, когда хотелось спорить, в отпуск ездил врозь с женой — по оче-

реди пасли Антона в Анапе, Дорофеев — июнь, Инга — июль, а на август нужно непременно — непременно! — снять дачу, маме ведь запрещено на юг, а Валериан Михайлович сказал: только в Комарово, там микроклимат — море, песок и сосны. Сосны, море! И песок!

Дорофеев быстро усвоил: возражать жене и теще, когда речь идет об Антоне, — пинать босой ногой ульи, полные пчел. Усвоил и подчинился. И только удивлялся, что сын, несмотря на бешеные усилия сделать его монстром, растет нормальным, спокойным человеком. Четыре года назад Антон получил паспорт, это совпало с домашним скандалом и очень кстати подвернувшейся возможностью перевестись в Москву, где Дорофеев давно мечтал жить. Сразу давали квартиру. Инга, конечно, заявила: «Поезжай. Нам ты не нужен, я уже подала на развод». А старая тетка, сестра матери, живущая в Москве на Кропоткинской, люто ненавидящая Ингу и ее «мамашу из бывших», наскоро поплакав об Антоне, так взялась за дело, что Всеволод Евгеньевич и опомниться не успел, а уж его новая, только что полученная квартира в Ясенева была с небольшой доплатой обменена на однокомнатную в самом центре, в Сивцевом Вражке. И до тетки пять минут ходьбы нога за ногу. Вселившись холостяком в эту квартиру, наведя там свой порядок и уют, Дорофеев, стыдно признаться, почувствовал себя, несмотря на все, что предшествовало переезду, на разлуку с сыном, которого любил, неприлично спокойным, даже счастливым. А отношения с Антоном стали в чем-то лучше без постоянного надзора бабушки и матери. К счастью для Дорофеева, Инга считала контакты с отцом «необходимыми для нормального развития личности ребенка», и каждые каникулы Антона они теперь проводили вместе, вдвоем. Только нынче, досрочно сдав экзамены за третий курс, Антон улетел на все лето на Север с какой-то экспедицией, а Дорофеев впервые в жизни решил взять на август путевку в Кисловодск.

Удивительно, что за эти четыре года жизни в Москве Дорофеев ни разу не почувствовал одиночества, напротив, был, в общем, всем доволен. Потому что — свободен. А мелкие неприятности — что ж... Вот хоть сейчас — эта идиотская история с диссертацией проходимки Ронжиной. От этой истории он, честно говоря, и сбежал на два дня в Ленинград. Глупо, конечно, — время в другом го-

роде течет с той же скоростью, отзыв должен быть готов в понедельник, но почему-то отъезд казался длительной отсрочкой. Может, потому, что в Москве всю последнюю неделю постоянно звонил телефон и кто-нибудь укоризненно гудел в ухо: «Я слышал, вы там собираетесь валить Лосева? Эта Ронжина ведь как будто его аспирантка? Дело, разумеется, не в ней, но знаете, просто не могу себе представить, чтобы вы. . . Жаль старика, удар-то по нему, вряд ли перенесет. И вас жаль. Учитывая ваши с ним отношения. . .»

Дорофеев знал, что обязан написать и напишет, конечно, отрицательный отзыв, но знал он и то, что воткнет тем самым нож в спину. Не Ронжиной, эту мразь в науку пускать преступление, а собственному, можно сказать, учителю и благодетелю профессору Лосеву, милому семидесятилетнему старику, которому многим обязан (кстати, и местом в московском институте тоже).

Алферова Всеволод Евгеньевич встретил только дойдя до первого вагона. Поглядывая исподлобья своими медвежьими глазками и косолапо ставя ноги, обутое в пыльные ботинки, тот медленно ковылял по платформе. Как обычно, в первый момент Володька показался Дорофееву несуразно большим, а сегодня еще и старым. И каким-то несвежим — на толстых щеках суточная щетина, брови всклокочены, рубашка измята.

— А ты, брат, пижон. . . этот. . . иностранец. Плейбой какой-то, — одышливо бубнил Володька, отбирая у Дорофеева портфель. — Смотрел тут тебя по телевизору, позавидовал. Брюха. . . там. . . гад такой, никак не нагуляешь, а я все жду не дождусь, когда. . .

Упруго и легко шагая рядом с ним по перрону, Дорофеев чувствовал себя бодрым и подтянутым. И по-столичному элегантным в новом светлом костюме.

. . . Двухкомнатную Володькину квартиру на Большой Зелениной против садика Дорофеев знал еще со школы. Он и сам тогда жил неподалеку, на углу Щорса и Ропшинской. А вот не бывал здесь давно, даже не успел познакомиться с Тамарой, последней Володькиной женой. Супружество продолжалось года три, а месяц назад Тамара ушла. Дорофеев не стал спрашивать, почему, как да что. Двух предыдущих своих жен Володька бросил сам и, собравшись жениться в третий раз, смущенно говорил: «Что поделать, люблю это мероприятие».

В квартире, где при Володькиной матери всегда было чисто — везде вышитые скатерки, салфеточки, тюлевые

занавесочки, — теперь царили запустение и беспорядок. В комнатах пусто, пыльно и, несмотря на распахнутые окна, душно. С улицы доносился шум, бестолково летали тополиные хлопья. На выгоревших обоях — темные четырехугольнички. Вот здесь висела, помнится, картинка, а тут явно стоял книжный шкаф, вон и книги стопками на письменном столе, на подоконнике, даже на полу. Все медицинские, по психиатрии.

На кухне, в раковине, заскорузлые тарелки, обгоревшая кастрюля, залитая водой, у двери — батарея запывшихся бутылок.

— А... того. Времени нету, — с вызовом в голосе сообщил Володька, поймав взгляд Дорофеева. — Я ж тебе толкую: работы во! Бегаю, сам уже стал как пациент-хроник. Лето же... эти... отпуска. Пашу вот на полторы ставки — работать некому, а... да чего там!..

— Ну! — раздраженно торопил Дорофеев.

— Не нукай, не запрягал, — добродушно откликнулся Володька, поднимая с полу смятый бумажный пакет из-под кефира и зачем-то водружая его на стол. — Говорю ж, работать некому, вот и устаю, ночью особенно, возраст, видно... уже...

— Постой! Почему это — ночью? Ты же заведением, начальство.

— Ага. Был... Побыл, и хватит. Поигрались.

Дорофеев решил лишних вопросов не задавать, — захочет объяснить, сам скажет. Он взял с подоконника пустую сетку, пихнул в нее кефирный пакет, а потом принялся решительно заталкивать одну за другой бутылки. Володька, стоя рядом, молча наблюдал, потом спросил:

— Ты это... чего? Куда собрался?

— А на помойку, друг мой, на помоечку. Есть такое место, куда выносят мусор вместо того, чтобы копить его в квартирах. Никогда не сталкивался?

Дорофеев непреклонно вынес бутылки во двор и с грохотом высыпал в бак. Когда он вернулся, вбежав на четвертый этаж через ступеньку, Алферов спал в кресле, приоткрыв рот и распустив толстые губы. Выглядел он усталым и обрюзгшим, и Дорофееву вдруг напрочь захотелось идти к Солю на этот его юбилей, он же Вечер Встречи. Поздно уже встречаться, дурачьё! Спихватившись через тридцать лет, вот радость-то будет глядеть на старые рожи и понимать, что ведь и ты сам, что бы там себе ни воображал, точь-в-точь такой. И говорить не

о чем, бывал Дорофеев на таких посиделках, и не через тридцать лет, а поменьше — на институтских «традиционных сборах»: «Ты где? Защитился?» — «Я тоже защитился. А Сысоев не защитился». — «Тебе сколько платят?» — «Дети есть? А внуки?» — «А Симаков не защитился, помер Симаков, — не слыхал?» Вот и вся тематика... А тут — шутка ли, тридцать лет! Целая жизнь прошла, у каждого его главное уже совершилось, остались одни юбилеи. Да похороны. Может, лучше побережся, не выискивать старых приятелей, меньше будет потом гражданских панихид?..

Дорофеев посмотрел на Володьку (тот сделал рот дудочкой и блаженно засопел), наклонился и стащил с его ног башмаки. Володька замычал, пошевелил пальцами, но продолжал спать, а Всеволод Евгеньевич навел в комнатах и в кухне относительный порядок, даже пол подмел мокрым веником. А потом отправился в душ. Горячей воды, разумеется, не было — «не в театре», но мы на ихние ремонты и прочую экономию плевали, мы — ребята здоровые, нам холодная вода только в кайф. Крякая, он вымылся, вытерся, затем въедливо изучил в зеркале свое голое по пояс отражение. Настроение резко улучшилось. Ни черта! Впереди поездка, Петергоф, спокойная, красивая прогулка. А Соль и остальные-прочие... Как они — еще поглядим, а мы — вполне, весьма и весьма. Седина?? Ни фигá! От нее пока только элегантность и шарм. Мешков под глазами нет, и мускулы на своем месте.

Дорофеев согнул руку в локте, напряг мышцы и развеселился окончательно.

В Петергофе было прекрасно. Именно так, как мечтал Дорофеев. Он прошел намеченным заранее маршрутом через безлюдный Пролетарский парк, через дубовую рощу, мимо озер — к шоссе, пересек его и очутился в Александрии. Здесь уже попадались гуляющие, но в пределах разумного. Выйдя по широкой аллее к коттеджу Николая Первого, Дорофеев постоял над косогором, потом медленно спустился и пошел к заливу. Солнце уже пекло основательно, с пляжа тянуло водорослями, озабоченные толстые чайки на газоне были похожи на стадо овец.

В нижнем парке у фонтанов оказалось, конечно, полно народу. Деловым шагом Дорофеев устремился прямо в ресторан и, постояв всего десять минут в очереди, во-

шел в прохладный зал, где с большим удовольствием съел полный обед — салат, зеленые щи, антрекот и мороженое. И пива взял.

Теперь в свободном, продуваемом сквозняком вагоне электрички он рассеянно посматривал в окно, а перед глазами вставали, точно цветные открытки, яркие, глянцевые петергофские пейзажи.

Время уже к шести. С вокзала — прямо к Володьке, это будет семь, а в восемь — к Солю. В общем, пока все по плану. . . Но какой у Володьки все же хлев в квартире. И духота. . . Безо всякой связи Всеволод Евгеньевич вдруг отчетливо представил себе свой кабинет в институте, — чисто, нарядно, светло, на столе бесшумно крутится вентилятор. Вообще Москва отсюда виделась уверенной, беззаботной и праздничной. . . А «вечер встречи» этот, конечно, пройдет в уныло-провинциальном духе. Ничего, — как это теперь говорят? — перетопчемся! Завтра — домой! В понедельник утром он войдет в свою квартиру, где чистота, где летом всегда прохладно, потому что перед домом растет большое дерево и ветки его заслоняют окна от солнца. Войдет, примет душ, выпьет кофе и позвонит тетке, потом. . . А потом сразу в институт. Да, в институт! И первым делом продиктовать машинистке отрицательный отзыв на ронжинскую пакость. Слюни по поводу Лосева придется попридержать. Допустим, старика, и верно, попрут на пенсию. Что ж. . . В конце концов, рано или поздно это случается со всеми. . . Любишь молодых красоток — люби, дело твое, но почему из-за этого должна страдать работа?.. За все приходится платить, никуда не денешься. . . Итак — отзыв. И не просто отрицательный — разгромный! Какой заслужила! В двенадцать часов она за ним явится. Сама (не положено, но — сама). Войдет, нетерпеливо постучав и не дождавшись разрешения. Улыбнется своей заносчиво-нагловатой улыбкой: «Дать отрицательный отзыв не посмеешь, кишка тонка. И не притворяйся ужас каким принципиальным, для которого Чистая Наука — все. Таких нынче не бывает, и давай не будем валять дурака. Усек?»

Скажет она при этом что-нибудь небрежно-корректное: «Готово? Спасибо. А Петр Алексеевич просил передать привет. И чтобы на защиту пришли, очень, очень, очень ждем». В текст отзыва при этом даже не посмотрит — само собой разумеется, там ведь одни похвалы, а как же еще? Ничего, славная моя, будет тебе сюрприз!

Впервые эту Ронжину Дорощеев увидел в своем кабинете года три назад. Тогда она еще не занимала привилегированного положения при дворе его высочества Петра Алексеевича Лосева, не определилась, не решила, на кого «поставит» — на своего маститого, но старого (на излете!) научного руководителя или, может, — чем черт не шутит? — и на Дорощеева, молоджавого доктора из головной организации, где, хочешь не хочешь, придется брать отзыв, когда работа будет закончена.

Вошла она, помнится, довольно робко, в глаза заглядывала с ласковой готовностью, но села нога на ногу, и не к столу, а поодаль, чтобы дать Дорощееву возможность разглядеть всё, что нужно: голова склонена к плечу, красивая, длинная шея, и опять же ноги... (о!) и светлые, блестящие волосы, причесанные изяшно, но скромно, как подобает будущему ученому. И в подведенных прозрачных глазах преданность Науке. Как таковой.

Дорощеев отдал должное и фигуре, и модному платью, и французским духам. И трепету в голосе, когда обращалась с вопросами. Что это были за вопросы? Ерунда какая-то! Ответы она свободно могла найти в любом справочнике, но Дорощеев тем не менее отвечал, уставясь в ее широко открытые серые глаза, с большим даже энтузиазмом отвечал, не просто так, формально, а с шутками-прибаутками, улыбками и принятием поз. Ронжина мгновенно это уловила, и лицо ее стало восторженным. Юбку она задрала еще выше, но Дорощеев заметил это не сразу — увлекся разговором, даже формулы какие-то стал писать. Внезапно подняв голову, он с ходу налетел на ее взгляд, в котором в эту минуту была жесткая, оценивающая пристальность, тотчас, впрочем, сменившаяся прежним выражением восторга.

Но он уже увидел. Все-таки онахватила лишку, за дурака его посчитала, перебрала.

Видимо, у него изменился тон, и Ронжина мгновенно сориентировалась, одернула платье и приняла скромный вид школьницы, беседующей с любимым учителем о внеклассном чтении. Молча дослушала, встала и учтиво поблагодарила. И пошла к дверям, старательно демонстрируя походку манекенщицы. На пороге задержалась и с невиннейшим лицом сказала, что полученная консультация оказала ей не-о-це-ни-мую помощь! И ей очень-очень! хотелось бы продолжить разговор. Но она, конечно, понимает: и так отняла массу времени, и вообще...



После этого она звонила еще: «Я просто так, узнать, как вы... Нет, почему же «без дела»? У меня накопились вопросы... Нет, по телефону сложно. А сегодня вечером вы очень заняты?.. Какая жалость! Простите, ради бога, что побеспокоила, но если бы вы смогли... я тут рядом живу...»

Дорофеев был холоден — что за дела? Да будь ты хоть супер-сексбомба! До такого мы еще не докатились, а ежели что, где-нибудь кого-нибудь да отыщем и рассчитывать будем во всяком случае не ученой степенью кандидата наук за счет рабочих и крестьян.

Однако больше звонков не последовало. И вообще Ронжина вдруг исчезла.

А появилась только недавно, этой зимой. Вошла в кабинет, не спросив разрешения, очень деловая, всем своим видом демонстрируя, что с Дорофеевым она теперь почти на равных. У Дорофеева шло совещание, но это ее не смутило. На его вопросительный взгляд строго сказала, что — от Петра Алексеевича, тот просит срочно дать рецензию на статью. Их совместную статью.

Надо было выставить нахалку за дверь до конца совещания, но неловко, дама как-никак. И опять же от Петра Алексеевича! Коллеги пялились во все глаза, хотя сегодня Ронжина выглядела куда менее эффектно, почти без косметики (ресницы-то, как выяснилось, рыжие), какая-то патлатая, видимо, войдя с улицы, не потрудилась навести марафет, не сочла теперь Дорофеева достойным.

Прервав совещание, он взял статью. Так и есть: по ее теме. Подписи — «Лосев, Ронжина».

— Оставьте, я посмотрю.

— Пэ. А. очень просил не задерживать. Завтра утром статья должна быть сдана в печать.

Директивно до невозможности. И Лосев ей, сыроежке, уже, видите ли, «Пэ. А.»!

— Оставьте! — повторил Дорофеев раздражаясь. — Сейчас я занят.

Дернула плечиком и пригрозила, что непременно зайдет в конце дня.

Дорофеев скомкал совещание, прочитал статью, кое-что в ней исправил и скрепя сердце сочинил короткую рецензию, в общем положительную, но с замечаниями. Честно говоря, статейка была довольно ничтожная, так — компиляция и кое-какие крохоборские данные. Но ведь «Пэ. А.» же, черт возьми!

Ронжина, явившись ровно в пять, пробежала рецен-

зию глазами, сделала гримасу и сказала, что замечания совершенно не по делу! «Петр Алексеевич считает...» Главное было в подтексте: Петр Алексеевич, неплохо бы помнить, — заслуженный деятель науки, известнейший ученый и твой благодетель.

В тот же вечер Всеволод Евгеньевич позвонил Лосеву и изложил все, что думал, по поводу его «из молодых, да ранней» аспирантки. Дескать, и статья не ах, а уж сама Ронжина — беспардонная, невоспитанная и, по видимому, бездарная девица. Ответом была полная мороза пауза, после которой Дорофеева сухо поставили в известность, что Лариса Петровна исключительно талантливый молодой ученый, которому должно всемерно помогать. Как в свое время помогали другим молодым ученым... Да-с... А беспардонность — это, прежде всего, неблагодарность, увы, весьма распространенная в наше время болезнь, не-бла-годарность, такая беда...

Как-то так вышло, что с тех пор Дорофеев почти перестал бывать у Лосевых. Но все-таки еще заглядывал иногда, до тех пор, пока однажды не встретил там Ронжину, с хозяйским видом разливающую чай за столом. Держалась она как своя и снисходительно посматривала на Светлану Лосеву, которой годилась в дочери. Та делала вид, что так и надо, гости кисло терпели, а «Пэ А.», судя по всему, блаженствовал, Дорофееву стало противно, и больше он к Лосевым не ходил, ссылаясь на занятость. А те не особенно-то и звали.

И вот теперь встал вопрос с этой трижды проклятой диссертацией. Экспериментальные данные дай бог если не подтасованы, в расчете — ошибки (про которые благодетель с академическим апломбом сказал: «блохи»). В общем, о чем толковать... Но удар придется не только по Ронжиной, но и по Лосеву, по человеку, которому ты, Дорофеев, всем обязан, по заведующему кафедрой... пока еще заведующему, по председателю Совета, не мыслящему жизни без своих заседаний, совещаний, должностей, званий, почета и привилегий. Все это надо помнить. А достойного выхода вроде и нет: в одном случае делаешь гадость науке и плюнешь тем самым в физиономию самому себе, в другом — будешь жить с ощущением, что погубил своего старого учителя, спасибо ему за это большое, черт бы его побрал!

...А ведь был же, существовал совсем другой Лосев, не этот взбалмошный, упрямый старик с повадками директора департамента, а тот Лосев, которого они с Анто-

ном совершенно неожиданно встретили позапрошлым летом на Кавказе, поднимаясь по диковатой горной дороге. Профессор сполз с отвесной кручи, ловко цепляясь за колючие кусты. Был он в драных тренировочных штанах, вытянувшихся на коленях пузырями, застиранной футболке и кедах. На голове убор, самодельно изготовленный из носового платка с узелками по углам, в руке ведро. Узнав Дорофеева, Лосев величественно поздоровался, будто встреча произошла где-нибудь на симпозиуме, но тут же принялся беспокойно озираться, вертя маленькой головой на тонкой шее (того гляди, вывинтится из воротника). Потом спросил, куда ведет дорога, и не поверил, узнав, что в Гагру: «Невероятно! Я вышел из Пицунды, а это же дьявольски далеко. Свернул с шоссе в горы. . . Заблудился, стало быть, вот незадача! Представьте: отправился сегодня на рассвете за кизилом, и здрасьте-пожалуйста! В следующий раз нужно брать с собой компас!»

Дорофеев заглянул в ведро — в самом деле, на три четверти оно было заполнено ягодами. И как старый черт ухитрился столько набрать, да еще таскал весь день по горам? После некоторой борьбы — «Пустяки, я привык, а вес, то бишь масса — тьфу!» — Антону удалось отнять ведро, и они пошли вниз. Лосев еле ковылял, загребал ногами, но всю дорогу тархтел. Пораженный Дорофеев (не привык к такому Лосеву) узнал, что профессор живет в Пицунде один:

— Светлана в Карловых Варах, а я, знаете, не люблю, а тут я прекрасно устроен, отличный санаторий, номер, правда, достался на двоих и сосед — большой чудак, боится, представьте, улиток. . .

— Кого?!

— Улиток. Я, знаете, насобирал в лесу, они у меня в лоджии, в коробке живут. Сперва, правда, просто отчаялся: не ели, негодяйки! Более того, вообще чуть не померли, я ведь по неосведомленности предположил, что они морские, поместил в банку с водой. Потом смотрю: беда. Ну, что тут будешь делать? Воду вылил, нарвал им листьев, травы. Не желают, свиньи этакие! Одна в знак протеста даже заклеилась. Хорошо, наша горничная, милейшая девушка, просто знаете ли, красавица — фигура роскошная! — так она надоумила: эти улитки — виноградные вредители. Ну, я, разумеется, бегом на базар, купил винограду. Теперь, слава богу, едят. Жрут, как собаки. А я заготавливаю впрок. Виноградные листья.

— Да зачем вам улитки?

— Как зачем? Как это — зачем? Вы прямо как мой сосед. Тот, знаете, сам их боится, а сам спрашивает: «А что, разве улитки — дефицит?» — Лосев захохотал, запрокинув голову. Шея была черной от загара и жилистой. — Я их в Москву повезу. Внуку, — закончил он победоносно и вдруг спросил, живо глядя Дорофееву в руки: — Простите, Всеволод, не найдется ли у вас с собой какого-нибудь провианта? Изрядно, знаете ли, проголодался, из дому — в пять утра. А бутерброды — меня наша горничная снабдила — пришлось отдать собакам, такая обида.

— Каким собакам?!

— Тут, знаете, такие лохматые, просто медведи. Кавказские, кажется, овчарки. Напали со свирепостью необыкновенной, пришлось откупаться. Потом уж их хозяин отозвал. Очень любопытное вышло происшествие, и хозяин, симпатичный такой грек, молодым вином меня угостил, приглашал заходить. Ну-с... фуражку я у него забыл, хорошая была фуражка, с козырьком...

Лосев рассказывал, сверкая глазами и жадно уплетая печенье, которое нашлось в кармане у Антона.

Соль жил неподалеку, в старом доме на Чкаловском около аптеки. Пошли пешком, и Володька всю дорогу ворчал, обзывая Дорофеева компьютером.

— Я... это... специально для него — на базар... Картошки молодой, помидоров... Ждал его, сидел, как этот... как дурак, не жравши, а он, компьютер засушливый, видишь ли, там... по памятным местам... по дворцам и музеям. Да по ресторанам! Пижон столичный!

Дорофеев довольно вяло оправдывался: ну, задержался в Петергофе, ну, зашел перекусить, чего особенного? Сгниет она, что ли, до завтра, твоя картошка? И отцепись! Утром слопаю всю. С помидорами.

У дома, где жил Марк, остановились.

— Я у него там... это, ни разу вроде не был. Ни в школе, ни... вообще, — говорил Володька, тяжело дыша. — Лушин Вадим рассказывал: шикарнейшая квартира, красное... там... дерево, фарфор, то и се. И «Волга»! Модный адвокат — никуда не попрушь!

— Лушин, это такой, в прыщах? — поинтересовался Дорофеев, тщетно пытаясь представить, как выглядел

этот Лушин, но вспоминалось только что-то длинное, сутулое и на редкость занудное. И еще, что в классном журнале Лушин шел сразу за Лошининым: «Куликов, Лошинин, Лушин...» А потом Муравьев и Окунев. Муравьева и Окунева Дорофеев тоже плохо помнил. А Марка Соля — того, наоборот, отлично: с густыми кудрявыми волосами. Очень подвижный. И хохмач. Вечно вертелся и громко острил на уроках, за что его регулярно выставляли из класса.

— Лушин-то? Плешивый он, — немного подумав, ответил Алферов. — Инженером там... где-то работает. Не то в НИИ, не то... Черт его знает. Недоволен — начальство, говорит, гад на гаде. Невроз у него. А прыщи?.. Нету в роде.

Дверь, украшенная медной табличкой «Присяжный повѣренный М. Г. Соль», оказалась распахнутой настежь. Эту дверь и табличку, повешенную еще дедом Марка, Дорофеев узнал сразу. Войдя без звонка в квартиру и очутившись в просторной комнате, где вокруг овального стола нерешительно толпились человек десять незнакомых пожилых мужиков, он сразу понял, что все здесь совершенно как тогда, тридцать лет назад, при отце Марка, адвокате, и, наверное, как при деду, присяжном поверенном. Этот стол на львиных лапах, и старинный громадный буфет, и пианино, уставленное безделушками, — конечно, все это было здесь раньше. И фарфор, и пресловутое красное дерево, насчет которого злопыхал завистник Лушин.

Около стола суетился, расставляя рюмки, раскладывая вилки и ножи, довольно тщедушный человек, совершенно седой, с непомерно высоким лбом. Вот он поднял на вошедших светлые глаза, всплеснул руками, и комната огласилась воплями. И сразу стало ясно — Марк! Ну конечно, Марк, кто еще! Собственной персоной. Изменился — это верно, постарел, а вообще-то, если взглядеться, не так уж и изменился, смеется по-прежнему, трясая головой и прикрыв глаза. И вообще — Марк как Марк, обыкновенный Марк Соль.

— Дорофеич! Старик! И Аф-феров!

И пошли объятия, выкрики, общий галдеж. «А это кто у нас? Погоди, погоди, сам вспомню! Ну да, Шурка. Шурка Окунев! Ах ты, Окунь, рыба-кит... А это?» — «Да разуй глаза, Севка!» — «Ми-илы мои, Валя! Ну, ты, брат, ряску отъел, как все равно... И Мурик тут, скажи на милость! Ах, ах. Возмужал, старик, возмужал...»

— Мурик у нас, робяты, в животе стал плечист, — увесисто заметил Марк. — Согласись, Мур, с правдой-маткой и дай дяде Севе «здрасьте».

А и точно потолстел, стал гладким и холеным Гарик Мурин. Первый друг Соля, отсидели на одной парте с третьего по десятый класс, вместе и на второй год остались. Так их и звали: Марик и Мурик. . . А вон тот, долговязый, с кислым лицом? Кажется, это Лушин и есть, голос тот же, унылый до тошноты.

Дорофеева узнали все, и все единодушно заявили: не изменился, только вальяжности поприбавилось.

— Видел, видел, по ящику, — сказал Лушин, — прямо киноартист. Штирлиц-Тихонов.

Телспередачу, в которой участвовал Дорофеев три недели назад, смотрели, как выяснилось, все. Это было трогательно и непонятно.

— Мне Мур позвонил, а ему Алферов, — объяснил Соль. — Ну, а я уже Окуню.

Через две минуты чужих и старых в комнате не осталось, все были свои, и точно такие же, как тридцать лет назад.

— Не, робяты, — объявил Марк, обведя всех глазами. — Мы, ей-богу, нишо ничаво, терпимо. «Мы уже не «еще», но еще не «уже», мы пока еще «М» отличаем от «Ж»! — продекламировал он и первым заржал.

Да, все здесь были те же. . . И, смешное дело, вели себя, даже говорили, как тогда. «Робяты», «нишо». . . Дорофеев поймал себя на том, что ведь и ему хочется проносить всю эту муру — «чаво-ничаво» и вообще валять дурака.

. . . Пили уже третий тост — всё за юбиляра. Сперва, как положено, — за здоровье.

— Мне не надо дом с усадьбой, мне не надо двух коров, молоком напоят бабы, был бы только. . . хм. . . сам здоров! — тотчас откликнулся Марк.

Он крутился, успевая одновременно пить, болтать и передавать салаты: «Прошу откусать, сам изделал, я теперь, старушонки, классный кулинар, все умею, хоть салат «оливье», хоть этот. . . «Веня Грет». Время от времени он вскакивал из-за стола и бросался на кухню, и каждый раз подбегал сперва к дивану, где были сложены подарки. Про однотомник Бунина, поднесенный Дорофеевым, сказал, что «эта — вешш, хотя книга у меня уже есть. Правда, хе-хе, телефонная».

Но когда Шура Окунев предложил — «за семью», Марк сразу посуровел и сказал, что просит в первую очередь выпить персонально за его внука Гришу, поскольку это уникальный ребенок, всего, представьте себе, два года, а прямо какой-то дом ученых.

Все дружно выпили, и Марк с большим уважением сообщил, что Гриша сейчас отдыхает в Евпатории.

— С моей старухой, — пояснил он, и Дорофеев сразу вспомнил тоненькую девочку с черной косой, за которой Марк бегал, кажется, с пятого класса. Училась она в соседней женской школе, на улице Красного Курсанта, звали вроде бы Мариной. . . Как зовут «старуху», Дорофеев спрашивать не стал. А Соль между тем уже сбегал в кабинет и притащил портрет своего уникального внука, кудрявого щекача с мрачным взглядом абсолютно круглых глаз. Тотчас полез в карман и Мурик, вынул какую-то карточку и пустил по рукам. На карточке была изображена молодая красивая женщина с хорошенькой, кокетливой девочкой лет семи-восьми.

— Дочка, стало быть, с внучкой, — констатировал Лушин, едва взглянув на фотографию.

— Жена с дочерью, — с достоинством поправил Мурик.

— Которая? — губы Лушина ядовито кривились.

— Что — «которая»?

— По счету?

Мурик промолчал, отвернулся, а Володька Алферов взял карточку у Лушина из рук и принялся внимательно рассматривать.

— Ай да мы! — объявил он наконец. — Какую девушку... того... сделал, а? И мама в порядке, — одобрил он с видом специалиста. — Нет, Мур, ты у нас молоток. Сколько лет девушкам?

— Дочке семь, маме — двадцать все семь.

«Это, выходит, когда мы кончали школу, той мамы еще и в проекте не было, — подумал Дорофеев. — А ведь он, пожалуй, изменился больше всех, Мурик. То бишь, Гарик. . . Откуда в нем эта уверенность, барственность даже? Чем он, интересно, занимается? В классе был чуть ли не первым по математике, и еще в музыкальную школу ходил. . . А с виду смахивает на торгаша — уж больно нарядный».

Тут Вадик Лушин наклонился к Дорофееву и, дыша в самое ухо, с неожиданной страстью зашептал, что вот, Окунев вылез в большое начальство, главный инженер,

получил в прошлом году премию Совета Министров, кандидат, а ведь звезд никогда не хватало, типичный троечник, задницей брал, только звезды администратору и не нужны, другое нужно — нюх. И локти покрепче. Дорофеев слушал, догадывался, что рикошетом камешки летят и в его огород, а Лушин между тем уже взялся за Мурика: отъел харю, корчит из себя черт-те что, а сам — натуральный халтурщик, сочиняет тексты к песенкам, поэт выискался! Гений!.. И хапает, хапает... Псевдоним зачем-то себе взял — Генрих Гарин. Почему люди не хотят честно подписываться своей законной фамилией? Все выгадывают, ловчат... Деньги, небось, гребет лопатой, умеет устроиться, тут не отнимешь — тоже талант своего рода...

Дорофеев отвернулся, демонстративно прислушиваясь к общему разговору. Мурик с Окуном, оказывается, всю спорили, остальные посылно участвовали — кто согласно кивал и подавал реплики, кто и помалкивал, храня на лице вежливо-неопределенную улыбку. Один Володька Алферов, низко склонившись к тарелке, убежденно поедал салат... А черт их знает, что у кого на уме! И ведь, главное, совсем не обязательно то же, что на языке. Тридцать лет... От этих мыслей сделалось уютно.

— Хватит, ребята. Мировые проблемы за один вечер не решишь, — взмолился Дорофеев.

— Вот и чудно, — одобрил Лушин сладким голосом. — Главное, без проблем. Очень здорово, правда, профессор? Это ведь ты у нас — главный специалист по здоровому смыслу, ка-атся? В качестве теле-кино-звезды, ка-атся?

Дернула же Дорофеева нелегкая в той злосчастной телепередаче один-единственный раз отвлечься от своей физики, чтобы ответить на вопрос, чем, дескать, он руководствуется при принятии главных решений...

— А чо? Здравый смысл — это, я вам скажу, старикашки, — дело! — громко объявил Соль. — К примеру, с точки зрения здравого смысла сейчас бы плагалось подавать горячие блюда! Котлеты деволый из рябчиков под соусом фри. Но — что пардон, то пардон, извиняюсь. Рябчиков не достал, были одни вальдшнепы. Так что жрите салат, не маленькие. Выпили?

И опять вокруг стола сидели свои — верные и надежные, почти родные. И никаких тебе разногласий. Только Мурик все пыхтел и дулся. Наконец не выдержал —



вцепился-таки в Дорофеева, уставившись на того неподвижным выпуклым взором:

— Здравомыслие — в абсолюте, да? Не согласен! — старательно выговаривая слова, произнес он. — Плоско. И... и однозначно. Да. Типичные технократические штучки. Тебе, Севка, стыдно, ты — интеллигент, человек науки. Большой науки! — Мурик значительно поднял короткий палец с блестящими и ровными (маникюр он, никак, делает?!) ногтями. — Ты ж ведь как вещал? «В решениях руководствуюсь исключительно здравым смыслом!» Позор! А... а порядочность?

— Чего ты к нему пристал? — заступился Алферов. — Ты бы сам посидел перед... этой... перед камерой.

— Лучше перед, чем — в! Мур! Отвяжись от Севки. Понял, пьяная рожа? — строго сказал Соль, в упор глядя на Мурика.

— Погоди, Марк. Я отвечу, даже с удовольствием! — возразил Дорофеев. — Ведь, если по-серьезному, так я имел в виду, что и порядочность твоя... честность там, совесть и все высокие слова — это же самый что ни на есть здравый смысл и есть. Не знаю, как где, а в настоящей науке — только так.

— Понял, — Мурик брезгливо сморщился и боком стал вылезать из-за стола, опрокинув при этом рюмку. — Все понял. И даже понял. Ты — вульгарный материалист. У тебя красота, небось, высшая целесообразность? А добро... Ладно, бог с тобой, живи! Вопросов к тебе, лауреат, больше не имею. Кроме одного: ты со своим... здравым смыслом... ты его зятя Мишу к себе на работу возьмешь?

— Мур, заткнись! — уже злясь, оборвал его Соль. — Не обращай на него внимания, Севка, он заикливый.

— Так возьмешь или нет? — наседал Мурик.

— Какого зятя? Кто это — Миша? И... почему... — растерялся Дорофеев.

— По кочану! — рявкнул Соль. — Мур, дуй отсюда, немедленно! Давай, давай! На легком катере! Шпарь живо к инструменту, исполни что-нибудь из раньшего времени, ностальгическое.

Мурик крикнул, однако послушно побрел к пианино.

— Миша — это солевский зять, — елейно пояснил всеведущий Лушин. — Нуждается в протее, а ты — шишка. На ровном месте.

— А он физик? Я бы мог... — начал было Дорофеев, но Марк отмахнулся:

— Больше слушай дураков! Мишка химик, так что спи спокойно.

— Почему? Я могу позвонить... Он кто, органик? Или...

— Он — большой руки охломон, — отрезал Соль. — Так что пускай сам крутится — полезно. Ничего, не пропадет, устроится.

— Что верно, то факт, — тотчас вполз в разговор Лушин. — Устроится. И кандидатскую защитит через пару лет, я буду не я.

«Ну и вониючий же тип!» — подумал Дорофеев. Не взглянув на Вадьку, он выбрался из-за стола и следом за Окунем подошел к пианино, где около Мурика успело сгрудиться несколько человек. Очень знакомая, даже родная мелодия доносилась оттуда.

... Вот уже полчаса у пианино шло представление: Мурик, сидя боком к клавиатуре, наигрывал из «Серенады Солнечной долины», а Соль выдавал свою старинную «коронку» — изображал школьных учителей. Зрители аж заходились от восторга. Вытянув шею и выпятив острый кадык, Марк растопырил руки, как крылья, отставил зад и, мелко перебирая ногами, устремился прямо к Дорофееву. Подойдя вплотную, он вытаращил глаза, гневно затряс головой и неожиданно тонким, переливчатым голосом проорал: «Во-о-он!»

— Индюк! — подвывая от смеха, выкрикнул Валя Лощинин. — Ну, Соль... даешь! Зря в адвокаты... Надо было — на сцену... Был бы... ах-ха-ха!..

Индюком звали классного руководителя, историка Виктора Ивановича, и свое петушачье «во-он-он» чаще всего он вопил именно Дорофееву, которого считал автором и исполнителем всех хулиганских выходок. Прав он был только отчасти: в восьмом, что ли, классе Всеволод действительно устроил некоторый переполох: явившись в школу за час до первого урока, нацепил на швабру сперва левую, а потом и правую принесенную из дома галошу, предварительно как следует намазав подошвы фиолетовыми «химическими» чернилами, и наделал на стенах и потолке следов. С первого взгляда было ясно, что, войдя в класс, хулиган поднялся по стене, пересек потолок по диагонали, спустился, постоял на подоконнике и шагнул наружу с третьего этажа.

Первым уроком в тот день была литература, и близорукая Ольга Иларионовна, несколько раз нервно взглянув на следы, принялась судорожно тереть носовым платком очки, однако не произнесла ни слова, зато Индюк, как вошел, сразу бросился к окну и выглянул зачем-то на улицу. Потом, малость постояв и подумав, повернул к классу побагровевшее лицо, затрясся, как выкипающий чайник, и, указуя пальцем на потолок, рывкнул: «Хто ходил?!» Завизжав, все легли на парты, только Дорофеев молча, с достоинством поднялся и замер, печально глядя на предынсультиного Индюка, который, конечно, тотчас завопил свое «во-о-он!» и стал набегать на него грудью.

Да, следы были, действительно, на совести Дорофеева, но вот край подоконника, который Индюк во время опроса обожал подпирать задом, мазал мелом вовсе не Всеволод, а тихий Вадик Лушин. Делал он это систематически в течение нескольких лет и ни разу не попался.

Сейчас, глядя на беспорядочно хлопающего крыльями Соля, Дорофеев жалел бедного Индюка, хотя преподавателем тот был никудышным и вообще на редкость серым мужиком: как-то во время экскурсии в Эрмитаж обозвал мумию «трупом мертвого древнеегипетского жреца из древних Хив», Меровинга перекрестил в «Виравина», а любой рассказ о войнах заканчивал неизменной фразой о том, что кто-то кого-то «унис-стожил и превратил ув бехство!».

В позапрошлом году Индюк умер, а до того много лет жил один в жуткой коммуналке и, говорили, очень бедствовал. Алферов встретил его незадолго до смерти, дряхлого, почти слепого, запущенного. Володьку Индюк сразу вспомнил, заплакал, стал жаловаться на соседей: затравили, выживают в дом престарелых, приводят врачей, чтобы те подтвердили, будто он выжил из ума. Володька обещал помочь, зайти, и зашел через неделю — соседка со злорадством сказала: помер, три дня как в морг отвезли.

— Где похоронили? — спросил Володька.

— А мне без надобности! — и захлопнула дверь.

...А Марк уже показывал Ольгу, литераторшу, как она нараспев читала Игоря Северянина, вздыхала, закатывала глаза: «В бевом пватье муаговом, в бевом пватье муаговом... Свышите, мальчики, какие пгекгасные стгочки?..» ...Ольги наверняка давно нет, тогда уже

старухой была, успела до революции поучиться в Смольном институте и обожала рассказывать, как приезжал к ним туда однажды государь император: «Подошев ко мне, по гововке погвадив. «Какая ты худенькая, — говорит, — надо есть больше ггечневой каши. . .» — тут Ольга обычно начинала вытирать глаза, но никто не смеялся, ее в классе любили за кротость.

Как-то в середине года — это уже был десятый класс — Ольга вдруг исчезла. Учителя сказали: внезапно пересхала к дочери в Киев. Или в Минск. Вместо Ольги появилась Анна Тимофеевна, сухопарая дама лет тридцати пяти. К восторгам и придыханиям была не склонна, зато бдительно следила, чтобы все в классе были коротко подстрижены, а великие произведения препарировала в два счета, четко выявляя идею и беспощадно деля героев на положительных и отрицательных. Выпускной экзамен по литературе класс сдал без троек, но на филфак не пошел никто. Основная масса подала документы в Политехнический и Техноложку, несколько человек в институт Ульянова-Ленина, Дорофеев — в университет на физфак, Алферов — в медицинский. И все поступили сразу. Только Марк Соль — спустя три года, он после окончания работал на заводе слесарем.

Дорофеев решил стать физиком в шестом классе, на первом же уроке, который проводил молодой учитель Сергей Николаевич Серов. С виду он был похож на мальчишку — сухой, подвижный, вот только волосы у Сергея Николаевича были совсем седые, белые, и вскоре кто-то пустил слух, будто он поседел во время войны — был разведчиком, попал в гестапо, его пытали, но он молчал, а потом бежал, задушив конвоира. За глаза Серова называли, конечно, Серегой, и Дорофееву в нем нравилось все: и внешность, и манера держаться, и говорить — негромко, четко, логично, и почерк, а больше всего, пожалуй, полная и искренняя убежденность в том, что важнее физики нет ничего на свете. Послушать Серегу, так получалось, что знаменитые ученые, посвятившие жизнь этой главнейшей из наук, — не просто великие, но все без исключения прекрасные, благородные люди, и без глубокого знания физики невозможно всерьез заниматься ни биологией, ни медициной, ни философией, ни даже юриспруденцией или, скажем, музыковедением. Кроме того, нельзя понимать литературу, живопись, любить природу и людей, и вообще нельзя жить полной жизнью и быть по-настоящему счастливым.

Всеволод делал все, чтобы походить на Серегу. Тот имел разряд по теннису, и Дорофеев немедленно записался в секцию на стадионе «Динамо». Как-то на уроке Серега сказал, что любит серьезную музыку и часто ходит в филармонию, — на следующий же сезон у Дорофеева был абонемент в Большой зал. Физик отличался феноменальной, почти болезненной пунктуальностью, и очень скоро любимым изречением Всеволода стало: «Точность — вежливость королей». Сергей Николаевич свободно читал по-английски, — начиная с седьмого класса, Дорофеев получал по этому предмету только пятерки. Мать радовалась: Сева станет переводчиком. Но Сева то знал, кем он станет. И стал. И вот что забавно: иногда, смотрясь в зеркало, он думал, что теперь, в свои сорок восемь лет, похож лицом на несколько постаревшего Сергея Николаевича Серова. Да что лицом! — и повадкой, и интонациями, и тем, что прекрасно играл в теннис, а главное, был спокойно и слегка надменно уверен, что нужнее и интереснее физики нет ничего в мире.

До сих пор Дорофеев помнил, как Серега однажды ни с того ни с сего вдруг отменил назначенную контрольную, уселся верхом на стул и стал рассказывать об Эйнштейне и теории относительности. В тот день Всеволод прибежал домой потрясенный и, не сняв пальто, ворвался в кухню, где мать с соседкой тетей Женей мирно пекли вдвоем какой-то пирог. Громко крича и возбужденно размахивая руками, Сева принялся втолковывать им, что — представьте! — если космический корабль полетит со скоростью, близкой к скорости света, то длина этого корабля — представляете? — станет меньше, а время внутри корабля потечет медленнее!

Мать слушала его, улыбаясь и недоверчиво покачивая головой, а потом сказала, что в такие фантазии поверить невозможно: как это время может течь медленнее?! Мать работала на радио, в музыкальной редакции, знать физику ей было не обязательно, зато тетя Женя, инженер-конструктор, возмутилась и заявила, что все это — вредная чушь, выдуманная идеалистами и мракобесами.

— Неплохо бы выяснить, кто и зачем забивает детские головы подобными... идейками, — добавила она, но тут из духовки отчетливо запахло горелым, и они с матерью, одновременно вскрикнув, кинулись к своему пи-

рогу, а Всеволод предпочел потихоньку убраться из кухни.

...Сейчас Сереге должно было быть сильно за шестьдесят, жил он как будто в Новосибирске... (впрочем, может, и в Свердловске), по-прежнему преподавал в школе. Все это Дорофеев узнал от Володьки, а тому рассказал кто-то еще. Сам же Всеволод со дня окончания не видел Серегу ни разу, и сейчас, слушая, как Мурик бренчит на рояле «Мезозойскую культуру» — «...под скалой сидели мы с тобой, ты мою разорванную шкуру зашивала каменной иглой», — ругал себя свиньей.

Подошел Володька и пожаловался, что ему до смерти надоел занудный Лушин:

— Жалко его, конечно. Но сил нету. Несет, понимаешь, всех без разбору. Шизоидный тип... А я — того... спать охота. Пойду-ка домой, а ты оставайся.

Но уйти Володьке не дали. Увидев его, Соль вдруг вспомнил, как уже в десятом классе Индюк ни с того ни с сего возвел на Алферова напраслину, будто тот участвовал в безобразной уличной драке и вывихнул руку мальчику из соседней школы.

— Инцидент беспрецедентный, пахнет исключением! — орал тогда Индюк. — Сила есть — ума не надо! Ис-клю-чим!

...Мурик между тем все брякал и брякал по клавишам, но вдруг взял аккорд, заиграл увереннее и бодро запел. Ерничая, подхватил Окунь, за ним Валька Лощинин, Марк, Дорофеев, Алферов. Пели все, слова знали наизубок, — каждому пришлось в свое время спеть эту песню десятки раз — на октябрятских сборах, на пионерских линейках, кострах, а потом — на демонстрациях и субботниках.

— «Нам даны сверкающие крылья, смелость нам великая дана!» — выкрикивал Дорофеев, с изумлением чувствуя давно забытый оголтелый восторг — аж мурашки по спине. У ребят тоже размягчились лица, и все это нельзя было объяснить только ностальгией, тоской по бывшему себе, семнадцатилетнему дураку, у которого впереди — одни свершения, подвиги, награды и торжественные празднества.

Песня кончилась, Мурик без перехода начал что-то другое, незнакомое. Теперь он пел один, остальные стали разбредаться — кто вернулся допивать, кто засобирался домой, Дорофеев остался у рояля.

Мне трудно, вернувшись назад,  
С твоим населением слиться,  
Отчизна моя — Ленинград,  
Российских провинций столица... —

негромко пел Мурик.

...Что это? Грустно, но как точно! Только сегодня Дорощеев думал об этом...

.. Как серы твои этажи!  
Как света на улицах мало!  
Подобно цветенью канала...

Мурик допел и повернулся к Дорощееву:

— Городничий. До чего талантливый парень, аж завидно! Не слышал?

— Вообще, конечно, слышал. Даже на концерте как-то был. А эту песню... нет, ни разу.

Алферов, успевший, пока суд да дело, хватить еще рюмку, подошел опять и мрачно сообщил, что перекурит, и сразу — домой:

— Без задержки... — сурово заявил он. — А то... не этого... не доберусь...

Они с Дорощеевым вышли на кухню и сели на подоконник. Володька вытащил «Беломор».

— Дай и мне, — попросил Дорощеев.

— Ты же вроде бросил. Или расчувствовался?

Дорощеев пожал плечами, взял папиросу и закурил, глядя в открытое окно. Там был двор с крошечным садиком посередине — две скамейки да несколько кустов сирени. На одной из скамеек самозабвенно целовалась парочка, рядом валялся собачий поводок. Хозяин поводка, коричневый пудель, склонив голову набок, внимательно рассматривал целующихся.

— Странные все же ребята... — задумчиво сказал Володька совершенно трезво.

— Кто? Эти? — Дорощеев все глядел на парочку.

— Мы. Наше... вообще... поколение. Вроде... вроде летучих мышей.

— Не понял.

— Да чего! До двадцати... там... были просто мыши, а воображали, что птицы. Потом, и правда, стали... с крыльями. Не мыши, не птицы, а так... И, конечно, первыми громче всех орать: «Мыши — нет! Птицы — да! А она, видать, иногда одолевает... эта... тоска по прежним норам. А сами давно эти норы осудили и про-

кляли. Ведь такое даром не проходит, а? Чтоб сперва обожать до одурения, а потом... проклясть и топтать.

— Вот это уже интересно! — встрепенулся Дорофеев. — По-твоему, значит, пусть бы все так и шло, как шло? До одурения?

— Это... Это глупость! Я не говорил, чтоб шло. Я — про влияние. На души людей... вот нашего как раз поколения... которое... в мышцах успело достаточно походить. Я — объективно, а не «лучше — хуже». Просто имеется некий надлом, надрыв... ну, этот — шов. Обрати внимание — ведь именно у нас, которым сейчас... вот... под пятьдесят. Очень у нас такая... гибкость. Все понимаем! Чему угодно объяснение найдем! И психология — двойная. А может, и... того, тройная? Когда себе говорят одно, лучшему другу — другое, на службе — еще...

Парочка поднялась со скамейки, так и не разжав объятий, и сомнамбулически побрела куда-то в глубь двора. Пудель побежал было следом, но вдруг остановился, вернулся к скамейке и тоненько залаял, глядя на забытый поводок.

Володька усмехнулся, глядя в окно. И добавил, повернувшись к Дорофееву:

— Ты только не вообрази, что я хочу... колесо истории — вспять. Просто хочу понять, почему мы — такие. Сейчас принято ругать молодежь: инфантилы, там, равнодушные. А мне они... того... нравятся! Они свободней. И честней! А что лишней болтовни не любят, так это ведь хорошо. И понятно: задурили мы их болтовней. Вообще, они умней.

— Прагматиков среди них много, вот что грустно, — возразил Дорофеев, подумав о Ларисе Ронжиной, — очень уж деловые ребята, на ходу подметки режут. Мы были все-таки идеалистами, а у этих сплошь и рядом ничего святого. Я не обо всех, конечно, — поправился он. — А надлом?.. Не знаю.

— Кончай перекур! Уединились тут, понимаешь, с целью болтать, — в дверях возник Марк Соль со стопкой грязных тарелок. — Чай будем пить, старухи. Я торт заказал, упадете — не встанете. На двадцать персон. Хошь верь, хошь что. Пока не сожрете, не выпущу.

Гости уже в основном разошлись. Вернувшись вслед за Марком в столовую, Дорофеев с Володькой застали там только развалившегося в кресле Мурика, а также мрачного и, судя по всему, здорово пьяного Лушина.



Бледный, весь какой-то жеваный, он стоял около пианино, брал с него одну за другой фарфоровые статуэтки, вертел в руках и, хмыкнув, водружал на место. Мурик поглядывал на него с беспокойством и наконец не вытерпел:

— Ты бы там поосторожней, что ли, это же антиквариат, по сто лет вещам.

Лушин медленно, точно с трудом, повернулся к нему всем корпусом, долго смотрел, но не сказал ни слова. Пошел к столу, тяжело сел, придвинул к себе бутылку и рюмку.

Марк все бегал взад-вперед с посудой, Дорофеев с Алферовым взялись помогать, поднялся и Мурик — ходил за ними с пустыми руками и нудил: жаловался на композиторов — задавили, автор текста для них никто, ноль без палочки. Даже на концертах сплошь и рядом: песня, допустим, Блантера. И все. Точно и слова его. Конечно, если ты Евтушенко... Только, между прочим, на стихи самого гениального поэта часто песни написать нельзя, своя специфика. Не зря же говорят: из песни слова не выкинешь. С л ó в а!

— Уж ты-то помолчал бы, — вдруг недоброжелательно сказал Лушин, наполняя рюмку. — Тоже еще поэтирик. Державин! Константин Симонов! Слышал я твои «траля-ля» да «а-а-а», смеху подобно! За что только деньги платят!

Он быстро выпил и налил себе еще.

Мурик пожал плечами:

— Что тебе объяснять? Технарь он технарь и есть. А ты еще комплексант, и всегда им был.

— Да кончайте вы базар, ей-богу! — попросил Соль. — Ругаться сюда пришли? Или что?

— М-между п-прочим... — уже с откровенной злобой начал Лушин и встал. Лицо его совсем побледнело, на лбу и переносице выступил пот. — Между прочим, ты, Мурин! Заруби на своем носу: без технарей ни штанов твоих... бархатных, ни «Жигулей», ни жратвы — ничего! А уж без пачкотни вашей... х-ха... Все вы тут... — он оттолкнул стул и, пошатываясь, побрел к двери. Проходя мимо пианино, протянул руку и смахнул на пол фарфоровую балерину. Дорофеев дернулся. Марк удержал его за руку. Через секунду в передней хлопнула дверь.

Все молчали.

— Ну и гнида, — произнес наконец Мурик. — Завистливая мразь. Типичный «маленький человек».

— Надо было вмазать. По сопатке, — мечтательно сказал Дорофеев.

— Тебе бы только — в морду, — подал голос Алфиров. — Он, между прочим, совсем не глупый мужик. Только психопат, потому и слушать противно.

Марк, покряхтывая, собирал с полу останки столетней балерины.

— Вообще-то, от хорошей жизни так себя не ведут, — заявил он, выпрямляясь. — И про технаря — бестактность. А уж про «маленького человека»...

— Ах ты, батюшки! — Мурик всплеснул короткими руками. — Пожалел! Защитник! Смягчающие обстоятельства ищет. Да он, этот Вадька, всю дорогу был подонком. Исподтишник! Забыл, как Севке за его подоконник тройку в четверти вlepили? По поведению. А он молчал, гад подколодный.

— Ладно, побазарили и будя. Чайник, небось, вскипел. Пошли на кухню, тyпнем по стакану! — распорядился Соль.

Торт, в самом деле, оказался грандиозный — в полстола, весь в кремовых розах и завитушках, а поперек надпись: «ПОЗДРАВЛЯЮ!»

— Жалко резать, имеет художественное значение, — сказал Дорофеев, — мы же тут и четверти не одолеем, а вещь испортим.

— Одновá живем, робятушки! — Марк решительно взял нож и располосовал торт.

Все уже разговаривали всерьез, без всяких «ишо» и «чаво», негромкими, спокойными голосами: нормальная беседа немолодых, усталых мужчин.

«Все же сорок... почти сорок лет знакомства — не баран чихнул, — размягченно думал Дорофеев, — из жизни не выкинешь. Вот существовали где-то, каждый сам по себе, а, пожалуйста, встретились — и как родные».

— Это сколько же мы знакомы? — спросил он, перебив Володьку, который объяснял Мурику, почему отказался заведовать отделением.

— Тридцать восемь лет, — сказал Соль. — Нашу школу открыли в сорок четвертом, до того там — помнишь? — госпиталь был.

Володька между тем со страстью поносил каких-то прачек, которые не желают работать полный рабочий день:

— Ведь положено — до пяти, а эти... ну хоть их

убей — ровно в два всё уже бросили и по домам... намылились.

— Да тебе-то что до прачек? — удивился Дорофеев. — Ты кто, завхоз?

Володька кинул на него хмурый взгляд:

— А то, что чистого белья для больных... того, не допросишься.

— А ты родственников подключи! — посоветовал Мурик. — У них ведь жены есть, пускай потрудятся, принесут.

— Жены? Да нет. У наших больных с женами как-то... Не густо. Еще когда первый раз попал, тогда ничего, ходят, а так... если хроник или там... — он вдруг замолчал. Все ждали.

— Нету у них жен! Бросают. Старухи у нас посетители... в основном, — нехотя продолжал Володька. — Матери, тетки... Нет! Администрирование — не мое дело! То гляди, как бы персонал из передачи апельсинны не... того... то... другую бы выгнал к чертям собачьим, так работать некому! И они это понимают. Вот ведь: полагается лекарство больному дать и проследить, чтобы тут же, при тебе, проглотил. Сестрам лень. Сунут каждому таблетку в руку — иди гуляй. А те ее, таблетку, в унитаз. Они же у нас такие, пациенты... Все уверены, что здоровы, как эти... а мы их, дескать, травим. Лекарствами. Недавно было дело: у одного мужика — бессонница. Возились с ним... аж с пупа сорвались, ну все перепробовали, назначили гипноз. Акт отчаяния. Пока чухались, ему уже свои помогли — собрали со всего отделения эти... таблетки — и ему. Спи спокойно, дорогой товарищ...

— Помер?! — хором воскликнули все.

— Откачали, слава богу. Но с трудом — на отделении-то у нас семьдесят душ. Главное, жалко, — хороший мужик, инопланетянин. С Сириуса... Да...

— Так после этого тебя и... — догадался Марк.

— Да никто меня не трогал, вот еще... — Володька раздраженно махнул рукой. — Выговор влепили, это уж... свято дело. Да что мне выговор ихний! У меня за двадцать пять лет беспорочной службы этих... выговорщиков штук десять, а то и двадцать. И благодарностей соответственно. Надоело! Я, видите ли, по специальности врач, мне лечить охота, а не с прачками... того... собачиться. И главное, был бы толк, а то...

«Мне бы его заботы, — с неожиданном раздражением

подумал вдруг Дорофеев. — Сколько можно все об одном и том же? Вот недостаток таких посиделок — нету тем для интересных разговоров. Нету! Надо идти, а то завтра пропадешь с больной головой.

Володька точно понял:

— Полчетвертого, между прочим. У вас, бездельников, завтра воскресенье, а мне к девяти — в клинику. И в прошлую ночь — того. . .

На углу Зелениной поймали такси, посадили Мурика, и он укатил к себе на Гражданку. Перед тем для чего-то длинно объяснял, что хотел поехать к Солю на своей машине, но тогда нельзя было бы пить. На прощание протянул Дорофееву визитную карточку, тот дал ему свою и получил обещание: как только Мурик будет в Москве, непременно позвонит Всеволоду, позовет на концерт, где будут исполняться его песни.

— Потом можно будет где-нибудь посидеть, в ЦДЛ или еще где, — томно сказал Мурик.

Марк с Дорофеевым проводили Володьку до дому, тот отправился спать, а они решили пройтись еще.

Ночь уже сделалась утром, небо начало голубеть. По другой стороне улицы, мимо сада, шипя, прошла поливальная машина, и сразу остро запахло цветущей липой и шиповником.

— Раньше там, — Дорофеев посмотрел на сад; — другая, по-моему, ограда была. Нет? Такая черная, с пиками? И еще фонтан, что-то я его не вижу.

— Засыпали, — сказал Соль, — черт их знает, зачем засыпали, хороший был фонтан, я в него как-то раз свалился. Я в этом садике до войны с дедом гулял. Сверзился в фонтан, вымок весь, а дед меня еще и выдрал! — он радостно заулыбался и стал очень похож на Марка из прежней, школьной жизни.

— Я тоже тут бывал. С нянькой. Может, доводилось встречаться в песочнице?

— Все возможно. . . Только я здесь — редко, раз в месяц. Когда к деду в гости приезжали. А так мы жили на Московском, то бишь тогда — на Международном, само собой. У «Электросилы». А уж потом в наш дом снаряд — бац, а мы — к деду.

— Ты — всю блокаду? . .

— Ага. . . А вот, знаешь, интересно: сколько всего было, ну. . . жуткого — дедушка умирал, сестра. . . И обстрелы. И голод — засыпаешь, кушать хочется, проснулся — то же самое, и во сне — еда. Сколько раз мне сни-

лось: беру пирожное, подношу ко рту — и, как назло, сразу просыпаюсь! Ну вот. . . Я что хочу сказать? Почему-то как самое страшное запомнилось не это, не голод, не бомбежки, а как в самом еще начале над Международным фряц летал. И вот нарисовал, гад, на небе здоровенную такую свастику. Она, зараза, потом долго висела, и ничего не сделаешь, такое бессилie!

— А мы были в эвакуации, — почему-то виновато признался Дорофеев, — в Горьком. Потом в мае сорок четвертого отец прислал вызов, вернулся. Двадцать девятого мая, как сейчас помню.

Он в самом деле до мелочей помнил, как они с матерью возвращались домой. Ехали шкарно, в мягком вагоне — горьковский радиокомитет расстарался. Целыми днями Всеволод торчал в коридоре, высунув голову в открытое окно. Мать ругалась — влетит в глаз уголь, ослепнешь. Поезд еле тащился, подолгу стоял. И чем ближе к Ленинграду, тем чаще попадались воронки, деревья со срезанными верхушками, окопы, разбитые вокзалы.

Встретил их отец, и Всеволод был поражен. Он, по правде говоря, встречи немного побанвался, знал, что отец потерял ногу, инвалид, а инвалидов он достаточно навиделся в Горьком, в эвакуации. А еще хорошо помнил безногого дядю Толю, вернувшегося год назад к их соседке, тете Тасе. У дяди Толи вместо ноги была культя, а от колена — деревяшка, толстая, сужающаяся книзу. Вот на ней дядя Толя и скакал, опираясь на костыль и оглашая двор руганью и угрозами сегодня же убить эту суку Таську.

У отца никакой культы и деревяшки не оказалось. Очень худой, но улыбающийся, одетый в довоенный костюм, он, хромя, шел по платформе им навстречу. Потом мать объяснила — протез.

С вокзала ехали на «виллисе», мать — рядом с шофером, Всеволод с отцом на заднем сиденье. В маленькие мутные окошки разглядеть ничего было нельзя, так что город Всеволод увидел только выйдя из машины около своего дома. Увидел и опять удивился, думал — кругом развалины, надолбы, осколки бомб и снарядов, а все как до войны, только окна в домах забиты фанерой. Мать постояла на тротуаре, посмотрела по сторонам, потом вдруг быстро опустила на колени и поцеловала каменную ступеньку перед парадным.

Дорофеев вспомнил это сейчас, когда, дойдя до угла, они с Марком повернули направо, и он увидел его — свой старый дом на углу Ропшинской.

Дом, видно, только-только кончили красить, на широком асфальтовом тротуаре штабелем были сложены щиты «лесов», невысохшая дверь влажно блестела. Осторожно открыв ее, Дорофеев шагнул в подъезд. Марк деликатно остался ждать на улице.

Лампочка на лестнице, как всегда, не горела, пыльный свет падал от окна на площадку между первым и вторым этажами. Пахло масляной краской и сырой штукатуркой, и это сразу напомнило конец каникул и школу, куда явился на медосмотр.

По этой лестнице Дорофеев мог подняться в полной темноте, мог — с завязанными глазами. Мог, не глядя, нащупать кнопку звонка квартиры, возле которой сейчас стоял. На эту кнопку он в былые времена не раз нажимал из чистого хулиганства — чтобы тотчас пулей взлететь на третий этаж и слушать оттуда, как лает криволапая дворняга Тайна и ругается, распахнув дверь, ее горластая хозяйка, низенькая, но очень свирепая старушка. У Тайны был хвост кренделем и гулкий бас, так что, не видя ее, можно было подумать, что лает здоровенный волкодав.

В трех шагах от двери в эту квартиру имелись две коварные ступеньки, с которых, если не знать, в темноте можно здорово навернуться, за ступеньками — площадка, еще пять шагов, и вот она — лестница, перила с железными завитками и деревянными... как они называются? Поручни? Словом, то, по чему скользишь рукой, сбегая вниз, по чему можно съехать на животе, наплевав на зловещие рассказы взрослых про хулиганов, нарочно вставляющих в перила лезвия бритв, так что один мальчик... а другой мальчик — тот вообще, ужас, ужас! — упал в пролет с четвертого этажа и сломал позвоночник.

Дорофеевы жили на пятом, последнем этаже, а между четвертым и третьим в решетке перил с самой войны оставался пролом, кое-как заделанный толстой проволокой. Двадцать семь лет назад Всеволод, перешедший на четвертый курс университета и только что вернувшийся со студенческой стройки в пустую квартиру (мать с отцом были на Кавказе, а соседка отдыхала, кажется, в са-

натории, в Зеленогорске), встретил, спускаясь по лестнице, около этого самого пролома почтальоншу, которая вручила ему телеграмму-«молнию». В телеграмме, посланной из Сухуми и подписанной неизвестной фамилией Ковальчук, сообщалось, что его родители, Дорофеевы Татьяна Константиновна и Евгений Михайлович, погибли два дня назад в автомобильной катастрофе. . .

. . . Дорофеев не стал подниматься по лестнице. Постояв минуту у двери, за которой когда-то грозно лаял беспородный страж — Тайна, он медленно повернулся и вышел на улицу, где ему показалось очень светло. Марк Соль терпеливо ждал на другой стороне у газетного щита и радостно сообщил ему, что вчера на Гражданку заходили два лося.

— Как бы эти кровожадные звери не забодали там нашего Мурика! — Соль ткнул пальцем в газетный лист.

— Давай дойдем до школы, — предложил Дорофеев.

Марк кивнул, они свернули налево, прошли квартал, и тут из подворотни им навстречу вывалилась компания — трое парней лет по двадцать. Галдели они так, точно их было по крайней мере десятеро. Справа, широко шагая, шел мордастый тип с какими-то растопыренными, кривоватыми ногами и плечами борца. Что есть силы он дергал струны гитары, вызывая этим совершенно омерзительное дребезжание, которое сопровождал беспорядочными гнусавыми выкриками. Рядом с ним выступал довольно стройный молодой человек, одетый в футболку с надписью «GUNS DON'T DIE PEOPLE DO», то бишь «умирают не ружья, а люди». Голова его была обрита наголо, под носом небольшие темные усики, выражение лица агрессивное. . . ну и соответственно несколько блатное. Третий, длинный, весь какой-то расслабленный, узкоплечий, еле держался на ногах, все гнулся в разные стороны, как вареная макаронина. Глаза его были до того пустыми, что казались сквозными отверстиями. Рот длинного был широко распахнут, и оттуда неся бессмысленный, некрасивый рев.

— Вот они, твои дикие звери, любуйся, — вполголоса сказал Дорофеев.

Марк ухмыльнулся. И стриженный с усиками тотчас шагнул к нему, держа руки в карманах.

— А ну, дед! Утри шнобель и захлопни пасть — чесноком воняет. Ну! С-сука!

— Ладно, ребята. . . — миролюбиво начал Дорофеев,

оттесняя Соля, но тот, кретин несчастный, задрал башку и назидательным тоном на всю улицу провозгласил:

— Не смешно, и, как гласит литература, крикливым павианам место в зоопарке.

Блатной не спеша вынул руку из кармана и вдруг легко, ладонью снизу, пихнул Марка в подбородок. Тот отлетел и грохнулся на тротуар.

Делать было нечего: Дорофеев схватил блатного за руки у плеч, рванул на себя, а ребром подошвы как следует врезал по лодыжке.

Студенческие занятия борьбой, видно, не забылись — блатной боком рухнул на мостовую, лязгнув рожей об асфальт, и тотчас к Дорофееву качнулся долговязый.

Дорофеев шагнул навстречу. Давно забытое чувство яростного азарта охватило его. Не упуская из поля зрения мордастого с гитарой (тот пригнулся, сунув руку в карман), он поймал длинного двумя руками за запястье, резко развернул, оказавшись за его спиной, и толкнул вперед, на мордастого. И угадал: в ту же секунду кулак дружка с хрустом врезался длинному в лицо. Тот крикнул, начал оседать, Дорофеев выпустил его, и он кулем повалился на землю. Из носа, заливая рубашку, хлестала кровь.

Мордастый секунду постоял, ошалело глядя на приятеля, потом вдруг метнулся в сторону и, не оглядываясь, побежал прочь. Дорофеев повернулся к блатному. Тут все было в порядке — парень лежал вниз лицом, руки его были аккуратно завернуты за спину, верхом на нем сидел Марк. Длинный тем временем приподнялся на локте и теперь пытался встать на четвереньки.

— Зубки целы? — заботливо спросил его Дорофеев, потирая собственное плечо. В ответ хлынул поток разнообразных слов, среди которых цензурными были только «падла» и «кастет».

— Во-он что!.. Он тебя кастетом? Ай-ай. Я бы на твоём месте сообщил куда следует. Маркуша, вставай, они больше не будут. Правда, джентльмены?

«Джентльмены» вяло матерились.

Через десять минут Марк с Дорофеевым были уже у Володькиного дома. Шли проходными дворами.

— Плечо болит, не иначе вывихнул, — пожаловался Дорофеев. — Стар я, видно, руками махать.

— Противно, — медленно произнес Марк. Вид у него был неважный — колени в какой-то грязи, пуговицы на рубашке оборваны.



— А ты у нас вполне. Супермен. И не подумасшь, что профессор, — с завистью сказал он, поглядев на Дорощеева снизу вверх. — Ну, бывай, старуха! Звони.

Они простились, и Марк, прихрамывая, побрел по пустой улице. Дорощеев смотрел ему вслея, пока тот не завернул за угол. Все же свиство, надо бы проводить, но уж очень гудели ноги, да и выспаться не мешало — завтра полно дел, надо, чтоб была свежая голова.

Проснулся Всеволод Евгеньевич довольно поздно. Ныло плечо.

«Растренировался, герой полудохлый», — потянувшись, подумал он. В самом деле, когда дрался в последний раз? Незадолго до переезда в Москву, значит, больше четырех лет назад. Да и не драка это была, а так... Влип тогда из-за Ляли, затеяла кокетничать с каким-то балбесом на платформе в Пушкине, тот пристал, ну и... Чуть оба в милицию не загремели. И дома неприятность — как же, отец семейства явился после лыжной прогулки с подбитым глазом. Наврал, что наткнулся на палку. Инга сделала вид, что поверила... Противно вспомнить... А вот сын, тот никогда не дерется. И в детстве не умел. И не хотел. Когда Антон был маленьким, Дорощеев не раз пытался научить, показать основные приемы — надо же уметь хотя бы постоять за себя. Сын упрямо тряс головой: «Обойдусь». И верно — до сих пор обходится. Удивительный парень — в военные игрушки не играл никогда. Сколько покупали разных там танков, пушек, автоматов — все валялось в пыли на шкафу: «не интересно». А солдатиков, тех наряжал в какие-то платья, мантии, — это была королевская свита.

А вот у Дорощеева в детстве без драк не обходилось. Первый раз по-настоящему он подрался в Горьком, в эвакуации, в день приезда. Вернее, дракой это назвать нельзя, — просто его побии. Мать еще распаковывала вещи, а он вышел во двор. Маменькин сынок, «Гога», — челочка, брюки-гольф с манжетами под коленкой, туфли на ремешках. И тотчас его окружили трое пацанов. Эти были, как положено, в клешах, замурзанные, у самого старшего, лет десяти, в зубах самокрутка. Не сказав ни слова, они, деловито сопя, принялись делать Всеволоду «пятый угол» — толкать, что есть силы, от одного к другому, как футбольный мяч. Командовал большой, с са-

мокруктой, по фамилии Кухарский (впрочем, фамилию его Всеволод узнал много позже).

— Лягва, держи! — крикнул он и первым пихнул Дорощеева в спину.

Тот пошатнулся, но на ногах устоял и, тотчас больно получив кулаком в бок от большеротого Лягвы, полетел дальше, навстречу третьему, совсем маленькому. Маленький толкнул его обеими руками прямо в живот. Ничего не видя перед собой сквозь слезы, заливавшие лицо, Дорощеев упал прямо на Кухарского и вдруг почувствовал, как по его лицу медленно проехала липкая пятерня.

— Дай ему, Кухарь, дай! — азартно верещал Лягва.

Дома Всеволода никогда не били. Ставили в угол, оставляли без сладкого. Но бить, да еще по лицу!.. Он вдруг заревел в голос, бросился на Кухаря и мертвой хваткой вцепился тому в рубашку на груди. Они покатились по земле, и очень скоро Всеволод оказался лежащим на спине, а Кухарь сидел на нем, молотя по чему попало. Но Дорощеев уже не чувствовал боли.

Потом-то он знал в себе это качество — в ярости не чувствовать боли, знал и пользовался им во время решающих драк, но тогда не думал вообще ни о чем, поймал, изловчившись, бьющую его руку и вцепился зубами в мизинец.

Кухарь завыл как резаный, задергался и кулаком свободной руки ударил Дорощеева по голове, но тот, зажмурившись, только крепче сжал зубы. На помощь вопящему вожаку, опомнившись, кинулись Лягва и маленький, теперь Дорощеева дубасили уже трое, он слышал, как трещит рубашка, глухо ощущал удары, но, не разжимая зубов, яростно отбивался руками и ногами.

Их разняли какие-то большие ребята, просто раскидали в разные стороны, как щенят. Севка явился домой весь в ссадинах, с разбитым носом, в порванной рубашке. Мать села на табуретку и заплакала. Но спрашивать ни о чем не стала, повела на кухню к рукомойнику.

Кухарь с того дня к Дорощееву больше не лез, и вообще во дворе его не трогали, быстро разнесся слух, что «Севка из Ленинграда — психованный».

Много лет спустя, взрослым, вспоминая свои детские драки, Дорощеев не раз удивлялся, до чего же все у всех одинаково! Особенно у людей одного поколения. Точно про такие вот драки чистенького приезжего мальчика с местной шпаной он читал едва не в каждой книге про войну, где герой был его ровесником. И непременно с

одной стороны короткие штаны и челочка, а с другой — брюки клеш и чуб, а то и просто стрижка наголо, «под ноль». И кончались эти истории с драками обычно так: городской мальчик, сперва заробев, в конце концов стervenел и доказывал в честном бою свое право на «место в стае», делался среди аборигенов своим. Аборигены же, в свою очередь, оказывались, как правило, вовсе не шпаной, а нормальными, даже хорошими ребятами.

Так было в литературе, и не случись всего этого с самим Дорощеевым, он, пожалуй, решил бы, что эти «военные» драки — просто «бродячий» сюжет: не хватает у авторов фантазии выдумать что-нибудь пооригинальнее, вот они и повторяют все одно и то же. Но так было — никуда не денешься — и в его собственной жизни, и в жизни многих его сверстников, тех, кому пришлось побывать в эвакуации.

Дракой с Кухарем дело не кончилось. Когда через неделю Дорощеев пошел в школу, ему снова пришлось утверждаться с помощью кулаков.

В школе «стыкались» регулярно и без особенной злости, просто чтобы определить, кто главный. Дорощеев пришел в конце сентября, места уже были распределены, и на самом верху стоял Генка Ковин, маленький, верткий и жилистый. За ним, с небольшим отрывом, шел уже знакомый Дорощееву Лягва. Третьим был Витька Мазунин по прозвищу Мазунчик. С самой первой встречи он невесть за что возненавидел Дорощеева, но драки почему-то не начинал. Дорощеев же хорошо запомнил бой с Кухарским, драк остерегался, и это было ошибкой: не прошло и недели, как в классе его стали считать самым слабым, трусливым и жалким. Словом, последним человеком. Его дразнили и пинали все кому не лень, даже Воробьев, щуплый, маленький Воробей — на физкультуре он всегда стоял последним в шеренге.

Однажды, когда зареванный Дорощеев пытался отмыть в раковине рукав куртки, который Мазунчик только что облил чернилами, к нему подошел Ковин.

— Чего сопли распустил? — деловито осведомился он.

— Н-ничего. . . — сквозь слезы выдавил Дорощеев.

— А ничего, так и нечего! Смотреть противно. Дал бы ты Мазунчику в рыло! Он же трус, хоть и здоровый. Его все боятся, вот он и нахальный. Меня же не трогает. Пусть бы полез! — воинственно сказал Генка и длинно сплюнул на пол. — Ты ему еще так дашь, гадом буду! Он большой, а все равно трухлявый. А ты коренастый!

У тебя! плечи — во, — и руками он показал, какие у Севи невероятные плечи.

Может быть, Всеволод еще не скоро решился бы подраться с Мазунчиком, но на следующий же день перед первым уроком тот, проходя между партами, плюнул ему в тетрадь, испортив домашнее задание. Сердце Дорофеева заколотилось, он покраснел, вскочил и быстро, со всхлипом, сказал:

— Стыкнемся? . .

Мазунчик аж рот раскрыл. В классе стало тихо. А Дорофеев, чувствуя непривычную легкость, повторил:

— Ну, стыкнемся?

Для драк в школе существовал особый кодекс. Школа — не двор, где Кухарь с дружками могли втроем дубасить одного. В школе «стыкались» только один на один, лежачего и ниже пояса не били, драка продолжалась или до первой крови или до победы, то есть пока кто-то из противников не попросит пощады. В здании школы «стыкаться» по-серьезному было невозможно, для этого использовали дальний угол двора за сараем.

В тот день после уроков к сараю явился весь класс. Солидно расселись на бревнах, кое-кто даже залез на крышу. «Стыкаться» было решено до победы.

Саму драку Дорофеев не запомнил. Помнил только, что боли не было, было слепое бешенство, вместе с которым ударами выплескивалось все: злоба на Кухаря, обида на класс и ненависть к Мазунчику. И Мазунчик сдался, сдался! Попросил пощады по всем правилам, а до того пытался хитрить — валился на землю, а бить лежачего нельзя, так что Дорофеев сам поднимал его и лупил снова.

— Я ж говорил, ты коренастый, — уважительно сказал Ковин после драки.

Больше Мазунчик не приставал. Вел себя так, точно Дорофеева не существует.

Потом Всеволоду пришлось, как положено, «стыкнуться» с Лягвой и еще несколькими желающими — для восстановления рассыпавшегося ранжира. Каждый день он приходил из школы в синяках, со сбитыми в кровь костяшками пальцев, и вскоре за ним прочно утвердилось второе место на иерархической лестнице — после Ковина. И вот к концу полугодия Дорофеев был уже одним из самых уважаемых людей в классе. К этому времени он уже имел прозвище Крузо. Образовалось это прозвище так.

Однажды свидетельницей одной из драк оказалась молодая учительница Мария Анатольевна. Дерущихся она разогнала, а Дорофеева укорила:

— Нельзя быть таким бешеным, ты же человек, а не... зубробизон.

Севку с того дня так и прозвали, сперва Зубробизоном, потом почему-то Зуб-Робинзоном, а потом уж и вовсе Робинзоном Крузо. Крузо так Крузо, с этой кличкой он и дожил до отъезда из Горького.

С Ковиным они подружились. Дорофеев пересел к нему на последнюю парту и давал списывать арифметику. Арифметика шла у Всеволода легко, а вот писал он неграмотно, делая непонятные, дикие ошибки: «гудок гудует», «адрис». Это осталось на всю жизнь.

Когда наступила весна и на Волге начался ледоход, Генка научил его кататься на льдинах. Однажды, стоя рядом на большой надежной льдине, быстро, как пароход, движущейся вдоль берега, они увидели рядом, меньше чем в метре, ледяной атолл — прозрачный, голубой бублик, сверкающий на солнце, как леденец.

— Крузо, гляди! — крикнул Генка, и не успел Дорофеев слова сказать, оттолкнулся и перемахнул на «бублик». Но тотчас поскользнулся, сел и, воля, задом съехал в воду. Удивительное дело, плавать Генка, выросший на Волге, не умел, колотил ногами, а руками хватался за край льдины, но пальцы срывались, а лед крошился. Дорофеев протянул руку и моментально оказался в воде. Теперь они уже барахтались вдвоем. Дорофеев кое-как держался: прошлым летом на даче в Токсово отец научил его плавать «по-собачьи». Продолжалось все это не больше минуты, в конце концов Всеволоду каким-то чудом удалось вползти животом на льдину, да еще втянуть Генку, схватившего его за ноги.

В тот же день Генка торжественно заявил, что теперь они с Крузом друзья на всю жизнь. До гроба. И стали они друзьями на всю жизнь, до мая сорок четвертого года, когда Дорофеев уехал с матерью в Ленинград.

Сейчас, лежа на диване в пустой алферовской квартире, вслушиваясь в уличный шум, доносящийся из открытых окон, Дорофеев вдруг подумал: а ведь такого друга, как Генка, у него потом, пожалуй, никогда больше и не было.

...А Генки не стало еще в сорок пятом году: той зимой от горьковской соседки тети Таси пришло вдруг письмо, где среди сообщений про разные новости была ко-

роткая фраза: «А у Ковиных беда: Генка помер». И больше ни слова.

Всеволод сразу решил тогда, что Генка, ясное дело, погиб в драке — заступался за кого-нибудь и был убит хулиганами. Что случилось на самом деле, он так и не узнал, тетя Тася больше не писала, даже на письмо его матери не ответила. В последние годы Дорофеев несколько раз решал, что во время следующего отпуска обязательно заедет в Горький, походит по старым местам, найдет кого-нибудь из знакомых. И непременно узнает все про Генку. Решал... а потом находилась причина отложить поездку еще на год.

...Да, такого друга, как Генка, больше не было, это точно. Конечно, Володька... Но он — совсем другой, да и теперь это, в общем, тоже прошлое. Встретились, а о чем говорить? О прачках?

А в Москве, где прожито целых четыре года? Есть там друзья? Приятели — да, масса симпатичных, милых... вполне взаимозаменяемых людей. И только... А может, в этом возрасте закадычных друзей и не бывает, вместо них — семья?

Тут Дорофеев решил, что, пожалуй, пора вставать и звонить Инге. Подвигал рукой, плечом — больно, но ничего, не смертельно. Интересно, как там Соль?

Никаких дел, кроме разговора с бывшей женой, он на сегодня не намечал. Хорошо бы еще оставшиеся часы побродить по городу, а к шести, к Володькиному приходу, вернуться.

Инга сняла трубку сразу и нервно заявила, что ждет его звонка со вчерашнего дня: «Ты же обещал, что приедешь в субботу. Почему звонишь только сейчас? Где ты остановился?»

Ничего не стоило соврать: мол, задержался, только что с поезда, живу в гостинице, телефона здесь нет. Но унижительность лжи Дорофеев постиг раз и навсегда, еще со времени злополучного романа с Лялей. Поэтому, предвидя последствия, он все-таки сказал, что приехал вчера «Стрелой», но был занят — юбилей друга детства.

Это был правильный ход. К таким понятиям, как «друг детства», «мужская дружба», «личная свобода» и прочее в том же духе, Инга всегда считала себя обязанной относиться с уважением и, как могла, это подчеркивала. Но сегодня «друг детства» вошел в антагонистиче-

ское противоречие с «интересами Ребенка», поэтому, хоть и смягчившись, она четко сказала, что все же следовало выбрать вчера время, хотя бы час, для предварительной с ней встречи. А теперь он может не успеть организовать один... важный разговор с... одним человеком.

— С каким человеком?

— Это — когда увидимся. Но крайне необходимо. Для Антона. Приезжай немедленно.

— Буду в двенадцать, — сказал Дорофеев и сразу положил трубку.

## II

Ехать к Инге, по правде говоря, не хотелось. Был бы дома Антон — дело другое... Видеть бывшую жену и тещу, с которой не встречался с самого развода, вести с ними в отсутствие сына какие-то (наверняка занудные!) переговоры о его делах... Что-то в этом было неприятное, предательское. И главное, ведь окажется заполошенный вздор. Но у Инги всегда все — «крайне необходимо». «Во-первых, потому что касается Антона, интересы которого, как мне представляется, должны быть и твоими интересами. Во-вторых, следует помнить: мальчик растет без отца, и нетрудно видеть, что это не может не оказывать влияния на формирование личности. В-третьих, я, позволю себе надеяться, имею некоторое минимальное право на помощь с твоей стороны...» — Дорофеев так и слышал тихий, терпеливый, звенящий от подавляемой истерии голос, видел худое лицо с непреклонно выпяченным подбородком, шею, покрытую нервными пятнами. Сколько их было, таких разговоров в их семейной жизни! Эти «во-первых» и «во-вторых» употреблялись постоянно, по любому поводу, создавая видимость железной логической необходимости (и неотвратимости!) того поступка, к которому Инга принуждала мужа. Каждый пустячный бытовой вопрос — покупка продуктов или сдача белья в прачечную — обязательно подробно, невыносимо долго обосновывался: «Сева, я тебя очень прошу: во-первых, непременно зайти в угловой гастроном, купить сто граммов молотого кофе, ты же знаешь, у меня гипотония, я без кофе больная; потом — манную крупу, у Антона кончается, и только после этого, ты понял — после, а не до — за молоком, иначе забродит. Ты же знаешь эти ужасающие порядки в молочных! Во-вторых,

доставив продукты, — белье. Его лучше всего сложить в мамин чемодан. Таким образом. . .» Дорофеев тоскливо поморщился, даже сейчас тошно.

Но не всегда ведь, черт возьми, она была такой! И с другой стороны, не Инга ли укрепила в нем любовь к организованности и порядку. Впрочем, когда они были вместе, точнее, с момента рождения сына, жизнь, несмотря на технико-экономические обоснования посещения булочной, постоянно шла сумбурно и бестолково. Все куда-то вечно спешили, опаздывали, в последний момент меняли принятые решения. Сколько раз, с трудом взяв билеты, скажем, на поезд в ту же Анапу, Всеволод Евгеньевич должен был, проклиная все на свете, в день отъезда сдавать их и мчаться в кассу аэрофлота, потому что теща вдруг заявила, что ребенка можно возить только самолетом: о железной дороге не может быть и речи, эти вагоны, бог мой! Антисанитария и сквозняки!

В доме царил поразительный хаос, вещи валялись где придется, обед для взрослых зачастую отсутствовал, везде громоздилась немытая посуда. Зато для Антона Инга или теща, священнодействуя, готовили отдельные блюда из творога от «рыночного старичка», из мяса «только от Елисеева». Зарабатывал Дорофеев тогда немного, в доме постоянно звучали слова «долг» и «ломбард», но в первые годы такое отсутствие заботы о деньгах, о хлебе насущном ему даже нравилось, казалось проявлением духовности и аристократизма. Тем более, что до рождения Антона главным в семье был он, обожаемый Всеволод. И тогда теща варила его любимый фасолевый суп, а Инга решительно собиралась научиться печь торт «наполеон».

С Ингой Дорофеев познакомился, когда они оба поступали в университет. На так называемом «собеседовании». Экзаменов ни ему, ни ей сдавать было не нужно, оба имели медали: Инга — золотую, Всеволод — серебряную (ухитрился, сделал-таки ошибку в сочинении).

У Инги способности к наукам были поразительные, к тому же прекрасная память. В первую же сессию они с Дорофеевым стали готовиться к зачетам и экзаменам вместе. Занимались у Инги, удобнее — рядом Публичка, и опять же — трехкомнатная отдельная квартира, где Инга жила вдвоем с матерью, Эллой Маркизовной. Всеволод с родителями занимали две комнаты в коммуналке.



Впервые увидев Эллу Маркизовну, Дорофеев почему-то подумал — «Пиковая дама», до того она была величественная и горделивая. Элла Маркизовна окончила в свое время Дерптский университет и теперь давала частные уроки немецкого языка. Отец ее был состоятельным человеком, даже имел в свое время какое-то поместье в Эстонии. Держалась Элла Маркизовна очень прямо, говорила медленно, четко произнося каждое слово, и от Инги непреклонно требовала соблюдения правил хорошего тона: «Инга! Извини за напоминание, но — вилку в правой руке?!»

Часто при Всеволоде, забывшись, она вдруг переходила на немецкий язык, но тут же спохватывалась, церемонно просила прощения и возвращалась к своему дистиллированному русскому.

Всеволоду казалось совершенно естественным, что для такой дамы, как Элла Маркизовна, да, пожалуй, и для Инги хозяйственные мелочи непривычны и тягостны.

Семью же Всеволода Элла Маркизовна считала почему-то богемой. Возможно, из-за отца, работника областной филармонии, часто пропадавшего в гастрольных поездках.

— Какой уж тут уклад и уют... — горестно говорила она, ставя в духовку противень с готовыми, из булочной, пирожками и жалостливо глядя на Дорофеева.

Его мать пироги пекла сама, умела делать настоящий плов, пельмени, варила вкуснейший борщ, по воскресеньям к завтраку всегда были горячие лепешки. Но Всеволод молчал, ему нравилась Элла Маркизовна и то, как она всегда восхищалась его шутками: «Но это же блестяще, Севочка, это мо́, настоящее мо. Вы редкая умница!»

Инга и Всеволод делали вместе курсовую стенгазету. Дорофеев ведал отделом юмора, а Инга писала заметки по искусству, вместе они ездили летом на стройку, а после второго курса совершили туристское путешествие Баку — Батуми (путевки достала влиятельная мать одной из учениц Эллы Маркизовны). Но мысль о женитьбе на Инге Дорофееву даже в голову не приходила. Инга умная, с ней интересно, она — товарищ. Вот и все. Но не влюблен же он в нее! Да и смешно: маленькая, худая, с выпирающей нижней челюстью (на первом курсе она еще носила металлическую шинку для исправления прикуса). Правда, когда однажды их однокурсник Толнк Зыбин в присутствии Дорофеева назвал Ингу выдрой и

пояснил, что она страшнее татаро-монгольского ига, Дорофеев тут же вкатил Толику по морде, но это был, так сказать, рыцарский и дружеский жест, не более.

В то время Всеволоду нравилась Галка Одноворцова, красивая, стройная, с высокой грудью и длинными ногами. Галка была модница — первая ввела обычай ходить зимой без шапки, а весной появилась в черных очках, как иностранка. С Ингой Дорофеев переводил с английского «тысячи», а Галку приглашал в театр, два раза водил в «Квисисану» и один раз в «Восточный» ресторан, помещавшийся там, где теперь «Садко». Потом они целовались в садике на скамейке. А потом у них началась настоящая «взрослая» любовь. Так, во всяком случае, называл это Всеволод. Свои чувства к Галке он тогда постоянно обсуждал с Ингой, та давала советы и хвалила Галку: «Прекрасно сложена, во-вторых, отличный вкус, и умеет себя подать, это для женщины главное. А ум? Что ж... В конце концов для т а к и х отношений...»

Перед третьим курсом Галка уехала на каникулы к тетке в Одессу, обещала писать, но не прислала ни строчки, а вернувшись, даже не позвонила. В первый же день занятий Всеволод узнал: «Одноворцова вышла замуж. За капитана дальнего плавания. Он на десять лет ее старше и ходит в загранку». Объясняться не стал — напротив, столкнувшись с Галкой после занятий, церемонно поздравил. Та грустно улыбнулась улыбкой опытной женщины: «Ты еще будешь счастлив, Севочка, ты хороший, чистый». Про то, как невероятно он будет счастлив с его внешними данными и замечательными способностями, Дорофееву наперебой твердили тогда все девчонки с их курса. Сочувствовали, а он ходил с мрачным и загадочным видом, хотя, если честно, никакого особенного горя не испытывал. Инга сказала, что ей всегда было ясно: Галина не стоит его мизинца. Она — баба.

В те дни Всеволод очень много бывал с Ингой, каждый день они сбегали с лекций в кино, а потом до ночи бродили по улицам, с Ингой было можно говорить абсолютно обо всем, она, в отличие от других девчонок, интересовалась и физикой, и политикой, и философией, а в литературе проявляла просто необыкновенную эрудицию. Дорофеев был поражен однажды, когда Инга вдруг прочла ему наизусть стихи Северянина, про которые он думал, что их знал только один человек на свете — старая учительница Ольга Иларионовна.

Вскоре Дорофеев увлекся венгеркой Жужей — она обучала его современным танцам, — но когда пришла зимняя сессия, снова начал круглые сутки пропадать у Инги. И вообще, без нее ему трудно было обойтись — помимо всего прочего, Инга исправляла орфографические ошибки в его курсовых работах.

Матери Всеволода она не нравилась: «Манерная. И жесткая. Это с виду она такая покладистая, а на самом деле кремень-человек. А главное, ты же ее не любишь! И не полюбишь! И если она тебя в конце концов на себе женит, будет несчастье».

Дорофеев смеялся: «Мама, не ревнуй! Какое — «женит»? Мы просто друзья». — «Это для тебя, дурачка, друзья, а для нее. . . Вижу, как она на тебя смотрит».

Летом после третьего курса родители погибли.

Первые дни казалось: все это невозможно. Как же так? Мать с отцом, которых он в следующее воскресенье собирался ехать встречать в аэропорт, вот и уборку к их приезду начал делать. . . Это он вчера мыл полы, а они. . . уже? . . . Не приедут? Вовсе? Никогда?

В доме в эти дни постоянно толпился какой-то народ. Появилась тетка, московская сестра матери. Бледная, осунувшаяся, она то и дело обнимала Всеволода, крепко прижимая его голову к своей жесткой груди. А потом принималась требовать, чтобы он сейчас же, сию минуту поел и выпил валерьянки — ведь нельзя же так, нельзя, нельзя! Глупо. Что «нельзя»? Он никого не трогал, просто хотел. . . понять. Сидел в углу дивана и думал.

Появились друзья, сослуживцы, какие-то дальние родственники и знакомые отца с матерью. Все они суегились — куда-то звонили, ездили, что-то согласовывали. Из этой суматохи, как из-за стены, до Всеволода доносились споры, касающиеся его: тетка доказывала, что «мальчика не нужно трогать», ей возражали: «Наоборот. Надо его загружать, чтобы отвлечь». По-видимому, решено было загружать, потому что вдруг посыпались поручения — покупки, справки. Потом с двумя незнакомыми мужчинами из областной филармонии он поехал на автобусе в аэропорт. По дороге выяснилось: встречать гробы. На Всеволода сразу напал озноб, да такой, что стучали зубы. Но в аэропорту все внезапно прошло, напротив, гробы не вызвали в нем никаких чувств — два длинных металлических ящика, совершенно посторонних, к матери и отцу они не могли иметь отношения. И не имели!

Еще была поездка с теткой на кладбище, где требовалось немедленно решить, какое место лучше, — вон там, слева от дорожки, видишь? Или подальше, под деревом? Там, правда, корни, зато выше и песок. Всеволод не понимал, при чем здесь какие-то корни.

Стоило оказаться дома, как женщины, которые с утра до вечера готовили еду для поминок, сразу принимались его кормить, а ему на эту их еду противно было смотреть.

В день похорон шел проливной дождь, заливал стекла автобуса, громко хлестал по крышкам гробов, когда их несли на руках по глинистой узкой дорожке к могиле. Дорофеев, все время поскальзываясь, шел следом, — родным, сказала тетя Женя, нести гроб не полагается. Всхлипывая, она семенила рядом, норовя прикрыть Всеволода своим зонтом.

На поминках все говорили о том, какими замечательными, прекрасными людьми были светлой памяти Татьяна Константиновна и Евгений Михайлович. Всеволода посадили во главе стола, рядом с Игорем, племянником отца, сыном его покойного старшего брата Павла. Игоря Дорофеев знал плохо, встречались за всю жизнь раза четыре. Тот все твердил — мол, надо чаще видеться, кузены как-никак, обещал звонить, заходить, правда сразу оговорился: работает в газете, без продыху гоняют по командировкам, но скоро он с этим делом завяжет, займется свободным творчеством, и тогда... Дорофеев кивал, пил, не до Игоря ему сейчас было, да и что может быть за общение с этим Игорем, пожилым человеком лет тридцати, никак не меньше. В конце концов Игорь ему надоел, он встал и вышел в переднюю — захотелось побыть одному. Но в передней под вешалкой сидела на полу тетя Женя, соседка, и плакала, уткнувшись лицом в старый плащ отца.

Разошлись поздно. В дверях каждый крепко пожимал Всеволоду руку: уговаривал держаться, просил непременно звонить, и если что надо — безо всякого стеснения, мы же друзья папы и мамы... А главное, помни: ты обязательно должен учиться дальше, мать так мечтала... а деньгами поможем, уж будь спокоен.

Многих из этих людей он больше не встречал ни разу в жизни, с Игорем пару раз мельком столкнулись на улице. Потом, когда уже Дорофеев жил у тещи, когда был Антон, Игорь однажды вдруг появился, дескать, шел мимо из театра, написал пьесу и вот идет с репетиции. Сидел минут тридцать, обещал пригласить на премьеру

и не пригласил, впрочем спектакль тогда как будто провалился. Еще три года спустя Игорь нелепо погиб на охоте.

...В тот вечер, сразу после поминок, Всеволод остался один — тетке надо было возвращаться в Москву к больному мужу.

И вот наступило утро, когда он проснулся в пустой комнате, пахнувшей вымытым полом и цветами, белыми хризантемами, вянущими в высокой зеленой вазе перед портретом матери.

На этом портрете, сделанном еще до войны, мать, совсем молодая, смеялась, запрокинув голову и придерживая рукой круглую шляпу с широкими полями.

Всеволод топтался перед портретом босой, в одних трусах, и опять чувствовал недоумение — не отчаяние, не тоску — недоумение. А от этого, ему казалось, у него заложены уши, и он затряс головой, и в ушах зазвенело, а потом выяснилось — не в ушах, а звонят в дверь, давно уже звонят, долго, непрерывно, без пауз.

Он босиком вышел в переднюю, накинув на голые плечи отцовский плащ, под которым плакала вчера тетя Женья, отпер дверь — появилась Инга, деловая, серьезная, с хозяйственной сумкой в руке. Сухо поздоровалась и сказала:

— Ты одевайся, я поставлю чайник, — и зашагала в кухню. А Всеволод вернулся к неубранной постели и, одеваясь, вспомнил, что Ингу он видел и вчера, на кладбище, и после, вечером, на поминках — что-то она там носила на стол, резала хлеб, убирала грязную посуду. И накануне похорон, когда он с кем-то... с кем? — ездил в садоводство за букетами и венком, Инга тоже вроде была там... К Всеволоду она все это время почти не подходила, но постоянно существовала где-то неподалеку, чем-то занятая, бледная, с крепко сжатыми тонкими губами.

Он направился в ванную, где долго мыл лицо холодной водой, а когда вернулся назад, на обеденном столе стояли чашки, чайник, тарелки с яичницей, а посередине — целое блюдо бутербродов с колбасой.

И вдруг он почувствовал, что ужасно голоден. Накинулся на бутерброды и, кажется, съел их все.

После завтрака Инга сказала:

— Собери необходимые вещи и поедем к нам. Так надо, поверь. Во-первых, тебе нужно набраться сил перед началом учебного года, а готовить ты не умеешь.

Мама это берет на себя. Кроме того, у тебя сейчас материальные трудности. Я понимаю: садиться на шею ты никому не хочешь. И не будешь! Тот дядька из филармонии вчера обещал оформить ссуду, а пока тебе поможем мы. Мы же друзья, правда? И еще — следует, хотя бы временно, переменить обстановку, иначе не выдержат нервы.

Дорофеев покорно взял рюкзак, с которым ездил на стройку, покидал туда, что попало под руку, и ушел с Ингой из своего дома. Как оказалось — навсегда.

Элла Маркизовна встретила на пороге, обняла, заплакала, повела в комнату дочери: «Это теперь будет ваша, Севочка, а мы с Ингой — вместе. Чувствуйте себя здесь хозяином, дружок. Помните: для нас — радость хоть как-то облегчить вам первое, самое тяжкое время после вашей трагедии. И не относитесь к этому, как к... бог знает какой услуге. С нашей стороны помочь вам — душевная потребность...» Она говорила долго и, конечно, искренне. Дорофеев был не прав и свинья, когда потом, в пылу семейных дразг и взаимных оскорблений, мысленно упрекал тещу в продуманной линии, в хитрости, с помощью которой она хотела вынудить его жениться на Инге. Думать так было несправедливо и подло, и он это, слава богу, понял в конце концов, но много позже, уже получив развод и поселившись в Москве...

А тогда, у Инги, он вдруг почувствовал себя как в санатории. За ним и ухаживали, как за больным ребенком, — говорили тихими ласковыми голосами, брошенная с вечера на стул грязная рубашка утром каким-то чудом оказывалась выстиранной и накрахмаленной, к обеду, который тогда бывал в доме ежедневно, подавались самые любимые его кушанья. Раз он мельком упомянул: мать с отцом однажды брали его с собой в ресторан на банкет, и там ему понравилось сациви. И вот на следующий день посреди стола торжественно стояло целое блюдо сациви, да еще и цыплята-табака в придачу. Откуда? Секрет! Для милого дружка — сережку из ушка! Это я про маму, она тебя обожает, специально съездила в «Кавказский»:

Как-то Инга притащила небольшую круглую корзинку, поставила на пол перед диваном, где, глядя в потолок, лежал Дорофеев, и заявила:

— Малина. Ты любишь. Я знаю. Ешь, пока не станет противно. Имеешь же ты право раз в жизни наесться малины досыта!

По вечерам Элла Маркизовна как бы невзначай предлагала:

— Не хотите, Севочка, взять ванну? Я уже приготовила. С морской солью и хвойным экстрактом. Очень полезно для нервной системы, очень! Как говорится: «In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist».\*

И он ложился в теплую душистую воду.

Странное дело: Дорофеев их заботы принимал тогда как должное. А что? Они хорошие, добрые люди. И потом — сами же сказали: это для них душевная потребность!

Тем утром, постучав и войдя к Всеволоду, который только что проснулся, Инга сказала:

— Вставай. Сегодня мы едем на могилу, я уже была на Кузнечном и купила рассаду.

День был плохой, ветреный, небо в тучах. Тревожный. Мать не любила такую погоду, когда ветер шумит и шумит в деревьях. Всю дорогу в пустом трамвае Всеволод, не надевший пиджака, мерз. Вдвоем они прошли по безлюдным дорожкам кладбища. И там, у холмика, заставленного понурыми венками, цветы в которых уже потемнели и сморщились, а траурные ленты мокро висели, Всеволод впервые за все эти дни вдруг разревелся, прижавшись лбом к шершавому стволу дерева. По-настоящему, всхлипывая и рукой вытирая лицо.

Инга, глядя в сторону, молча протянула носовой платок и скрылась за кустами.

Когда они вернулись и сели пить кофе, Элла Маркизовна оживленно сообщила, что уезжает на неделю в Комарово, пригласила к себе на дачу мать одного ученика — «очень милые люди, он академик, но не это главное, — интеллигенты бог знает в каком поколении!»

Ночью Всеволод не мог заснуть. Пытался было читать, но не выходило. Со дня получения той телеграммы не читал совсем, даже английские детективы не шли, хотя всегда ими увлекался и Инга раздобыла где-то целую кучу.

В комнате было душно, с вечера погода внезапно переменилась, потеплело, а теперь, судя по всему, готови-

---

\* В здоровом теле — здоровый дух (нем.).

лась гроза. Всеволод встал, распахнул окно настежь, лег опять. Сна все равно не было. То страшное, что случилось, — насовсем. До конца. Как теперь жить? Он же просто не сможет один войти в комнаты, где в шкафу мамыны платья, а на письменном столе книга, которую отец не успел дочитать перед отъездом... Знать бы заранее, отказался бы от стройки, поехал бы с ними на юг, может, тогда ничего бы не случилось. А случилось, так уж со всеми троими...

Он начал задыхаться, прикусил подушку, сжал кулаки. И вдруг услышал тихий звук шагов, а в следующую секунду почувствовал у себя на шее прохладную ладонь.

Инга села на край постели и, не говоря ни слова, гладила его по волосам, по плечу, просто гладила, и от этого опять потекли слезы, но дышать сразу стало легче, в груди что-то разжалось. Не отрывая лица от подушки, он, еще мгновение назад ни о чем подобном не помышлявший, обнял Ингу и притянул к себе.

Утром (за окнами сверкало, гремело и лило, — над городом по-хозяйски расположилась гроза) Инга сказала:

— Ты должен знать следующее, Сева: то, что случилось, ни к чему тебя не обязывает. Ты был и будешь свободен. Это раз. Чувствовать себя виноватым ты просто не имеешь права. Потому что я этого хотела. Сама. Ты сделал меня счастливой, понимаешь? Это два. В-третьих, я тебя люблю с самой первой встречи. Но это факт моей биографии — это мое счастье, и не на словах, а в действительности. Следовательно, если ты теперь вздумаешь приносить себя в жертву из жалости или из благодарности, ты сделаешь плохо прежде всего мне. Цену своей... женской красоте я знаю, полюбить меня нельзя по определению, так что...

А Дорофеев, потрясенный и растроганный всем, что случилось ночью, а еще больше тем, что Инга говорила сейчас, смотрел на нее, взволнованную, серьезную, и видел тени под глазами и узкую руку с длинными пальцами и обломанными ногтями — обломались, когда она этими пальцами копала ямки на могиле его родителей, чтобы посадить цветы. Смотрел и чувствовал: она теперь единственный родной человек, единственный, кому он нужен, без кого теперь остаться... даже представить страшно! И, наверное, то, что он испытывает к ней сейчас и испытывал ночью, — наверное, это и есть любовь.



Настоящая, серьезная любовь, не физиология, не легкомысленный, веселый флирт, а... большое чувство, куда входит и дружба, и общие интересы... А счастье — это прежде всего сознание, что ты сделал счастливым другого. Да что там! Конечно же, он тоже давно любит Ингу, просто не понимал этого раньше!

И он опять притянул ее к себе, прижал изо всех сил и сказал ей, зареванной, глупой дурочке, что теперь они всегда, всю жизнь будут вместе и никто, кроме нее, ему не нужен, потому что она — лучше всех.

Первые годы Дорощеев был твердо убежден, что он счастлив. Все опять шло по-прежнему, как при родителях... почти как при родителях, — он жил в семье, его любили, ценили, о нем заботились. Надвинувшаяся было опасность одиночества, необходимость самому думать о том, что есть и пить, что надеть и где взять на все это денег, рассеялась.

Поводов для ссор не возникало, Инга с нарочитым уваженным отношением к его свободе, и если кто-то из друзей, хоть тот же Володька Алферов, звал встретиться, всегда говорила: «Иди один, у вас найдется о чем поболтать и без меня. Не хочу мешать. Мужская дружба — это важно».

С Володькой виделись часто, жили «красивой жизнью»: болтались с расхлябанным видом по Невскому, это называлось «хилать по Броду».

С деньгами у обоих было худо: у Володьки тяжело болела мать, и он подрабатывал, дежурил по ночам в клинике на Пряжке, Дорощеев тоже нашел приработок, вернее, теща нашла — «вербовала» своих учеников, и Всеволод за небольшую плату давал им уроки физики и математики.

Володька к четвертому курсу успел жениться, развестись и опять был влюблен.

— Надолго? — тоном сатира спрашивал Дорощеев.

— Навек, — неуверенно отвечал Володька и, разведя руками, добавлял: — А что я могу сделать, если они, паразитки, все такие сексантильные?

Про семейную жизнь Всеволода он говорил так:

— Наверное, так и должно... ну, как у тебя. Твою Ингу можно... там... уважать... не терроризирует, ни сцен, ничего. Не то что у нас с Танькой было, жуть.

Однажды, помявшись и повздыхав, сказал, что вооб-

ше-то зря Дорофеев прописался к Инге, а комнаты на Петроградской сдал государству.

— Хата понадобилась? — спросил догадливый Всеволод. Володька только неопределенно хрюкнул.

Из-за этих комнат Дорофеев вытерпел уже не одну истерику от тети Жени, кричавшей, что только полный идиот и растяпа просто так отдает прекрасную жилплощадь, лишив себя возможности. . .

— В случае чего перебежать обратно??! — гневно перебил ее Дорофеев, которому такие расчеты казались гнусным предательством.

— Никогда не знаешь заранее, как может сложиться жизнь, — упрямо твердила тетя Женя.

Московская тетка прислала письмо, где довольно кисло поздравила с женитьбой и про комнаты тоже вспомнила: дескать, не надо торопиться с этим вопросом, Сева. Жалко все же, мать с отцом всю жизнь прожили в этих стенах.

Все было так — прожили, но как раз поэтому Дорофеев и не мог себе представить, что бы он стал делать там один, без них.

А Элла Маркизовна торопила прописаться к ним, у них излишки, это дорого, а оплачивать две квартиры и вообще немыслимо. Всеволод и без того чувствовал себя кругом обязанным, сидящим на шее и тотчас согласился.

В его новый дом Володька ходить не любил.

— Старухи боюсь, — как-то признался он. — Вашей этой барыни на вате. Так глядит, что, кажется, штаны забыл застегнуть.

Отказать Володьке в проницательности было трудно: после одного из его первых визитов Элла Маркизовна, слегка растягивая слова, осанисто заявила:

— О-очень неглупый юноша. И естественный, от земли, сама непосредственность. Но бог мой — манеры! Локти кладет на стол.

Зато Дорофееву прощалось все: он мог безнаказанно вытирать хлебом подливку с тарелки, пить чай из блюдца, держать вилку в правой руке, — «самобытность, оригинальность — признаки незаурядной натуры».

Хозяйственные поручения ему давались только тогда, когда он сам на них набивался, а разговоры о том, какой он по-ра-зи-тельно талантливый и блестящий, звучали ежедневно.

— Всеволод непременно станет крупнейшим ученым.

Светилом! Пойду на любое пари! — с экзальтацией восликала теща.

Сперва Дорофеев возмущенно возражал, но довольно скоро привык и безмятежно существовал в качестве баблвня, любимца семьи.

На последнем курсе дни поспали в бешеном темпе, до краев забитые лекциями, семинарами, чтением статей в «Успехах физических наук», а также и фильмами, которые обязательно надо смотреть, выставками в Эрмитаже, бесконечными разговорами обо всем этом. А еще — чьими-то днями рождения и просто вечеринками, куда Инга все чаще отправляла его одного:

— Иди, иди, муж. Надо тебе встряхнуться. Мужчина должен иметь минимум свободы, это во-первых. . . — говорила она, завязывая Всеволоду галстук. — Потанцуй там. . . поухаживай за хорошенькими девушками, слышишь?

Хорошенькие девушки последнее время почему-то были у нее идефикс, на улице она зорко высматривала их в толпе и дергала Всеволода за руку: «Только взгляни, какая фигурка! Японская статуэтка, прелесть!» Или: «Видишь? Вон, левей, левей! Ах, какая совершенная красота, бог мой! Просто — с полотна, лицо точеное, кожа. . .»

Раз, полушутя, Всеволод спросил жену, неужели ей приятно когда он пялится на посторонних красоток. Инга возмущенно на него посмотрела, пожалала худыми плечами и своим четким голосом произнесла:

— Мне всегда приятно то, что приятно тебе. А красота не может не доставлять удовольствия, будь то природа, архитектура или человеческое, женское лицо. Ты нормальный, здоровый мужчина, имеющий нормальные эстетические потребности, и было бы противостоественно. . .

С некоторых пор все эти благородные речи стали вызывать у Дорофеева внутреннее. . . неудобство, что ли. Глазеть на девиц, которых настойчиво показывала Инга, ему совсем не хотелось, хотя когда он бывал без нее, то, конечно, замечал красивых женщин — не слепой. Однако, почувствовав к какой-нибудь из них не вполне эстетический интерес, тотчас называл себя предателем — дома ждет любимая жена, а он, скотина, таращит глаза на посторонних баб!

В том, что Инга любимая жена, сомнений не было. А как еще? Не по расчету же он на ней женился? После

той, первой их ночи, когда он вроде бы и себя не помнил, она много раз еще заводила разговоры о том, что Всеволод совершенно свободен, а за неделю до регистрации брака в загсе передала ему на лекции письмо. «Теперь, родной мой, я верю: я тебе нужна, как никто, — говорилось в письме, которое потрясенный Дорофеев запомнил почти наизусть, — больше того, знаю: без меня ты был бы несчастлив, потому что мы абсолютно во всем подходим друг другу, мы — две половинки. И все-таки, Сева, милый, подумай еще раз, так ли необходим тебе брак? Во-первых, это же пустая формальность, но она связывает, налагает обязательства, а во-вторых, мне лично, кроме любви твоей, ничего не надо! За месяц, что мы вместе, я пережила такое, о чем даже не подозревала, что оно существует, и во всяком случае не надеялась, что судьба подарит это мне! Это — сказка, и того, что я уже пережила, мне хватит на всю жизнь. Я стала другим человеком, Сева, и люди кругом — тоже другие, лучше, добрее, благороднее. И солнышко светит так ласково, и все прохожие желают мне счастья. А я и без того безумно, безумно счастлива, что твоя. Когда днем, где-нибудь на лекции или в трамвае, я вдруг вспомню твои руки, тебя всего, я вздрагиваю, а в лицо бросается кровь. И я понимаю, без тебя я бы уже не смогла, я бы умерла. А ради тебя, твоего счастья, отдала бы жизнь, не колеблясь! Я никогда ни к кому не стану тебя ревновать, любимый. Просто буду смотреть на других, пускай самых красивых женщин, и знать — ты мой. И этого будет достаточно.

Еще раз прошу тебя: подумай! Жениться совсем не обязательно, я согласна на любые отношения (кстати, и мама это поймет) и мечтаю только об одном — когда-нибудь родить от тебя маленького. Пускай растет добрым человечком, славным и ласковым, как ты, мой хороший. Подумай об этом, Сева, и что бы ты ни решил, я заранее говорю тебе «спасибо». . .»

Почему-то Всеволод, читая это письмо, все время ощущал тоскливую неловкость. Себе он объяснил ее тем, что недостойн Инги, точнее, того чувства, которым проникнута каждая ее строчка.

После окончания (Дорофеев получил диплом с отличием и был оставлен в аспирантуре, а Ингу распределили ассистентом в Техноложку) было решено: теперь можно завести ребенка. Однако Инга забеременела только че-

рез три года, в течение которых Элла Маркизовна постоянно пичкала ее витаминами и гоняла по врачам.

Но когда это наконец случилось, Всеволод проявил себя «идеальным, не-ключи-тельным мужем», угадывал все Ингины желания и каждый вечер выводил ее под руку в Летний сад — «дышать и смотреть на красоту».

— Я отлично могла бы гулять и одна, — крогко говорила Инга. — Тебе же, наверное, со мной неловко, заяц? Молодой, элегантный, красивый, а рядом брюхатая уродка.

Дорофеев тотчас бросался разуверять:

— Какая уродка! Будущая мать — это, чтоб вы знали, самая высшая красота. И ребенок в «брюхе», заметьте, мой, так что я, наоборот, горжусь. . .

Но произнося — уже в который раз! — эти правильные слова, он чувствовал кислое раздражение. И Инга тотчас меняла тему, переключалась на его диссертацию, на последнюю статью, которую он недавно послал в журнал после того, как она выправила там ошибки, на профессора Лосева, якобы где-то сказавшего, что считает Дорофеева самым перспективным своим аспирантом. Раздражение сразу пропадало — о физике Всеволод готов был разговаривать круглые сутки.

Тем летом он уже готовился к защите, назначенной на конец ноября. Инга была в декрете, через три недели ей предстояло рожать.

— Вот на эти три недели, — наставляла она, — ты, Сева, должен съездить на юг. Это крайне необходимо, не спорь! Во-первых, ты совершенно измотан, тебе жизненно важно хоть немного отдохнуть. А во-вторых, кто знает. . . потом родится. . . оно, и отдыхать станет некогда.

Дорофеев колебался: с одной стороны, конечно, вроде свинство — взять и бросить ее в таком состоянии, но. . . она же будет не одна, с матерью. К тому же впереди защита, важнейшее событие, не менее важное, чем. . . чем любое другое. И уж очень хотелось покупаться в море, понырять с маской, походить в горы. . . А по вечерам не смотреть каждую секунду на часы: поздно, пора бежать домой, Инга, конечно, не спит, будет с виноватой улыбкой оправдываться: «Я же легла, я старалась, но — не могу. А что в этом плохого, если для меня радость ждать тебя?»

Дорофеев не знал, как быть, каждый вечер они вели

долгие обсуждения, взвешивая все «за» и «против» поездки, но тут впервые вмешалась теща. Всеволоду она не сказала ни слова, но Инге при нем заявила:

— Какое право, моя милая, имеешь ты рисковать здоровьем ребенка? Может быть, тебе хочется, чтобы он родился с уже подорванной нервной системой? Бог мой! Я вижу, — Элла Маркизовна повысила голос, и он зазвенел, — в какое состояние приводят тебя еже-ве-чер-ние! отлучки супруга. Ежевечерние, заметь, хотя и кратковременные. Я молчала, сколько могла, но теперь ставлю тебя в известность, Инга: я ни за что не ручаюсь, если произойдет этот нонсенс — он уедет. Ни! За! Что!

— Мама, ты крайне, крайне не права! — возразила Инга, и Дорофеев вдруг понял: ведь у них же совершенно одинаковая манера говорить, и голоса одинаковые, и интонации. — Ты не права, мама! Во-первых, это я настаиваю на поездке, на том, чтобы Всеволод...

— Ты — амеба, что мне прекрасно известно, — брезгливо махнув рукой, перебила дочь Элла Маркизовна, — но коли бы речь шла только о тебе, я отнюдь не стала бы вмешиваться. Бо-о-же сохрани! Нет! Но сейчас для меня главное — интересы Ребенка, о которых ты, увы, забываешь. Что ж... обожать мужа вполне нормально, физиология животного естества, куда денешься! Die Lusternheit hat dir deine einst klare Vernunft genommen!\* Но жертвовать ради этого Ребенком! О своих чувствах, дорогая, теперь придется забыть. Ты — мать, и в первую очередь обязана жить этим... Прости, я несколько погорячилась, тебе нехорошо волноваться.

Теща величественно покинула комнату, не удостоив Всеволода даже взглядом. Он был поражен — до сих пор с ее стороны не было ничего, кроме забот и похвал. Правда, последние недели она ходила с поджатыми губами, но он чем угодно это объяснял — головной болью, усталостью... Да и что он такого, в конце концов, сделал? Занимался как проклятый, одного этого достаточно, чтобы уважать... и вообще. И какие такие «ежевечерние отлучки»? Последний раз пришел домой поздно... в понедельник? Нет, во вторник. Ну и что? Сегодня, между прочим, пятница, среду и четверг отсидел вечерами дома, хотя надо было в Публичку и к Володке, никуда не выходил, только в магазин да с Ингой — на вечерний выгул.

---

\* Похоть отобрала у тебя твой некогда светлый разум (нем.).

Ему просто нестерпимо захотелось на юг, пусть не на три, на две хотя бы недели, на десять дней!

— А мама, пожалуй, где-то права... — задумчиво сказала Инга. — Во-первых, я безусловно стала бы нервничать и беспокоиться. Ты такой неосторожный, полез бы купаться в шторм... А во-вторых, и тебе тревожно, я же не могу гарантировать, что это случится точно через три недели, день в день, верно? Плюс-минус... И придется вызвать тебя, бедненького, телеграммой, пугать. И весь отдых насмарку.

Эти три недели они провели в Комарово, на даче, которую Элла Маркизовна как-то ухитрилась снять в разгар сезона, в крошечном душном мезонине, раскалявшемся днем, как духовка. Туда вела крутая, неудобная лестница, и Дорофеев, чертыхаясь и обливая ноги, носил по ней ведра с водой. Инга, та безо всяких ведер еле втаскивалась по узким ступенькам, все время боясь оступиться.

— Ничего, — подчеркнуто бодро твердила непреклонная Элла Маркизовна. — Умеренные нагрузки в твоем состоянии только полезны. Физкультура! Спорт! Я, когда ждала тебя, ежедневно работала в саду. Зато какой здесь воздух, бог мой! Хвоя! Озон! Что может быть лучше для малыша?.. Разве что водная прогулка?

Какая там еще, к черту, водная прогулка?! Да и малыша-то пока не было, но для Эллы Маркизовны он, казалось, только один и существовал реально.

— Мне за тебя даже обидно, Инга, — один раз не удержался Всеволод. — «Ребенок, ребенок»... А ты? О себе я уж не говорю, хотя вроде бы тоже не пустяками занимаюсь, но ты ведь — человек, не сосуд, который только потому и надо беречь, что в нем драгоценный елей или... это... мир, что ли?

— А я и есть сосуд! — рассмеялась Инга. — Кувшин. Или нет — крынка! Видишь, какая круглая?

Она рожала в Зеленогорске, в маленькой деревянной больнице. Элла Маркизовна была в панике.

— Ребенка там погубят вне всяких сомнений, — скорбно заявила она. — Родовые травмы сейчас сплошь и рядом. Внуку Софьи Ильиничны щипцами повредили головку. Нет, Всеволод! Вы поступили крайне легкомысленно. Если не преступно. Бог мой! Вызывать «скорую помощь»! Какой ужас! Вы должны были нанять машину.

и отвезти Ингу в город, в Военно-медицинскую академию, там — силы, в то время как. . .

Но все обошлось счастливо — родился мальчик, три пятьсот, здоровый, «щекастый и очаровательный, как маленький херувим, а вернее, как папочка», — писала Инга.

Неделю, пока она лежала в больнице, Всеволод непрерывно курсировал с полными сумками между Комарово и Зеленогорском, возил еду. Элла Маркизовна была убеждена: казенная кухня для кормящей матери смертельна, в лучшем случае пропадет молоко. Это — в лучшем! С шести утра и до часу ночи она стояла у керогаза и готовила завтраки, обеды, ужины. Указанную провизию Всеволод передавал Инге на второй этаж в сетке, которую привязывал к специально спущенной из окна отделения веревке, потом в той же сетке получал «возвратную тару» — кастрюльки и термос. Он вознамерился было ездить к Инге по Приморскому шоссе на велосипеде, но. . .

— Хотите использовать Малыша как повод для прогулок? Ездить необходимо электричкой и только электричкой, поскольку быстрее и меньше шансов разбить термос. А о собственных удовольствиях пока придется забыть. Если вы порядочный человек.

Последнее время Элла Маркизовна разговаривала с зятем только в таком тоне.

Всеволод молчал. Но, передав Инге очередную порцию сырников и смородинового киселя, чуть не бегом мчался на пляж окунуться, и делал это, благо стояла хорошая погода, иногда по три раза на день. Почему-то никогда в жизни ему так не хотелось купаться и загорать, как этим летом.

Когда Ингу выписали, Дорофеев отвез жену и сына прямо в город: «здесь для Ребенка — не условия».

Мальчика назвали Антоном, в память Ингиного покойного отца. И началась новая жизнь, которую Всеволод про себя окрестил Служением. Но молчал. Только раз позволил себе слегка возроптать в ответ на категорический приказ тещи принести из детской кухни кефир в час дня и ни секундой позже.

— Прямо боевое задание, — проворчал он, уходя, — в тринадцать ноль-ноль, иначе гауптвахта, а с учетом военного положения — расстрел.

Элла Маркизовна смерила его взглядом, а Инга, пеленавшая Антона, подняла глаза, полные восторга:



— Все мы тут солдаты одного генерала.

Это было не так. Эдла Маркизовна являлась по меньшей мере полковником, сама Инга — кем-то вроде ротного старшины. Солдатом (штрафником) был Всеволод, причем солдатом плохим, нерадивым и глупым, идущим совершенно не в ногу. Вечю он, помыв рожок, забывал обдать его кипятком, не следил, чтобы «отварная» вода, в которой предстояло купать Антона, имела заданную температуру и «отварена» была точно к назначенному времени; никак не мог усвоить, что пеленки надо было о-б-я-з-а-т-ель-но! гладить горячим утюгом с обеих сторон, иначе — бог мой! — верная инфекция, сепсис, пупковая грыжа, конец света! «И о чем, о чем он только думает, этот человек?!»

А он думал о работе, о физике, о защите, и считал, между прочим, эти свои дела не менее важными, чем, допустим, решение вопроса, можно ли смазывать Антона подсолнечным маслом. Подсолнечное масло рекомендовала патронажная сестра, но — «это же чудовищное бескультурье! Ребенок — не сковородка, на которой кухарки пекут блины или жарят рыбу! Постное масло! Поразительно!»

— Но сестра же из государственного учреждения, — еще рыпался Всеволод.

— Сестры из консультации некомпетентны, Сева, — тихим голосом вторила Инга. — Когда я была маленькая, мама отнесла в Торгсин все свои драгоценности, чтобы купить персиковое масло. Так что не спорь. Поезжай сейчас же к Софье Ильиничне, ей достали немного для внучка, она обещала маме поделиться.

Софья Ильинична жила черт-те где, на правом берегу Невы, времени было десять вечера, Дорофеев только что разложил на столе книги и бумаги, надеясь поработать. Приходилось все бросать и тащиться за проклятым персиковым маслом, за которое теща в свое время платила какими-то мифическими драгоценностями, а он теперь всего-навсего безвозвратным временем. . . Интересно, какой бы выросла Инга, если бы ее тогда смазали постным? . . . Может, глядишь, была бы проще, не устраняла бы из своих материнских чувств непрерывную страду, закрываяне телом воображаемых амбразур? Всеволод был убежден: по крайней мере половина того, что исторически делалось во имя Антона, было вовсе не нужно, а может, и вредно. Оголтелое закармливание соками уже привело к диатезу, про который Дорофееву все объяснил

дипломированный врач Алферов, зашедший как-то «обозреть младенца».

Инга с тещей к Володькиному диагнозу отнеслись с ироническим пренебрежением, однако на другой же день в доме появился Валериан Михайлович, профессор, светило светил, рекомендованный, конечно же, знаменитой Софьей Ильиничной, чьего внука с помятым черепом Дорофеев успел уже возненавидеть.

Всеволод был откомандирован за Валерианом Михайловичем на такси. и тот, тщательно осмотрев Антона, к которому почему-то все время обращался на «вы», — «Позвольте-ка, юноша, пощупать ваше пузико. Та-ак. Прекра-а-асно, прекра-а-асно!» — поименовал пятна на щеках аллергией, и теща сразу кинула победный взор на Всеволода, посмевшего заподозрить у ее Внука плебейскую золотуху.

Несмотря на Валериана Михайловича и постоянные заявления типа: «Что? Тошика — в детский сад?! Всеволод, вы думаете, что говорите?» — испортить Антона никак не удавалось. Он рос спокойным, справедливым и добрым. Дорофеев даже считал — слишком добрым, не умеет за себя постоять.

Раз (Антону было тогда лет пять) незнакомый мальчишка в сквере ни за что ни про что ударил его палкой и удрал. Мальчишкина мать, толстая, вскосмаченная тетка, погналась, надо отдать ей должное, за сыном, поймала его и, громко ругая, подтащила к Антону:

— Ударь его, мальчик, ударь, хулигана такого! Ударь как следует, чтоб знал! Ну, бей, я ему руки держу!

Антон покраснел и, насупясь, глядел себе под ноги. Потом поднял глаза и твердо и отчетливо, с Ингиной интонацией произнес:

— Маленьких не бьют, нельзя.

И убежал, получив от тетки вдогонку «малахольного», — де драчливый сынок был по крайней мере на полголовы выше Антона.

Когда Всеволод Евгеньевич, издали наблюдавший эту сцену, пытался потом дознаться, почему Антон не дал сдачи, то вразумительного ответа не получил.

— Не хотел, вот и не дал, — сказал Антон и посмотрел на отца с удивлением, дескать, что же тут еще объяснять?

Спокойствие и терпимость сына часто изумляли Дорофеева. Другой бы давно озверел от бесконечных педагогических наставлений Инги, от омерзительной клички

«Тошик», которой наградила его бабушка, стал бы хамить отцу, поскольку в семье считалось, что «твой супруг, моя милая, совершенно не занимается Ребенком. На-у-ка для него — все, собственный сын — ничто. У мальчика фактически нет отца». Такого рода сентенции теща теперь сплошь и рядом выдавала во всеуслышание, за столом.

— Допивай-ка чай, сиротка, — изо всех сил сдерживаясь, говорил при этом Дорофеев, — и пошли играть в хоккей. Горемыка ты наш.

Торопясь, Антон наливал горячий чай в блюдечко, и тут же раздавалось:

— Антон, чай из блюдца пьют только оч-чень дурно воспитанные люди. — Это была уже Инга, вот до чего дошло. Под «дурно воспитанным» подразумевался, конечно же, он, Всеволод, так и не усвоивший до конца правил этикета, принятых в имени родителей Эллы Маркизовны (в его семье, на Петроградской, хорошим тоном всегда считалось то, что удобно тебе и не мешает другим. «Излишняя манерность — признак мешанства», — говорила мать).

Отношения с Ингой становились тяжелыми. Прежние заботы, готовность выполнить любую его просьбу, даже каприз, — все это разом исчезло вместе с заверениями, будто он редкая умница и вообще лучший человек на земле. Какой там лучший, бог мой! И вести себя не умеет, и отец, мягко говоря, неудовлетворительный, и стопроцентный эгоист — занят только своей обожаемой физикой, которая для него просто ширма, способ отгородиться, спрятаться от самых святых обязанностей!

Но несмотря на ссоры и стычки днем, Инга чуть не каждую ночь требовала заверений в любви.

— Ты мой? Скажи — мой? — громким шепотом спрашивала она. — Ты любишь меня? Я мучаю тебя, я знаю, но скажи — любишь?

За стеной ворочался и бормотал во сне Антон, в голове измотанного за день Дорофеева скакали формулы на фоне обличающего голоса Эллы Маркизовны, и, корчась от стыда, он мямлил, что да, ну конечно же, а как иначе?

Может, не будь этих постоянных дознаний, он сам не решился бы в один прекрасный день и себе задать этот вопрос. И честно ответить на него. А потом долго и тоскливо думать: мол, что поделаешь, живут люди и без этого, главное в жизни — работа. . .

К тому времени Дорофееву только что исполнилось тридцать два. С Ингой они прожили вместе уже целых

двенадцать лет, постепенно все больше уходя друг от друга. Инга была занята Антоном, Дорофеев своей физикой, а к домашним стычкам давно привык, научился даже отключаться на это время — не слышал, что ему говорят, преспокойно думал или читал, видя строчки и понимая смысл. Это его качество перенял потом и подросток Антон, с редкостным терпением и кротостью переносивший Ингины проработки, которые обычно начинались словами «настоящий интеллигент всегда...», или бабкины: «Тошик. В нашем роду никогда не позволяли себе класть локти на стол!» «Наш род» — это были, разумеется, персональные предки Эллы Маркизовны, те самые, от которых ее родители получили в наследство пресловутое «поместье» (впоследствии оно оказалось средней величины эстонским хутором), а также, в некоторой степени, отец Инги, «подлинный артист своего дела, такого таксидермиста не знала страна!» Дорофеев был изумлен, случайно узнав однажды, что таксидермист — вовсе не врач-кожник, объезжающий для скорости больных на такси, а мастер, изготавливающий чучела птиц и зверей. У Эллы Маркизовны в спальне до сих пор стояло довольно уже потрепанное чучело совы, высокомерным видом сильно напоминающее хозяйку.

Конфликты возникали регулярно, но это не значит, что в доме был ад. Напротив, в промежутках все члены семьи сосуществовали вполне даже мирно, внимательно и настороженно следя за тем, чтобы поддерживалась полная внешняя респектабельность. Дорофеев по-прежнему покупал Инге цветы, придвигал теще стул, а Софья Ильинична по-прежнему пребывала в уверенности, что муж Инги «изумительно к ней относится, я просто поражаюсь, влюблен, как в первый месяц супружества».

Дни рождения, годовщины и вообще праздники отмечались, как полагается: поздравлениями, подарками, положенными ночью на стул перед постелью именинника (или — под елку в Новый год), к столу обязательно подавался пирог — Инга для такого случая всегда покупала в кулинарии «Метрополя» крендель и в него втыкали свечки. Держался также и интеллигентный обычай во время вечернего чая рассказывать, что случилось с каждым за день. Начинала Элла Маркизовна: перечисляла, кто звонил, забавно изображала свои диалоги с толстым Боречкой Гунькиным, был у нее такой ученик, сын известного врача-гинеколога («светила!»), парень туповатый, а главное, на редкость ленивый, но при этом, как утверждала

Элла Маркизовна, — «пронзительной хитрости, настоящий плут, держу пари, пойдет далеко». Рассказав для разминки про Боречку, заявившего на сей раз, что не подготовил урока по уважительной причине: потому что родители систематически морят его голодом, — Элла Маркизовна переходила к делу, принималась обстоятельно излагать, что конкретно рекомендовал Валерий Михайлович по поводу пред- или постгриппозного состояния Тошика, для которого опять, опять! забыли купить на рынке гранаты. После Эллы Маркизовны наступала очередь Инги, и та с тоскливо-раздраженным лицом отчитывалась, что провела очередную лабораторную со своими тупицами студентами, которым «все абсолютно до фонаря, как они сейчас выражаются, физику они ненавидят...» «А ты-то любишь?» — хотелось спросить Дорощеву, но он, как обычно, молчал, а Инга уже со страстью говорила о романе Кафки. Интонации ее были напряженно-полемическими, а слегка брезгливая жалость по адресу бездуховных людей, способных жить без всякой литературы, обходясь «узкоцеховыми интересами», имела самое прямое отношение к сосредоточенности Всеволода на физике.

Именно поэтому о своих делах он на этих чаепитиях рассказывать избегал; то, что было для него самым главным, здесь никого не интересовало. Инга (он был в этом уверен) хотела знать только одно — на что он потратил каждую минуту, проведенную вне дома: «С девяти до двенадцати правил отчет? Хорошо. А потом? Совещание? Так долго? Я звонила без пяти час, никто не ответил, я волновалась — неужели опять без обеда? Так ведь и язву можно заработать!» Какая язва! Все было шито белыми нитками! Конечно, он мог рассказать жене действительно интересные вещи, ведь физик же она, черт возьми! Но что тут будешь рассказывать!

В общем, то, что принято называть личной жизнью, шло у Всеволода Евгеньевича — увы и еще раз — увы... Но он для себя окончательно решил: никакой трагедии, так — у всех, по крайней мере у большинства, ничего тут не поделаешь, — вон хоть Володька Алферов... У того, правда, принцип: выяснилось, что не любишь, — уходи. Принцип глупый, вечной любви не бывает, и вообще для взрослых людей эта самая любовь уже не предмет первой необходимости, есть сын, есть наука, и нечего бога гневить.

Вот на работе все было как надо и даже более чем;

здесь Дорофеев безо всяких скидок считал себя просто счастливым. Ему везло: специальность выбрал без ошибки, в десятку попал, а мог ведь не угадать, маялся бы теперь где-нибудь в постылой конторе, отбывал часы. Больше того, в университете успел прослушать лекции самого Лосева, у него же и защититься. Теперь Лосев перебрался в Москву, но, уезжая, рекомендовал своего ученика в отраслевой институт, дали сектор, да какой! Одиннадцать молодых ребят, способных, работающих, к тому же единомышленников! И завлаб, сразу поверивший в Дорофеева и предоставляющий ему максимум свободы. И, главное, тема, о которой можно только мечтать, и то лишь в новогоднюю ночь. В результате этого через семь лет — Государственная премия и лестное предложение перейти в Физтех. Он отказался, хотя и теща, и жена настаивали: Физтех — это фирма, это престиж, там — Настоящая Наука и Силы!

— Это не тщеславие, Сева, пойми, — убеждала Инга. — И не прагматизм. Теперь твой «звездный час», глупо этим не воспользоваться. Физтех — школа, там работали самые выдающиеся ученые, академики. . .

— Кузен Софьи Ильиничны — ученый мирового класса. Недавно он ездил в Брюссель на всемирный конгресс ихтиологов, — с апломбом включилась Элла Маркизовна.

— «На Дуврской дороге стоят верстовые столбы. . .» — не поднимая глаз от книги, невинным голосом произнес тогда Антон.

— На Дуврской. . . что? — не поняла Инга.

— Да нет, ничего. Просто «когда мы жили в Даркли, цыгане украли гусака у Баркса», — был безмятежный ответ.

Инга пожала плечами, пробормотав что-то про черный юмор, который ей не по силам, Элла Маркизовна глубокомысленно думала на немецком языке, а Дорофеев подавил улыбку и бросил на сына грозный взгляд: Диккенса он и сам любил, особенно «Крошку Доррит», которая сейчас лежала перед Антоном на столе. А Элла Маркизовна с годами действительно становилась все больше похожей на тетку мистера Финчинга, но. . . не спускать же паршивцу такие выходки! Бабушка есть бабушка.

Итак, от перевода в Физтех он, несмотря ни на что, отказался, как и от повышения в должности у себя в институте. Для того, чем он хотел заниматься теперь, сек-

тора было достаточно, и вообще административная деятельность не прельщала. Проработав еще пять лет и выкладываясь при этом, как говорится, на полную железку, Дорофеев как-то незаметно сделал и защитил докторскую диссертацию. Все это, разумеется, было вознесением, прухой и, кстати сказать, еще повысило акции доктора физико-математических наук Дорофеева В. Е. в домашнем кругу. Нападки на него за хозяйственную перадивность круто пошли на убыль, за ним (с некоторыми оговорками) были признаны определенные заслуги перед семьей: заработок — во-первых, но это не главное, хотя, конечно, хорошо, можно наконец обеспечить Ребенку необходимые условия жизни; а во-вторых, для Антона полезно, что он имеет все основания гордиться отцом и в чем-то брать с него пример, — как-никак лауреат, доктор, а в будущем, возможно, светило! Не такое, конечно, как кузен Софьи Ильиничны, но все-таки. . . А гордиться заслугами собственного отца — не чванство, а уважение к корням и истокам плюс гарантия от комплекса неполноценности. Этим комплексом, по-видимому (и поделом ему!), страдал злосчастный внук Софьи Ильиничны, страдал всю жизнь, начиная с того момента, когда его повредили шипцами, а теперь тем более, поскольку его отец работал простым инженером где-то на заводе. И вот вам результат, бог мой:

— Бедный мальчик совсем сошел с круга, учится на одни тройки и собирается стать ветеринаром. Бог мой! Наташил полный дом помойных кошек — ужас, ужас, микробы! Нет, я не хочу, чтобы мой Внук вырос таким недотепой.

Назвать Антона недотепой было нельзя. Скромный — да, сторонящийся всякого шума, суеты, показухи — да. В школе его уважали, хотя, став старше, он так и не научился драться. А малыши, те просто ходили за ним как пришитые, что во дворе, что в школе, где он начиная с шестого, что ли, класса постоянно был у них вожатым. Дорофееву правился сын, но иногда вызывал удивление абсолютным отсутствием самого нормального, естественного честолюбия.

Новая степень свободы выразилась в праве ездить одному по субботам за город. Антон был в школе, Инга у себя в лаборатории, а Всеволод Евгеньевич, у которого после защиты вдруг оказалось неожиданно много вре-

мени, сразу после завтрака отправлялся на вокзал, садился в электричку и ехал до станции, которую сам выбрал.

Поездки эти начались осенью, в конце сентября, и Дорофеев старался не пропустить ни одной субботы — воскресный день издавна принадлежал сыну. Даже в дождливую погоду, надев старый плащ и резиновые сапоги, Всеволод Евгеньевич отправлялся куда-нибудь в Тосно или в Шапки, бродил там по мокрому пустому лесу, изредка находя последние грибы, глядел по сторонам и слышал только собственные шаги да шлепанье капель по веткам. Именно с той осени такие еженедельные поездки стали для него не просто удовольствием и отдыхом, а почти физической потребностью.

Теперь-то, в сорок восемь лет, он делался по-настоящему больным, издерганным и раздраженным, если не удавалось в один из выходных вырваться из Москвы. Начинал ненавидеть все — асфальт под ногами, каменные стены, воздух, пропитанный черт-те чем. Да и не воздух это, так... атмосфера населенного пункта!

Но стоило провести день в лесу, как все опять становилось очень даже симпатичным, уютным и милым, потому что вообще-то Дорофеев Москву любил.

Сейчас выезды за город не являлись проблемой — он был один, свободен, к тому же приобрел машину, на которой самозабвенно гонял по Подмоскovie, исколесив его вдоль и поперек. Первое время пытались примазаться разные приятели и особенно приятельницы. Но их-то Дорофеев давно научился держать в узде — непреклонно отказывал, игнорируя обиды, — всему свое время, а в лес он ездит совсем не за тем... В поездках он вообще избегал компаний.

А в ту, первую осень он ездил один, и чаще всего почему-то по Московской дороге, открыл для себя Шапки, где ему нравилось все, начиная с названия. А озера? Озеро Белое. Озеро Долгое. На их берегах он устраивал себе привалы и, сидя на пне, с удовольствием съедал обед — жареные пирожки или бутерброды, купленные в вокзальном буфете, плюс неизменная бутылка пива.

Ближе к ноябрю погода испортилась окончательно, но Дорофеев упрямо продолжал свои вылазки.

— Забота о собственном здоровье дело, безусловно, похвальное! Весьма! — все-таки не выдержала как-то Элла Маркизовна. — И если еще поверить, что все эти... вояжи совершаются без... м-мм... спутниц...



В следующую же пятницу Инга объявила, что на завтра освободилась от занятий и едет с ним!

— Хочу подышать, измоталась вконец.

Дни стояли на редкость мозглые, холодные, обычно в такую слякоть она, едва добрав до булочной, находящейся в двух шагах, уже начинала жаловаться на озноб и проклинать погоду. Дорофеев было заартачился, вспыхнул скандал со слезами и упреками в крайнем, крайнем! зоологическом эгоизме — я так мечтала, была у парикмахера, а ты... Ну при чем здесь парикмахер?! Однако Дорофеев уступил, и прогулка, само собой, вышла будь здоров. Сперва полдня обсуждали, куда ехать. Инга настаивала — в Рошино, там Петровская роща, а во-вторых, можно походить по поселку, поискать дачу на следующий сезон, мама говорит: в будущем году только в Рошино! Там совхозное молоко и свежий творог! Дорофееву на Карельский перешеек категорически не хотелось, для него эти места («Бог мой! Песок и сосны!») являлись зловещей вотчиной Эллы Маркизовны. Пока спорили, дождь усилился, но тут уж уперся Дорофеев: решили ехать — надо ехать. Отправились в Павловск, где полтора часа угрюмо бродили по джам и Всеволод Евгеньевич вдрызг промочил ноги, потому что надел новые чешские туфли — «не собираешься же ты ехать со мной в своих болотных сапогах?!»

Больше Инга в попутчицы не набивалась. Дорофеев обследовал Гатчинский парк, съездил в Елизаветино, где жил до войны с матерью на даче. Потом внезапно началась зима, и он один раз покатался на лыжах в Кавголово, но сразу решил переключиться на Пушкин. Гор и трамплинов там, правда, не было, зато народу — тоже, а это главное.

В Пушкине, в Баболовском парке, он познакомился с Лялей.

Случилось это совершенно безветренным, сверкающим утром. Ночью выпал снег и теперь спокойно лежал на неподвижных ветках. Дорофеев приехал рано, шел один по пустой аллее, первым шел — нигде ни лыжни, ни следа. Шел, смотрел на синиц, скачущих под занедевевающим кустом. Белые сучья и ветки сверкали на солнце, и поэтически настроенный Дорофеев вдруг понял, что куст этот похож на коралл, который они с Антоном недавно видели в музее. А женская фигура, появившаяся из-за

деревьев на параллельной дорожке, напомнила ему лебедя — вон как движется, будто плывет. И маленькую голову держит, точно лебедь, выпрямив шею. И свитер — белый, пушистый.

Женщина исчезла за кустом, и Дорофеев забыл о ней, вышел на чью-то лыжню, побежал, легко отталкиваясь палками, подумал, между прочим, что — дурак, надо было надеть солнечные очки, больно уж яркий день сегодня; лихо, не снижая скорости, сделал вираж, повернул вправо и чуть не налетел на давешнюю Царевну-Лебедь. Правда, сумел в последний момент затормозить, но она все равно испугалась, охнула и села в сугроб. Пришлось поднимать, отряхивать, рассыпаться в извинениях, что Всеволод Евгеньевич и проделал с большим почему-то удовольствием. Потом она спросила, который час, и заторопилась: к двум должна быть в городе, обещала маме, а часы забыла, а теперь уже. . . Дорофеев сказал, что к двум не успеть, особенно если ехать с Пушкинского вокзала.

— А как же еще? — удивилась она.

— Можно пойти до Александровской, это ближе. Идемте, провожу.

Всю дорогу до станции Дорофеев оживленно говорил, уж очень хорошо она слушала, не перебивала, не пыталась ворваться в паузу, чтобы сказать про свое, не задавала бестолковых вопросов, посматривала темными, широко раскрытыми глазами и время от времени негромко спрашивала: «Да? Правда?»

О себе она не рассказала ничего (да он и не спросил), только на прощанье, уже садясь в электричку, обмолвилась, что вообще-то бывает здесь, в парке, каждую субботу.

— Как вас зовут? — спохватился Дорофеев, самозабвенно болтавший о себе, о своих делах и замечательных успехах, о том, что физика — наука наук, а он — такой и этакий (даже про разряды по теннису и борьбе не забыл, а потом, стоя один на платформе, снова оказавшись в тишине и белизне, никак не мог взять в толк, что это на него накатило — в первый раз в жизни). Но ответа не расслышал; двери вагона закрылись.

В следующую субботу, — а день был премерзкий, снег с дождем, — он упрямо взял лыжи и отправился на вокзал, хотя был почти уверен — не будет ее в парке, в такую погоду на лыжную прогулку не отважится даже самый задвинутый пациент доктора В. П. Алферова. На

Дорофеева с его лыжами смотрели в электричке соответственно.

Ее он увидел, едва войдя в парк, — как ни в чем не бывало шла навстречу по раскисшей лыжне. В мокрой нейлоновой куртке с капюшоном, из-под которого на лоб падали пряди темных волос.

— Снег к лыжам липнет, идти никакой возможности, — радостно сказала она.

Дорофеев оживился.

— А давайте лучше где-нибудь посидим. Под крышей, а?

— В таком виде?

— А что? У вас замечательный вид, и вообще... — он запнулся.

Через полчаса они сидели в пустом кафе. Официантка очень старалась — мгновенно принесла мясо в горшочках, блины с медом, а когда Дорофеев решил заказать вино, сама сказала, что у них есть хорошее, «Циннадали». Но он попросил шампанского:

— У меня сегодня праздник! — и значительно посмотрел на Лялю — к этому моменту успел узнать, что ее зовут Лялей. И больше ничего, ни сколько лет (по виду не больше двадцати восьми), ни где работает, ни о семье. Удивительное дело, на него опять напало проклятое красноречие, без конца произносил витиеватые тосты, рассказывал анекдоты, даже какие-то случаи из собственного прошлого — вообще-то вроде бы смешные, но такие, где он, хошь не хошь, выглядел исключительно герончески.

Ляля слушала, склонив голову, улыбалась («Да? Правда?»). Все было прекрасно. И совершенно отсутствовала необходимость выяснять анкетные данные. Главное — он знал: перед ним молодая, красивая женщина, которой он явно нравится. Иначе зачем она так смотрит, зачем заинтересованно спрашивает, главное, зачем приехала сюда под дождем?

Через неделю они опять встретились в парке, и Дорофеев попросил ее телефон. Она дала, служебный. Но предупредила: говорить только деловым тоном и коротко, телефон параллельный, директор в любую минуту может переключить на себя. Да, да, она секретарь директора завода. А что? Вы чем-то недовольны, сэр? Полагаете, что в обязанности секретаря входят еще какие-то... особые услуги? Нет? Ну и молодец. А я вот, честно говоря, и сама так раньше думала. Когда устранилась, все хо-

тела на него скорее поглядеть — хоть бы не очень страшный, раз уж такая судьба. . .

— Не страшный? — хрипло спросил Дорофеев.

— В порядке. Сорок два года, вполне современный мужчина. Джентльмен. Представьте, до сих пор играет в футбол. В заводской команде, нападающий или какой-то полузащитник, что ли. Так что все тип-топ. Но. . . обожает жену и ни на кого не смотрит. Представляете?

— Обидно?

— Было. Чего врать-то? — Ляля засмеялась и стряхнула пепел с сигареты в снег, они сидели в парке на скамейке. — А теперь рада. Потому что морально нечистоплотно крутить романы там, где работаешь. Знаете, как говорят, — нельзя. . . это самое. . . там, где ешь. — Последнее она произнесла очень серьезно, видимо, услышала где-то и считала исключительно умной мыслью.

Вскоре они с Дорофеевым стали встречаться каждый день. После работы он, выскочив из проходной по звонку, хватал первое же такси и мчался за Лялей, к заводу. Раза два-три водил ее в ресторан, отдавая себе полный отчет в том, что будет, если встретится кто-нибудь из знакомых. А чаще они просто гуляли, Дорофеев облюбовал для этих прогулок Каменный остров и разработал такой маршрут, по которому можно было пройти и ни с кем не столкнуться, было безлюдно и снежно, фонари попадались редко, и однажды выяснилось, что он совсем не умеет целоваться.

К себе Ляля не приглашала — одна комната, мама и сын. Зовут Костя, пять лет.

Дорофеев не чувствовал ни малейших угрызений. То, что происходило, Инге совершенно не касалось. Ляля занимала ту часть его души и мыслей, которые Инге и так не принадлежали. «В какой-то степени, — думал Дорофеев, — с появлением Ляли стало даже лучше: у меня теперь всегда хорошее настроение, а это на пользу всей семье».

И верно: дома установилась вполне сносная погода. Дорофеев стал ручным и покладистым, сам предлагал сильную помощь по хозяйству, шутил с тещей, показывал Антону приемы самбо. Тот, правда, относился к этому без всякого энтузиазма, но вежливо смотрел и падал. Выражение лица его было всегда доброжелательным, но слегка ироническим, так что иногда Дорофееву начинало казаться — сын все про него понимает. Но он отма-

живался от этих мыслей: «Совсем сбрендил. Что может понимать пятнадцатилетний панан?»

Домой после встреч с Лялей Всеволод Евгеньевич возвращался не позднее, чем раньше (когда торчал в институте до ночи), так что и тут — никакого ущерба семье. Только однажды Инга пожаловалась: «Звонила тебе вчера после шести, телефон как мертвый». Дорофеев напрягся, но она тут же сама и объяснила: «Наверное, девичьи на коммутаторе стали раньше уходить домой».

В ответ Дорофеев только неопределенно хмыкнул, что отнюдь не являлось враньем. Вообще, врать ему пока не приходилось ни разу — последнее время Инга перестала задавать те вопросы. А не рассказывать о чем-то — не значит врать, правда?

Однако вскоре пришлось, когда к Ляле в Пушкине прицепился пьяный. Может, и не прицепился бы, но у Ляли была привычка кокетничать со всеми подряд, иногда Всеволоду казалось, это делается специально для него, чтобы понять, каким успехом она пользуется. Пьяному в Пушкине он надавал по шеем, но и сам кое-что получил и вернулся с лыжной прогулки в полупотребном виде. А от вынужденного вранья (нечаянно ткнул палькой в лицо) несколько дней держалось гнусное ощущение, почти физическое, что-то вроде того, как если бы ел холодный бараний суя и жиром залепило весь рот. Дома его в эти дни все беспо, особенно Инга. — все, что она говорила, звучало издевательским ханжеством, и Дорофеев сказал ей об этом, на мгновение испытал мстительное удовлетворение, на смену которому тут же пришло трезвое сознание, что ведет он себя как последняя сволочь. Он дал себе слово больше не врать... Без крайней, напоследней нужды.

Встречи с Лялей на Каменном острове, объятия на лавочках и в парадных — все это было очень романтично и отдавало юностью. Все это было прекрасно.

— Прекрасно, необходимо, но... недостаточно, — как-то со вздохом сказал Дорофеев.

Ляля пожалала плечами:

— Этот вопрос выше моей зарплаты. Что я могу сделать, Лодик, скажи? Привести тебя к нам и выставить маму с Костей? Мол, иди гуляй, мамуля, ко мне любовник пришел! Красиво, правда?

Дорофеев позвонил Володьке, стал что-то мямлить, и тот мгновенно понял:

— Ключ, что ли, дать? Рад душой, но это... к жене сестра приехала. А вот после Нового года мы, наоборот, к ней едем в Минск. Так что стисни зубы и терпи. Нагуливай этот... аппетит.

Дорофеев стал терпеть, благо до Нового года оставалось несколько дней. И вдруг — не было ни гроша... Элла Маркизовна приподнято сообщила, что Софья Ильинична нашла в Комарово «две чудные комнаты, светлые, изолированные, с теплыми удобствами. И в двух шагах — можете себе представить? — Дом творчества писателей! Что может быть лучше?! (Кроме, разумеется, водной прогулки!) На каникулы едем туда с Антоном и Ингой, у нее две недели отпуска за прошлый год...»

— Я не в восторге от того, что Антон будет общаться с этим странным мальчиком, — сказала Инга, имея в виду бракованного внука Софьи Ильиничны, — ну да что поделаешь. Ты тоже мог бы поехать, Сева, — добавила она великодушно, — до города электричкой всего час, а ты ведь так любишь природу.

Но тут, слава богу, вмешалась теща:

— Там недостаточно места. Четверым будет не вернуться. Другое дело — выходные дни. Это, конечно, не индивидуальные выезды, что поделаешь! На, так сказать, природу! Но иногда, в крайнем случае, изредка можно уделить внимание и Ребенку...

Первого января днем Дорофеев отвез семью на такси в Комарово, помог разобрать вещи, наносил воды из колодца (водопроводной, считала Элла Маркизовна, можно пользоваться только для умывания, стирки и мытья посуды) и в тот же вечер вернулся в город. Дома он был в девять, по дороге купил шампанского, полусухого, такого же, как они с Лялей пили в Пушкине, в первый раз.

К одиннадцати часам он успел навести в квартире приблизительный порядок, а в четверть двенадцатого пришла Ляля.

— Сказала маме, что директор заставил дежурить. До утра. На всякий случай оставила твой телефон.

Последнее Дорофееву не очень понравилось, но он промолчал, а через минуту и вообще не помнил про телефон, Лялину маму, Ингу, которой вполне могло ведь взбрести в голову взять да и приехать среди ночи — забыла лекарство, которое «маме необходимо, крайне! необходимо». А-а, наплевать...

...Ляля приходила каждый вечер и оставалась до двенадцати. Потом Дорофеев отвозил ее домой на такси.

Раньше она была молчаливой, и Всеволода Евгеньевича это вполне устраивало. Теперь появилось что-то новое. Начала с важным видом рассуждать о жизни, рассказывать про каких-то своих друзей: «Анюта не права. Павлик к ней идеально относится, но если не следить за собой, никакой мужчина не вытерпит. . .» Слава богу, Дорофеев способен был слушать и не слышать. Имел большой опыт.

Кроме того, стала каждый день звонить ему в институт, а когда в субботу днем (Ляля как раз опять ночевала у него) Дорофеев засобирался на дачу, надулась и расплакалась. Он был поражен. В чем дело? Ведь и так задержался, обещал своим быть в пятницу вечером, Инга, того гляди, примчится выяснять, кто умер? Кое-как он успокоил Лялю, для чего пришлось опоздать еще на час и заслуженно узнать от Инги, что, во-первых, заставляя других ждать и волноваться, человек проявляет крайнюю степень эгоизма, поскольку ворует не только (и не столько!) время и нервные клетки, но просто-напросто их жизнь, ибо «наше время, Сева, это ведь и есть наша жизнь, не правда ли?» Крыть тут было нечем, и Дорофеев обозлился. В особенности когда узнал, что, во-вторых, Антон накануне полтора часа прождал его на платформе, встречая каждый поезд, сегодня ходил тоже, а сейчас отправился с внуком Софьи Пальничкиной на залив. «Когда вернется?» — «Не знаю, не знаю. Мальчик, по-моему, на тебя крайне обижен!»

В понедельник после работы Дорофеев заехал за Лялей и повез ее прямо к себе. Никаких объяснений и обид. Ляля держалась как всегда, только уже перед уходом вскользь заметила, что вообще-то при положении Всеволода и его заработках он мог бы иметь и более ухоженный дом. Дорофеев этого разговора не поддержал, да и вообще беседы с Лялей теперь его мало занимали.

В первый же день, когда вернулась семья и все благополучно сидели за часом, обсуждая проект Всеволода Евгеньевича — во время весенних каникул сына поехать вместе с ним в Москву, — вдруг зазвонил телефон. Подошла Инга, три раза сказала «алло» и, пожав плечами, положила трубку.

После одиннадцати вечера звонок раздался опять. На этот раз трубку взял сам Всеволод Евгеньевич. И услышал далекий Лялин голос:

— Лодик, я из автомата, — сообщила она.

— Да? — нейтральным тоном произнес Дорофеев. Инга подняла глаза от книги.

— Как дела? — Ляля, похоже, собралась вести с ним светскую беседу.

— Нормально. Спасибо.

— А я соскучилась! Лодик! Алло, ты слышишь? Лодик?

Это было, разумеется, очень трогательно... но шея Инги начала уже краснеть, глаза расширились, и Дорофеев, довольно холодно повторив «спасибо», нажал на рычаг.

— Владимир звонил, — он повернулся к жене.

— Правда? — она подняла брови. — Ты же сам, кажется, говорил, что он уехал в Минск.

— Теперь приехал, — Дорофеев проклинал себя за глупость: в принципе ей ничего не стоило завтра же позвонить Володьке и проверить.

— Из автомата. У него телефон испорчен, — зачем-то соврал он, чувствуя отвращение и к Ляле, и к Инге, а главное, к самому себе.

На следующий день Ляля заявила, что не могла не позвонить!

— Мне было больно, понимаешь? Больно!.. Ты там... в кругу семьи, с ней... обо мне и думать забыл, а я тут... — и заплакала прямо посреди улицы, промокая глаза носовым платком.

— Лялечка! — четко сказал Дорофеев, оглядевшись, не идет ли кто из знакомых. — Ну что же делать? Ты ведь знала, что я женат.

— Это несправедливо! — рыдала Ляля. — Я бы ничего не говорила, если б ты ее любил! Но я ведь вижу...

— Я люблю сына. И хватит. Вообще — что это с тобой? Всегда была такая спокойная...

— Да? Правда?... «Всегда» — это когда?! Когда мы не были близки? Как ты не понимаешь! Для женщины это имеет громадное значение. Для мужчины главное — работа, а для женщины — любовь! Я теперь принадлежу тебе, и больше для меня ничего не существует. Ничего! И никто! Даже Костик! Конечно, я понимаю, у меня нет никаких прав, но понимать головой — это одно. Сердцу не прикажешь!

— Перестань, — сказал Дорофеев хмурясь, — я... мы что-нибудь придумаем. Я попробую снять комнату.

— Ага! — Ляля всхлипнула. — Мы там будем встречаться, а потом ты будешь бежать к ней. А выходные?



А праздники? Думаешь, так приятно — все время одной? Вот и Анюта говорит. . .

— Вот что, Ляля, — перебил ее Дорофеев, — мнение твоей Анюты меня не интересует. Это раз. А во-вторых, — продолжал он, холодея от того, что говорит голосом Инги, — меня крайне не устраивают твои звонки ко мне домой. Пожалуйста, больше этого не делай.

— Боншься? Ее?! — Ляля побледнела и закусила губу.

— Не боюсь, а не хочу расстраивать. Она ни в чем не виновата.

— А я, значит, виновата?! Меня можно не уважать, плевать!

На них уже оборачивались прохожие.

— Прекрати, — прошипел Дорофеев. — Это, это. . . сцена из плохой мелодрамы.

Ляля театрально ахнула, всплеснула руками и бегом кинулась к остановке автобуса. Дорофеев шагнул было следом, но раздумал: все к лучшему.

Вечером были многозначительные звонки с молчанием. Подходила Инга, подходил Антон, Элла Маркизовна дважды обращалась к тупице-звонящему с призывом нажать какую-то кнопку. Наконец, очень неохотно, трубку снял Всеволод Евгеньевич — ни звука.

— Кому-то неймется, — натужно весело сказала Инга.

— А меж тем кузен Софьи Ильиничны, — задумчиво произнесла Элла Маркизовна. — уехал в Ляйпцихь. . .

— «На Дуврской дороге. . .» — начал было Антон печальным голосом, но передумал, подошел к бабке и погладил ее по волосам.

Придя наутро к себе в институт, Дорофеев тотчас позвонил Ляле, та холодно сказала, что говорить не может — телефон нужен Сергею Андреевичу, пусть Всеволод позвонит через час.

Позвонить через час он не смог, был занят, а потом, честно говоря, вообще забыл — закрутился. Вспомнил только за десять минут до конца рабочего дня.

— А я сижу и жду, — тихо сказала Ляля. — Даже в обед не выходила. Вот.

Дорофеев устал, хотелось домой, тем не менее он предложил сейчас же заехать, отвезти ее в ресторан и накормить.

— Не могу есть. . . — еще тише сказала она. — А куда мы пойдем?

— Ну... можно в парк Победы. Или хочешь — в «Приморский»? Мы там были уже, на Большом.

— В «Садко» ты мне не предлагаешь, — тотчас печально констатировала она, — в «Кавказский» тоже... Я понимаю, вдруг кто увидит, а ты не хочешь травмировать родную супругу. Ты очень благородный человек, Лодик... не то что... эти, из мелодрамы. Знаешь, лучше я пойду домой. Аппетита все равно никакого нет, даже тошнит, и вообще я решила пока с тобой не встречаться. Мне тут... Короче, надо подождать, убедиться... Может, нам будет лучше друг без дружки? Я сегодня оформила отпуск, поеду в Лугу, в пансионат. Буду там кататься на лыжах и ходить на танцы.

Неделю назад Ляля сказала, что мечтает махнуть этим летом вместе на Черное море. В Гагры. Дорофеев сгоряча пообещал и сейчас почувствовал облегчение, даже благодарность.

— Смотри, вот возьму и нагряну к тебе в Лугу безо всякого предупреждения, — весело объявил он, — расшугаю к чертям всех твоих кавалеров.

Но пошла работа по новой теме, опять пропадал в институте, да и дома ночами сидел за столом.

А примерно через полторы недели его внезапно вызвали с совещания к телефону. Срочно! Звонят из дому! Кажется, там что-то случилось!

Вспотевшей рукой Дорофеев схватил трубку, прижал к уху и услышал Ингин голос. Она говорила медленно, с какой-то торжественной скорбью — так обычно читают некрологи.

— Прошу немедленно приехать. Домой. Немедленно. Пока сын в школе.

— Что?! Что случилось?! — закричал Дорофеев, но услышал гудки.

Ему дали казенную машину, и по дороге он успел перебрать в уме все возможные варианты несчастий: плохо с тещей, или нет — сама Инга неожиданно узнала, что больна, и чем-то страшным. А может, Антон натворил что-нибудь в классе? Ерунду, но для них это катастрофа времен и народов. Но уж очень трагический тон... А вдруг... вдруг сын... Нет, она же сказала, он в школе. А так сообщают, если... Точно! Элла Маркизовна! Вчера жаловалась, что голова как камень...

Он бегом поднялся по лестнице. Инга встретила его в дверях бледная, прямая, со стиснутыми губами. Сзади

выскальзнула такая же прямая фигура абсолютно живой и, видимо, сравнительно здоровой Эллы Маркизовны. Не было только сына.

— Антон?! — выдохнул Дорофеев, забыв обо всем на свете. В ответ Инга молча протянула ему вскрытый конверт, адресованный Дорофеевым. Не ему, не Инге, не Антону, а именно Дорофеевым. Всем. Ничего не понимая, Всеволод Евгеньевич вынул из конверта письмо. Там было что-то в таком роде:

«Дорогой мой человек! Пишу тебе, потому что не могу больше ждать, считать часы и минуты и все надеяться, что ты приедешь. Прошла неделя, семь дней, сто шестьдесят восемь часов. Я не в силах ждать больше! Я хочу, чтобы ты знал, как я все время думаю о тебе и переживаю. Ведь мы так плохо расстались, Лодик! Я понимаю: ты разнервничался, что я звоню тебе домой, но я не могла иначе, пойми. Я, идиотка, решила уехать и тем наказывать тебя! А наказала только себя! Потому что ты мне, Лодик, очень и очень дорог, я люблю тебя. Как мужчина мне, кроме тебя, никто не нужен. Не скрою: я здесь многим нравлюсь, но для меня никто не существует, знай! Я все время только и вспоминаю, как мы были вместе, и от этого не могу спать...» — похолодев, Дорофеев пробежал глазами строчку за строчкой. Было в письме что-то нестерпимо знакомое, и он вдруг понял — что: оно напоминало Ингино письмо перед их женитьбой. Почти слово в слово: — «Лодик, мне ничего от тебя не нужно, но я хочу родить и рожу от тебя Малыша...» — Будь оно все проклято! — «...Мы подходим друг к другу во всех отношениях, ты — мой и только мой, а там тебя не любят, ты приносишь себя в жертву... ее я видела, специально съездила в Технологический институт, и мне показали. Жена такого Ученого могла бы следить за собой и получше! Кстати, в человеке все должно быть прекрасно. Хотя ты, наверное, это и без меня понимаешь, иначе не стал бы встречаться с другой женщиной». — Дорофеев даже зубами заскрипел. — «Ты живешь рядом с ней, а принадлежишь только мне, нет, и я... В общем, я, конечно, желаю тебе счастья». И конец письма: «И еще я желаю тебе быть смелым, Лодик. И честным — разрубить этот узел! А не хватит смелости, что ж. Я и такого все равно буду любить тебя и принадлежать только тебе, иначе я не могу. Крепко обнимаю и целую тысячу тысяч раз!!

*Твоя Альбина».*

Альбина? Какая еще Альбина? Не мне! Ошибка... Нет... Нет, не ошибка. Ляля — это Альбина, Альбина Алексеевна...

— Мне стыдно, что я прочла письмо, адресованное, видимо, чужому человеку, — сказала Инга все тем же траурным голосом. — Вернее, до конца я его, разумеется, не читала, только от «дорогого моего человека» до... до... как там? «Лодик», кажется? Кто это — Лодик? Я теряюсь в догадках.

И опять Дорофеев испытал острейшее чувство унижения. И отвращения ко всему и всем. Он ясно видел: сейчас можно сказать, что все это ошибка или дурацкий розыгрыш, упереться, изобразить обиду — мол, откуда ему знать про каких-то Лодиков. Короче, можно снова соврать. Инга, скорее всего, сделает вид, что поверила. И будет худой мир, про который почему-то принято думать, будто он лучше «доброй ссоры». Будет этот самый мир, и прежняя жизнь пойдет дальше. Построенная на вранье! Пошлость какая! И... Ляля-то какова?.. Да что Ляля? Не в ней же дело. Весь этот «роман» — не причина, а следствие. Пошлости! Надо кончать, и здесь, и там.

И Всеволод ушел.

Сборы заняли всего минут пять, в течение которых Инга молчала, он тоже. Понимал, что надо хоть что-то сказать, — и не мог. Самое удивительное, что даже Элла Маркизовна не вымолвила ни слова, только когда, застегнув портфель, Всеволод двинулся к дверям, вдруг растерянно воскликнула:

— Но куда же он? Бог мой! Не надо!

Последнее, что слышал Дорофеев, было:

— Мама, прекрати истерику, это чужой человек.

Первую неделю он прожил у Володьки Алферова. Тот сперва помалкивал, а потом, запыхтев, принялся убеждать Всеволода помириться с Ингой. Даже предлагал себя в качестве парламентаря, а что... влип, так ты сам, извини, этот... чужак. Блудишь, так не попадайся, а не умеешь — не берись. В конце концов, у вас — сын.

— Не лезь, — оборвал его Дорофеев. — Ничего не понимаешь и не лезь! Сыну такая семья тоже ни к чему. Лучше жить с отцом врозь, чем постоянная фальшь и притворство... И для Инги так лучше, ей я давно не нужен, у нее — Антон.

— Ну, ну... давай, выдумывай, — пробубнил Володька, но больше этого вопроса не касался.

Вскоре Дорофеев перебрался в пустую квартиру сослуживца, уехавшего в заграничную командировку, а в сентябре снял комнату в Лахте и стал готовиться к зимовке: купил дрова, заменил треснувшее стекло в окне.

Первая же встреча с Лялей кончилась уродливой сценой, рыданиями и упреками. И угрозами. Ляля была вне себя: «Да, письмо на домашний адрес послала нарочно! И «Дорофеевым» написала нарочно! Нарочно! Нарочно! Чтобы разрубить этот узел! Раз ты настолько безволен, не мог набраться храбрости сказать супруге, что любишь другую! У меня, если хочешь знать, ребенок будет! И я его оставлю, оставлю! Хотя бы и тебе назло!»

Про ребенка она, конечно, врала. Дорофеев слушал визгливый голос, смотрел в маленькие круглые глаза и диву давался: куда девалась молчаливая гордая красавица, Царевна-Лебедь? Сейчас перед ним была злобная, глупая гусыня.

Через неделю они встретились опять — Ляля потребовала, хочет показать какую-то справку из женской консультации. Справку, само собой, «забыла дома», а Дорофеев в этот вечер сделал то, о чем впоследствии старался не вспоминать: вместо того чтобы, как было твердо решено накануне, сказать Ляле, что эта встреча — последняя, он, смертельно устав от ее слез и жалоб на тошноту, дал ей понять — дескать в неопределенном будущем они, возможно, и поженятся — почему бы и нет? — а вот о ребенке сейчас не может быть и речи.

— Мы будем вместе? Да, Лодик? Скажи! Правда? Ты обещаешь? — мгновенно оживилась Ляля, забыв, как секунду назад истерически рыдала.

Поглядывая на ее сразу похорошевшее, веселое лицо, измотанный Дорофеев вяло думал: «Комедия! От начала и до конца, будь оно все проклято. Завтра же скажу ей, что...»

— Так это точно? Ты, правда, обещаешь, Лодик? — тередила его Ляля. — Я не спрашиваю — когда, но в принципе?

— Я ведь сказал «возможно». В смысле — «не исключено», — ответил Дорофеев, мысленно назвав себя идиотом. — Рано пока об этом, рано, неужели не понимаешь?

— Понимаю, отчего же нет? — промурлыкала Ляля,

по-хозяйски, беря его под руку. — Я все сделаю, Лодик, завтра же пойду в консультацию, возьму направление. Ребенок нам, и верно, пока ни к чему, сначала надо...

Всеволод хотел было напомнить, что в консультации Ляля вроде была сегодня, да не стал — пускай себе... Рыдания прекратились, и то хлеб. Актриса... Мерзость, которой она тут занимается, имеет точное название: шантаж. В конце концов, даже если бы все оказалось правдой... маловероятно, но — допустим, то и тогда никто не имеет права так себя вести. Взрослые люди, знали, на что шли! И знали, что за все надо платить. Кстати, он, Дорофеев, уже успел расплатиться, по самой высокой цене: потерей сына! И собственной ложью, от которой хочется сдохнуть. Опять соврал. Противно. Противно, несмотря на то, что это была как бы ложь во спасение, просто чтобы прекратить истерику посреди улицы. Володька вон тоже соглашается со своими психами, когда те утверждают, будто они Штирлицы.

Ляля между тем совершенно успокоилась, напудрила нос, поправила волосы и всю дорогу до дома громко смеялась и кокетничала. Дорофеев смотрел на нее, и она ему не нравилась, однако, прощаясь, обещал в один из ближайших дней позвонить — надо же наконец обсудить все серьезно. На обратном пути он хмуро думал, что непременно встретится с ней завтра и скажет... Что скажет? В общем... объяснит.

Но именно завтра подвернулась срочная поездка в Новосибирск. За два часа оформив командировку, Дорофеев улетел. Вернулся он через неделю и сразу узнал, что первые три дня его отсутствия какая-то женщина буквально обрывала телефон.

— Представляете — по пять раз на дню: «Где Всеволод Евгеньевич? Когда вернется?» — посмеиваясь, докладывала лаборантка Юля. — «Если будет звонить, передайте, что его разыскивает Альбина Алексеевна, вы не забудете? Да? Правда? Запишите, пожалуйста!» До того настырная гражданка, ну — ужас! А потом вдруг перестала звонить, как отрезало.

Юля очень похоже передразнила Лялю, но Дорофеев даже не улыбнулся, кивнул и озабоченно направился в свой кабинет. Ляле он в этот день решил не звонить, — надо же как-то подготовиться, собраться с силами. Но ни завтра, ни послезавтра так и не смог заставить себя набрать ее номер. А от нее, слава богу, не было ни слу-

ху...духу. Постепенно Дорофеев пришел к выводу, что, конечно, Ляля все поняла сама и, наверное, уже успокоилась. Вот, кстати, лучшее подтверждение тому, что все она тогда выдумала!

Но в самом конце сентября, когда он перестал уже вздрагивать от телефонных звонков, в трубке вдруг послышался Лялин голос. Трагическим тоном она принялась плести несусветную историю про ужасные — просто кошмарные! — неприятности на работе.

— В общем, мне необходимо с тобой встретиться, мне ничего т а к о г о не нужно, не думай, только — совет, это не телефонный разговор, там есть один подсудимый момент, дело очень серьезное, поверь. . .

Сперва ребенок! Теперь суд! . .

Дорофеев весьма сухо ответил, что сегодня вечером, увы, опять уезжает. В длительную командировку, а ей целесообразнее всего обратиться в юридическую консультацию, он же, Всеволод, к сожалению, физик, а не адвокат. И до свидания.

— Подлец. Какой ты подлец. . . — надрывным полупшепотом сказала Ляля. И больше не звонила ни разу.

. . . С тех пор Всеволод Евгеньевич считал, что совершенно не разбирается в людях — выдумывает их, надевает чертами, которых нет. Только в работе все ясно и чисто, без обмана! А люди — мало того, что постоянно делают пакости сами, так еще норовят втянуть и перепачкать других. Вот извольте: уже «подлец». . . Нет, наука, только наука, где единственный критерий — истина, независимо от того, нравится она кому-то или нет. Наука. . . И еще — природа, мудрая, бескорыстная и прекрасная!

И в характере Инги он тоже, как выяснилось, не разобрался. После ухода из дому все-таки ждал звонков, объяснений, подробного разбора: во-первых, что всегда был плохим мужем и эгоистом, во-вторых, отвратительным отцом, которому теперь незачем встречаться с сыном, для мальчика это крайне, да, крайне! вредно. И ошибся: Инга не только сама не пыталась выяснять отношения, но и попытку Всеволода Евгеньевича пресекла, даже ушла, когда он явился за вещами. А Антона отпускала к отцу беспрепятственно и неукоснительно. Сам Антон по поводу того, что произошло, ни разу не сказал ни слова.

В конце сентября в «верхах» совершенно неожиданно было принято решение о передаче тематики дорофеев-

ского сектора головному московскому институту. Всеволоду Евгеньевичу как руководителю работы и еще двум его сотрудникам предложили перевод. Дорофеев счел своим долгом обсудить это с Ингой, но та от встречи опять отказалась. А по телефону заявила:

— Поступай как знаешь. Как лучше тебе.

И он дал согласие.

Антон приезжал каждые каникулы, а в промежутках писал. Примерно через год смягчилась и Инга; в последнее время даже довольно часто звонила посоветоваться насчет сына. Позапрошлой зимой увиделись — он приехал в Ленинград на конференцию, а Инга, не предупредив, пришла послушать его доклад. Встретившись после заседания, оба вдруг обрадовались, даже обнялись по-родственному.

— Ты замечательно выглядишь, от поклонниц, наверное, отбою нет, — добродушно сказала Инга, и Дорофеев усмехнулся: накануне как раз получил афронт от красивой женщины, на которую обрушил все свое проверенное сбаяние.

Сама Инга здорово постарела, еще больше похудела и носила очки с толстыми стеклами, отчего сразу стала похожа на мать.

— Как Элла Маркизовна? — почему-то с большим интересом спросил Дорофеев.

Инга только рукой махнула:

— Все воспитывает нас с Антоном. Только... она уже совсем-совсем как ребенок.

А с Антоном были постоянные волнения и страсти. Особенно когда он выбирал вуз — решил поступать на филфак, а Инга с матерью, к удивлению Дорофеева, восстали. «Ты должен идти по стопам отца!» Антон, как всегда спокойно, объяснил, что физика — прекрасная наука, но он хочет заниматься литературой, так как ему интересны не элементарные частицы, а живые люди.

Всеволод Евгеньевич, знавший обо всех этих перипетиях от сына, сразу принял его сторону: такие вещи человек должен решать самостоятельно, тут ошибиться — страшное дело! А в том, что Антон давно и серьезно все обдумал, сомнений не было никаких.

Вообще, чем старше становился Антон, тем больше он



нравился отцу. Хотя во многом был непонятен. Но, может, так и должно быть — разные поколения? Главное, что они совпадали в таких главных понятиях, как «хорошо» — «плохо».

Первое время после переезда в Москву Дорофеев часто бывал в доме профессора Лосева, которому был обязан и своим переводом, и получением новой должности заведующего отделом (на сей раз от повышения отказываться не стал, это давало большую свободу действий, а работы с людьми он не боялся, привык и научился кое-чему за время управления сектором).

Лосев был женат на Светлане Андреевне, бывшей своей аспирантке, все еще красивой женщине двадцатью годами его моложе. Науку она давно оставила, делала от случая к случаю рефераты для разных журналов, а больше занималась делами мужа. Дорофееву нравилось приходиться к Лосевым, у них был «открытый дом», куда можно в любое время явиться без звонка и застать за столом постоянную компанию людей, с которыми легко и, в общем, довольно интересно. Тут всё всегда знали; самые свежие новости из любых областей — от политики до балета, хотя ни дипломатов, ни балерин среди лосевских друзей вроде бы не было. Чем занимается каждый из них, Дорофеев понятия не имел, как-то не принято было здесь говорить о работе. И, подумав, он решил: это прекрасно! В дом зовут не «нужников», не престижных гостей, а тех, кого любят; правда, и физиков у Лосевых он почти не встречал, зато там иногда появлялся один пожилой писатель, друг покойного отца Светланы Андреевны, одинокий человек, любивший повторять, что ходит сюда «отогреть свои стариковские кости». Здесь же Дорофеев впервые встретил своего земляка, энергичного ленинградца Игоря Михайловича Синяева, глядя на которого можно было сразу сказать: карьерист, чего Синяев, кстати, несколько не скрывал, и в его простодушном цинизме было какое-то даже обаяние. Этот Синяев был единственным, кто говорил в доме у Лосевых о служебных делах.

— У меня план-график. Сейчас я — зам, так? А лет эдак через пять, вот увидите, подсижу генерального директора. У него как раз пенсионный возраст. Но это программа-минимум. . .

— А максимум? — спрашивала Светлана Андреевна, улыбаясь, — Синяеву улыбались все дамы подряд без различия возраста и семейного положения.

— Замминистра! — заявлял тот. — Я же ведь прой-  
доха. Не верите? Да и связи имею! — и хохотал, окон-  
чательно обезоруживая слушателей.

У Лосевых вкусно кормили за изысканно сервиро-  
ванным столом. Иногда Светлана Андреевна с гордостью  
сообщала:

— Прошу обратить внимание на новые вилки. Купила  
вчера в старьевке. Видите — ручки? Настоящая кость.  
Конец века!

От вилок эпохи загнивания капитализма плавно пере-  
ходили к искусству. И тут Дорофеев нередко попадал  
пальцем в небо: похвалит с энтузиазмом новый роман,  
а в ответ неловкая пауза. И выясняется: все этот роман  
прочли давным-давно, еще в рукописи. «А в журнале он,  
говорят, неизвестен. Но, между прочим, и в рукописи  
был далеко не «ах», а концовка — это уж вообще. . .»

А успеть на все просмотры, вернисажи, фестивали. . .  
Это в студенческие годы они с Ингой бегали с одной вы-  
ставки на другую, а теперь: «Вы просто с ума сошли,  
Сева, — т а к о е пропустить!! Да много ли вообще настоя-  
щего, подлинного, чтобы так пробрасываться?»

Наверное, они были правы, черт их знает. Однако  
угнаться за ними Всеволод Евгеньевич не пытался, толь-  
ко в консерватории бывал регулярно. Зато продолжал  
играть в теннис, благо при институте имелся корт, а уж  
загородные прогулки — святое дело! И тут завидовали  
ему: «Всегда в форме, отличный цвет лица, никакого  
лишнего жира! Воздух, природа — это же спасение. Вы  
просто молодец! Но — время, время, время! Главный сей-  
час дефицит. Господи, да где вы его берете?! В Тарусу —  
на week end? Немыслимо! Я два года мечтаю, все никак,  
все никак. . .»

Профессор Лосев в светских беседах за столом участ-  
вовал мало — смотрел, дружелюбно улыбался, но помал-  
кивал. А иногда уходил в кресло и надолго застывал там  
перед телевизором. Дорофеевским вылазкам на природу  
он не завидовал — сам ездил за город по выходным, но,  
в отличие от Всеволода Евгеньевича, не гулять, а целе-  
направленно: на рыбалку или за грибами. Ездил на элек-  
тричке, с рюкзаком. Светлана Андреевна часто жалова-  
лась: «Пропадает по двое суток, один! Сходи тут с ума  
из-за него, не мальчик ведь!»

Однажды Дорофеев привел к Лосевым сына, приехав-  
шего в Москву на каникулы. Антон всех покориł — «со-  
вершенно прелестный мальчик, милый, воспитанный.

~~Ну~~ да у такого папы — естественно — и... Антон, вы не слушайте! — он же у вас просто красавец. Генны, генны...»

Возвращаясь в тот вечер домой, Всеволод Евгеньевич спросил:

— Ну, как?

Антон задумался, рассматривая старинный особнячок, мимо которого они проходили, потом повернулся к отцу и твердо сказал, что в гостях ему не понравилось.

— Почему? Тебе что, скучно было?

Антон неопределенно пожал плечами.

— Интересные же люди, интеллигентные, — недоумевал Дорофеев.

— Осведомленные, — поправил Антон. — Интеллигентность — это... по-моему, что-то другое. Нет, я не обо всех, сами Лосевы мне как раз понравились. Особенно — она.

— Светлана? Но она же... Странно... она же — никто, так, просто жена и все.

— Ну и что? — Антон нахмурился. — Она добрая. Ведь Лосев жутко старый, лет семьдесят, наверное! А все еще какой боевой. И довольный... Это все она. Нет, тут я с тобой не согласен. А вот гости... Они... знаешь кто? Они — светские дамочки! Все. И мужчины, и женщины.

— Кто-кто?!

— Дамочки! «Выставки-концерты, киноабонементы!» Чирик-чирик. Сенсации разные. Кто на ком женился. «В высших сферах», конечно. Кто развелся и... куда. И всё — из первых рук. А эта их болтовня о литературе и искусстве — слушать же тошно! Пустота. И дилетантизм.

— Что значит — дилетантизм? По-твоему, об искусстве говорить дозволено только искусствоведам и студентам-филологам?

— Искусство принадлежит народу, — почему-то грустно сказал Антон. — Ты лучше послушай, как они говорят! Сплошные перечисления, кто куда успел смотаться. Посетить. Посетители!

— Ну, ты у нас прямо... экстремист какой-то!

— Смешно ведь! Думаешь, я первый раз в жизни таких вижу? Только и знают, что ориентироваться: как бы маху не дать, угадать, что сегодня надо хвалить, а что ругать... Жалко их, — неожиданно закончил Антон.

— Ну-ну... — Даже вывернув мозги, Дорофеев не мог себе представить, за что бы можно было пожалеть его оживленных, уверенных в себе, элегантных знакомых. О чем он и сказал сыну, добавив, что Антон придира и чудовищный максималист. Очевидно же, что помимо светских интересов у лосевских гостей, у каждого, имеется свое дело, профессия, где он никакой не дилетант. Но вовсе не обязательно разглагольствовать за общим столом о своих служебных проблемах.

— Представь: я начал бы вдруг докладывать про устойчивость горячей плазмы в магнитном поле.

— Да я не об этом, — терпеливо сказал Антон, — может, оно у них и есть, это самое... дело. А ты про плазму, кстати, очень даже интересно рассказываешь. Только... — он усмехнулся. — Комплексы у них, неужели не видишь? Они этой своей болтовней — хоть сегодня, про гобелены, ну, про выставку! — они все время как будто за все это прячутся, что-то хотят в себе прикрыть... какие-то пустоты...

Вот тебе и нá! Потачил сына в гости похвастаться: смотри, мол, какие у отца блестящие интеллектуалы-знакомые! А тот... Как говорил покойный Индюк: «унистрожил и превратил ув бехство». А ведь и ты сам, Всеволод, друг наш, Евгеньевич, наверняка сегодня выглядел в его глазах болван болваном. Особенно когда пытался, дурак, подладиться под разговор насчет гобеленов, будь они трижды неладны! Главное, и на выставке-то не был, и не собирался, вообще видал все эти гобелены в гробу, а туда же, раскудахтался: «Ах, выставка! А я, представьте, никак не могу выбраться! Такая жалость! Ах! До какого же числа она открыта? Ах, до пятого? Обязатель-но пойду!» И вообще... что, если без дураков, интересного было сегодня сказано за столом? Ландау такие разговоры называл шумом. И верно — шум...

— Они потому, наверное, так любят сбиваться в компании, — задумчиво произнес Антон, — что наедине с собой им страшно, пропадут, как в лесу.

— Все время только с самим собой, тут, знаешь, любой... пропадет, — глядя себе под ноги, заметил Дорофеев.

— Это ты пропадешь? Не верю. Поедешь в свой лес и успокоишься. Помню, как ты позапрошлым летом показывал мне «царскую тропу»! Точно это твоя личная драгоценность и ты мне ее даришь.

— Ага. А ты еще все разводил философские разговоры, а что вокруг, тебе было до фонаря.

— Не волнуйся, все я тогда видел. А главное — тебя. А вот тебе люди, по-моему, не очень интересны, правда? — неожиданно спросил он.

— Это почему?

— Не знаю, так показалось. Тебе, наверное, какие-нибудь твои эти... кварки куда интересней.

— Да, интересней! Если на то пошло, интересней! — Дорофеев вдруг почувствовал, что злится. — Надежней, если на то пошло! А люди... только не надо предъявлять к ним невысказанных требований! С ними на самом деле все очень просто — они одинаковы. Да, да! Есть несколько типов, и любого человека можно отнести к одному из них. А уж тогда очень легко представить себе, как он будет себя вести в той или иной ситуации.

— А по-моему, ты не прав, — негромко, но твердо сказал Антон. — Не одинаковые, н... Вообще — интересней людей, наверное, ничего и нет! И важнее их отношений между собой — ничего! Вот вы там понаделали своих бомб...

— Кто это — «вы»?

— ...а будет война или не будет, зависит все равно ведь не от бомб, а — сумеют люди между собой договориться или нет. Не абстрактное человечество, прогрессивное там или какое, а в каждом случае — живые, реальные люди. И от того, какие они, какой у них характер, здоровье, настроение — вот от этого все и зависит. Не от науки и техники. И не обязательно война. Вообще — всё!

Дорофеев мог бы, конечно, поспорить с сыном, но спорить вдруг расхотелось. Вспыхнувшее было раздражение ушло, и вместо него, как обычно, пришли удовольствие и гордость: вот он какой, мой Антон. Пускай в его построениях много детского, бог с ним. Главное, парень думает, самостоятельно, серьезно думает.

Он потрепал Антона по плечу, и тот сразу откликнулся:

— Ты только не пойми меня так, что я тебя хочу обидеть! Или твоих знакомых. Салоны, в конце концов, существовали всегда. И многие в них бывали. И ничего, терпели. Пушкин, между прочим...

Ночью, когда Антон уснул, Дорофеев долго еще думал об этом разговоре. На душе у него, как всегда, когда он общался с сыном, было радостно. И голова работала

ясно, точно Антон ввел туда какой-то катализатор, оживив начавший уже устывать и лениться мыслительный аппарат. «Старость, — рассуждал Дорофеев, — начинается не тогда, когда не можешь думать, а когда думать (да и чувствовать!) становится лень, вот и начинаешь для экономии сил пользоваться блоками, готовыми решениями. А собственную глупость, равнодушие и всеядность (а иногда и трусость) объявляешь высшей мудростью. А насчет салонов он, конечно, прав. Они существовали всегда, но всегда и... раздражали. Но там ведь и завсегдатаи были другие — бездельники, как правило. А эти? Среди лосевских гостей тунеядцев как будто не водится. Может, просто у них профессиональный интерес не главный, не совпадает с жизненным? Как два вектора, различные по величине и направлению. Чем больше между ними «ножницы», тем больше внутри этих «ножниц» пустоты. «Всяк сверчок знай свой шесток»... Не нашли своего шестка, не сумели. Или нашли, да не могут примириться, уж больно неказистый, непрестижный оказался шесток, вот и мечутся, доказывают себе и окружающим, что для них главное не их ремесло, а, допустим, Искусство и Литература.

Ему совсем расхотелось спать, он на цыпочках вышел в кухню, поставил на огонь чайник, распахнул форточку. За окном падал снег, спокойный и чистый. И в кухне сразу запахло снегом. Вот тебе и феномен — вода запаха не имеет, а снег имеет: кто-то — Бунин, что ли? — даже писал, будто это запах яблок. В чем же дело, Всеволод Евгеньевич, ученое вы светило? А все-таки вы счастливец, хоть и невежда в части гобеленов. Скоро, между прочим, станете профессором. Кстати, благодаря все тому же дедуле Лосеву, поставляющему вам аспирантов. Нет, вы счастливчик, везучий, как пьяный черт, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! А с сыном как повезло? Тьфу, тьфу.

Утром, едва успев продрать глаза, Дорофеев изложил Антону свои соображения. Сын слушал очень внимательно, но презрения к наглым сверчкам, не желающим довольствоваться отведенными шестками, не разделил.

— Очень многие не виноваты, что так получилось, — сказал он, — это тебе подфартило — выбрал себе физику и стал физиком, а другой, может, всю жизнь мечтает быть, допустим, послом... а приходится работать на-

чальником отдела снабжения! И совсем не потому, что таланта не хватило.

— Талант всегда пробьется, — начал Дорофеев, но по лицу сына тотчас понял, что понес пошлятину. Хотел поправиться, замолчал, а потом как-то не вышло продолжить разговор — торопились с лыжами в Сокольники.

Вечером Антон уехал в Ленинград.

...А Всеволод Евгеньевич, действительно, той же весной получил профессора...

О том, как ему повезло с сыном, он думал сейчас, шагая по оплывающей от зноя Петроградской стороне. Что бы там ни сообщила Инга, одно было ясно: ничего такого, что заставило бы его покраснеть за Антона, случиться не может.

А может, дело в какой-нибудь потенциальной разлучнице-невестке? Для Инги женитьба сына, естественно, кошмар и крах. Во-первых, достойной кандидатуры для нашего принца не существует в природе, во-вторых... Если у Антона будет своя семья, Инге нечем станет жить.

Он решил пройти еще остановку до Сытного рынка. И купить Инге цветов.

### III

Инга ждала Дорофеева на лестнице: высмотрела в окно. Она еще больше похудела, глаза беспокойные и несчастные. Едва успев поздороваться, зашептала, оглядываясь на дверь:

— При маме — ни о чем серьезном. К ней скоро придет ученица, тогда...

— Но он... здоров?

— В этом смысле все слава богу, нет, тут другое... — и уже громко: — Какие чудные ромашки! Спасибо, милый. Мои любимые! И черешня, бог мой! Мама! Мама!.. Не слышит.

— До сих пор дает уроки? Ей же... постой, семьдесят четыре?

— Три четверти века, Сева, в феврале отпраздновали юбилей.

(А он-то забыл, начисто забыл, скотина...)

— ...Ты проходи. И перестань так волноваться, у нас все как было. Видишь, даже обои. Как при тебе.

— Всеволод!.. Боже! Сколько лет... Очень, оч-чень рада, дорогой мой. Черешня? Мне?! Прелесты! Чрезвычайно тронута — знаете, не избалована излишним вниманием, с тех пор как мы... Впрочем, что говорит! Инга, в чем дело, что случилось? Почему ты держишь гостя в передней? А вы повзрослели, возмужали, но прекрасно выглядите, настоящий мужчина!

Элла Маркизовна стала еще более величественной. В отличие от Инги она пополнела, но держалась все так же прямо и осанисто.

— Прошу, прошу в комнаты, — продолжала она. — Инга, обрати внимание, милая, что значит, когда человек смотрит за собой и не опускается. Впрочем, стоит ли удивляться, в нашем роду все были такие, как Всеволод! Я сегодня же позвоню Софье Ильиничне...

— Мама!

Элла Маркизовна медленно, как большой теплоход, развернулась и поплыла в столовую. Дорофеев с Ингой пошли следом.

— Софья Ильинична год назад умерла, — усталым голосом сказала Инга, — но мама почему-то все время... вот так... По-моему, она делает это намеренно.

Не оглядываясь, Элла Маркизовна откашлялась и произнесла металлически:

— Я. Се-годня же! Позвоню! Софье Ильиничне! И скажу, что наш Всеволод пре-кра-а-сно выглядит! А вы что думали?

Под незапамятным абажуром со стеклянными висюльками, по преданию украшавшим еще столовую в знаменитом «поместье», был сервирован праздничный стол. Горло Дорофеева сжалось, когда он увидел знакомый «метрополевский» крендель.

— Ну-с, Всеволод, располагайтесь, наш славный, здесь вы дома. Здесь вы с о й. Более, чем кто-либо, да. Инга, что же ты? Налей наконец человеку чаю! Что же вы, Всеволод? Я жду. Рассказывайте про ваше житье-бытье.

— Тебе, как всегда, покрепче, Сева?

Он кивнул. Заварка, как всегда, была холодной и бледной, и от этого Дорофеев почему-то раскис окончательно.

— Так что же рассказывать? — он с усилием улыб-



худся. — Я человек, как вы знаете, консервативный. Все тот же сухарь. Работаю... Старею вот...

— Не надо кокетничать, Сева, — мягко перебила Инга, опередив Элли Маркизовну, которая уже начала протестующе поднимать брови. — Мама правильно заметила, ты не изменился... — она смотрела на ромашки, стоящие в хрустальной вазе рядом с кренделем.

— Мы здесь все следим за вашими огромными успехами, — промолвила Элла Маркизовна. — Наслышаны: вы теперь уважаемый профессор. Да! Весьма похвально. Весьма! Кузен Софьи Ильиничны... — тут она быстренько взглянула на дочь, но та как ни в чем не бывало помешивала ложечкой в чашке. — Да, так о чем я? Память, память... Бог мой, Всеволод, может быть вам горячо? Налейте в блюдечко, не чинитесь. Вы не в гостях. И это — не прежние времена... — она опять посмотрела на Ингу, на этот раз с угрозой. — Да! Он не в гостях! Время, время... О, Zeit! Die Zeit heilt alle Wunden!\* Сколько лет...

— Сева, расскажи, как на работе? — вмешалась Инга. — Антон говорил, ты теперь заведомом? А наука?

— А куда денешься? — Дорофеев развел руками. — Заматерел, власти захотелось. А наука... Пытаюсь... И то, и то.

— Да! Кузен Софьи Ильиничны нынешней зимой ездил в Цюрих и привез ей чудную шаль. Брюссельское кружево! — не выдержала Элла Маркизовна.

— Сейчас вот с начальством воюю, — продолжал Дорофеев, сочувственно покивав теще. — Новый замдиректора. Откуда-то из «верхов». Ну и как обычно — новая метла... Наводит свои министерские порядки. Главные претензии, представь, ко мне.

— К тебе?! В научном плане?

— Нет, у него другое: «Почему ваших теоретиков никогда нет в институте? Что за привилегированный класс? А если и соизволят появиться, все равно, как ни зайдешь, сидят, развалившись, без дела, чешут языками. И дымят в помещении!»

— А ты?

— Отбиваюсь: мол, в этом чесании, как ни странно, главная работа и есть. Генерирование — может, слышали? — идей. У нас, дескать, как у муравейника, коллективный мозг. А для одиноких раздумий в тиши кабинета

---

\* О, время! Время исцеляет все раны! (Нем.).

как раз и существуют те самые свободные дни, которые ваше превосходительство так возмущают.

— Странные люди порой встречаются на этом свете, — заключила Элла Маркизовна и взяла большой кусок кренделя. — Вы ничего не едите, Всеволод. Так не следует. Инга, позволь, ты ведешь себя некорректно. Как это говорят в народе? Птицу баснями не кормят. Худые песни соловью!

— Я ем. Спасибо, Элла Маркизовна. Все очень вкусно. А как ваши дела? Как здоровье? — Дорофеев повернулся к ней.

Элла Маркизовна горько пожала плечами:

— Мое? Здоровье?! За-ме-ча-тель-но! Ведь правда, Инга? Но ничего, недолго уж... — последнее сказано было не без мстительности. Инга сидела молча, с напряженным лицом.

— Ну... — Элла Маркизовна отставила недопитую чашку и поднялась. — Благодарю всех. Не стану мешать. Нет, нет! У меня там крайне важное дело. Крайне важное! Да.

Высоко держа голову, она удалилась. Инга смотрела в стол.

— Вот так-то, Сева, — сказала она наконец, усмехнувшись половиной рта. — Как теперь выражаются: таким путем... А с подчиненными у тебя хорошие отношения? — она повысила голос, глазами показав не неплотно прикрытую дверь в комнату матери. И уже шепотом: — Ты пока расскажи еще, к маме сейчас ученица придет.

И Всеволод добросовестно, даже с удовольствием рассказал, что сперва с отделом ему приходилось туго: в Ленинграде, в секторе, все были свои, один организм, друг друга — с полуслова, и вообще в секторе десять душ, а тут сорок с лишним, сейчас уже к пятидесяти подходит. И возраст самый разнообразный: от двадцати до пенсионного, у всех свои характеры, амбиции, — словом, не просто.

— .. Но теперь уже ничего. Я даже кое-какие великие открытия сделал, — похвастался он, — вроде бы очевидные вещи, велосипед, а вот, поди ж ты! Когда делаешь что-то вместе, ни за что нельзя людям врать. Ни с какой целью. Никому! Гениально? Далее: только тогда можно требовать, чтобы подчиненные честно делали, что положено, когда уверен, что сумеешь выполнить то, что им за это обещал. Гарантия прав, так сказать. Каково?

— Действительно, открытне...

— Смейся, смейся. А я это правило для себя, можно сказать, выстрадал. И не думай, что очень просто — всегда выполнять, иногда очень даже трудно, просто смертельно, к тому же часто не от тебя зависит. А вот мой, например, предшественник — неплохой, между прочим, парень, и ученый дай бог, и абсолютный недурак, — так у него другой был принцип: намеренно закрывать глаза на разные нарушения. Намеренно! Закрывал. Но... до поры до времени. Чтобы люди постоянно чувствовали себя виноватыми. Такими, знаешь, воришками, которых вот-вот поймают и уличат.

— И уличал?

— А зачем? Ведь вот в чем фокус: когда все время боишься, что поймают, тут уж не до собственных прав, тут любое стерпишь, лишь бы не взяли за шкурку. А не то: «Как? Недоволен? Кто? Ты?! Зарплату, говоришь? Премию за твою работу другому дали? Да ну? Незаконно?! Ох, уморил! Законник...» И покраснеешь, и глаза в пол. Крыть-то нечем: на прошлой неделе в институте ни разу не появился, врал, что сидел в библиотеке, а сам летал в Кишинев — ребенка к бабке отвозил. И все это знали!

— И что же, сидит, помалкивает? — заинтересовалась Инга.

— А то! Куда ж ему, аферисту, деваться! Все рыло в... этом самом. Молчит. Но уж отвернешься — своего не упустит. Так вот, это я, кажется, в своем отделе вывел...

— Слушай, Сева! Ты Лосева часто видишь?

— А что?

— Видишь?

— Вижу.

— Ты торопишься? — вдруг испугалась Инга и опять зашептала: — Я же о главном и не начинала, а это очень, очень серьезно и важно, поверь! Крайне. Во-первых... Господи, да что ж это ученица так опаздывает?

— Ты не беспокойся, мне спешить некуда. А Лосев... Вижу его, вижу, куда он, шлюпик, денется.

— Вы поссорились?

— Ссориться с ним еще?! — Всеволод насупился. — Свинью он мне подложил.

— Лосев — тебе?!

— Лосев. Мне. Он, видишь ли, хочет, чтобы я дал хороший отзыв на плохую диссертацию. Всего-навсего.

Но — не просто плохую, а наглуую, возмутительную. Су-пердрянь.

— Господи, зачем ему это?

— Его аспирантка. К тому же... черт его знает! У нас говорят то и се. Божатся, доподлинно, дескать, известно.

— Сева, помилуй! Лосеву же семьдесят лет.

— Седина в бороду... а может, врут. Но факт на-лицо — умри, а выдай положительный отзыв! Если, ко-нечно, помнишь добро.

— А ты пробовал с ним поговорить? По-хоро-шему?

— Пробовал. Слушать не желает, уперся как бык. Да еще грозит: вашему, мол, аспиранту у меня через два месяца защищать. Вот так.

— Тогда... Он ведь для тебя очень много сделал, Сева. А в науке и без этой... особы полно проходимцев. Ну, будет еще одна...

— В физике?!

— И в ней, Севочка, не надо делать большие гла-за, — засмеялась Инга, но тотчас посерьезнела и стала смотреть на дверь. — Слушай, по-моему, мама ушла.

Она поднялась из-за стола и пошла к двери. Там раздался шорох, створки распахнулись, и на пороге воз-двинулась Элла Маркизовна.

— Не знаете ли, который час? — озабоченно спросила она. — Моя ученица несомненно попала под авто. Пар-дон, я, кажется, не вовремя.

Но тут наконец позвонили. Элла Маркизовна просле-довала в переднюю, оттуда тут же послышался говор. Го-ворили по-немецки, Элла Маркизовна уверенно и ожив-ленно, собеседница сбивчиво, с длинными паузами и мё-каньем.

— Все. — Инга села. — Извини, Сева, ты потерял столько времени. Ты не нервничай, но с Антоном... не-хорошо.

— Что? Что именно?

— Сева, это кошмар. Я не хотела по телефону, не хо-тела тебя пугать, но... понимаешь, он все последнее вре-мя, ну, перед тем как уехать в Архангельск... он был буквально сам не свой. Я его таким никогда не видела! Это не передать... И... Сева! Такой ужас! Он начал пить!

— Как — пить?! Не может этого... Постой, ты не волнуйся, скажи спокойно. В каком смысле — пить?

— Трижды от него пахло вином! Даже мама заметила. Даже мама! А один раз, совсем незадолго до отъезда... Нет! Не могу! — Инга быстро вытерла глаза.

Дорофеев молча смотрел на нее.

— Он... ты себе не представляешь, что мы пережили! Он пропал! Ушел днем и пропал.

— Не пришел ночевать?

— Вернулся только на следующий день, к вечеру. Я весь город обзвонила, обегала... И в милицию, и в... в «скорую»...

Инга плакала, судорожно сжав кулаки. Дорофеев схватил чашку, налил воды и подал ей. Руки и у него дрожали.

— Прости. Нервы — никуда, — Инга жадно сделала большой глоток. — В общем, явился вечером, бледный, в чужом плаще...

— Где был?

— Не говорит. Я спрашивала, сказал: «Не имеет значения». Прощения просил, что заставил волноваться, а где был — ни слова. И что случилось — ни слова. Лег спать... У тебя сигареты нет?

— Бросил, — виновато признался Дорофеев.

— А в прошлый вторник, — продолжала Инга, перейдя на шепот, — я встретила в булочной Олю Комиссарову. Ты помнишь Олю?

...Олю он помнил — училась с Антоном в одном классе, маленькая, крепенькая, похожая одновременно на воробья и на зайца — два передних зуба смешно торчали вперед. На Антона Оля смотрела с обожанием, Инга всегда мечтала, чтобы сын на ней женился: «Очень славная девочка, какая-то ясная, светлая. И воспитана прекрасно! Отец врач, доцент, мать преподаст философию в каком-то вузе...» Но Антону Оля не нравилась.

— Нет, девчонка она хорошая, — как-то с важным видом заявил он отцу, — но как женщина абсолютно не в моем вкусе.

— А какие в твоём? — строго спросил Дорофеев.

Это был их первый с сыном «мужской разговор», Антон в то лето поступил на первый курс и приехал в Москву, где они с отцом целую неделю «жили красивой жизнью». В этот день как раз пообедали в «Софин», потом зашли в кафе-мороженое и теперь не спеша брели по улице Горького.

— А вот, вроде этой! — Антон глазами показал на идущую навстречу длинноногую девицу с распущенными

светлыми волосами. Девушка была загорелая, в белых джинсах и ярко-синей, облегающей футболке с большим круглым вырезом.

— Ничего, — одобрил Дорофеев, — правда, немного вульгарна.

— Современна! — поправил сын...

— ...Так ты помнишь Олю? — переспросила Инга, прерывая воспоминания Дорофеева.

— А? Да, да, конечно!

— Так вот, представь, Оля мне сказала, что он... Сева!.. Он ушел из университета!

— То есть... Куда?

— Господи, да никуда! Ушел и все! Сева, опомнись! Я же тебе говорю — он забрал документы! Перед тем как уехать на Север. Ты понимаешь или нет? Его осенью — в армию, а он... он... Оля сказала, он уже туда ходил, к ним, в военкомат. Он — во флот, на три года... просил... А нам — ничего, ни слова... Я же мать, Сева... Как это? Сева?!

Инга махнула рукой и закрыла лицо ладонями. Из-за стены пулеметной очередью неслись тевтонские фразы.

— Бред какой-то! — сказал ошеломленный Дорофеев. Он все смотрел на Ингу и почему-то думал не о сыне, а о том, как ей удастся плакать так, что не слышно совсем ни единого звука. Это казалось странным, неестественным. И тревожило. Поэтому, когда Инга вдруг всхлипнула, он почувствовал облегчение, вместе с которым вернулась способность соображать.

— Это она все, — зашептала Инга. — Наташа эта! Из-за нее...

— Какая Наташа?

— Он разве тебе не писал? Хотя, понимаю, гордиться тут нечем. Безнравственная, злая. А манеры... По ту сторону добра и зла! И он... он с ней... из-за нее... — Инга опустила руки, покрасневшее лицо ее было помятым, мокрым, губы вспухли. — Представь, он оставался у нее ночевать!

— Ну и что? Взрослый же парень! А вот... Черт знает что, в голове не укладывается! Он же — на четвертый курс! Безумие какое-то...

— Да слушай! Я ведь говорю: это она! Я уверена. — Инга опять зашептала: — Понимаешь, он последние дни все звонил ей по телефону, дверь прикрывал. А войдешь, сразу замолчит.

— А ты, — осторожно начал Дорофеев, — ты ему все

это говорила? Он знает, как ты относишься к... как ее? К Наташе?

— Разумеется! — Инга вскинула подбородок. — Да. Лгать и кривить душой я не умею, не в моих правилах! Тебе это известно. Все высказала! И как называется особа, которая оставляет молодого человека на ночь. Она просто хочет женить его на себе!.. А ты... ты что думаешь, он в армию — назло мне?! Чтобы отомстить? Дорофеев пожал плечами.

«Не назло, — тоскливо думал он. — Просто — от вас с матушкой».

— Надо что-то делать, Сева. Немедленно! — заявила Инга, решительно вытерев слезы. — Этого нельзя допустить! Бросить учебу, идти в армию, куда тебя никто не звал... Дикий нонсенс! Ну, какой из Тоши солдат? Бог мой! Был бы простой, сильный парень, какой-нибудь слесарь... колхозник, наконец. Он же драться никогда не умел! Нет, Сева, ты должен пойти и сказать... .

— Куда? Куда пойти?

— К ректору. И к ним, в военкомат. Пусть они ему откажут! В конце концов, тебе обязаны пойти навстречу, не спорь, я знаю.

— В военкомат не пойду. Это дурь.

Лучше было не смотреть на нее, и, повернувшись к окну, нарочито размеренным тоном Дорофеев продолжил:

— Прежде всего надо выяснить, в чем дело. Почему Антон так решил. Я с ним поговорю, как только он вернется.

— А ведь это ты виноват... — вдруг тихо сказала Инга. — Ты всегда воспитывал из него максималиста. И идеалиста! Ему трудно жить, Сева. Я уже не знаю, что и думать. И я не удивлюсь, если окажется, например, что он разочаровался в филологии и решил все разом бросить, а потом начать с нуля. Ты же вбил ему в голову, будто работа — сплошное удовольствие и полеты вдохновения. А для большинства она, к сожалению, так... необходимое зло.

«Только не хватало, чтобы мой сын отдал жизнь необходимому злу», — хмуро подумал Дорофеев, вытирая со лба пот.

— Надо все выяснить, — повторил он.

— Конечно! Я совершенно согласна. Это ведь вопрос жизни и смерти. Ты правильно решил: тебе необходимо сегодня же переговорить с ней. Я все обдумала: во-пер-

вых, ей известны причины, во-вторых, переубедив ее...

— Кого? Что я такое решил?

— Да Наташу же! Невыносимо! Я тебе объясняю: она наверняка в курсе дела.

— Это неудобно, бестактно. Выпытывать за спиной у Антона... Нет! Это предательство.

— А не удержать мальчишку, который готов броситься в пропасть, не предательство? Сева, я не узнаю тебя! Это долг отца! Я редко прошу у тебя помощи, но теперь... Я умоляю!

Инга поднялась со стула, и на мгновение Дорофееву показалось, что сейчас она грохнется перед ним на колени.

— Стой! — он вскочил на ноги. — Надо же обдумать! А если... Она ведь может и не согласиться. Скорее всего...

— Она согласна, Сева, согласна! Знаешь, я ведь сперва думала поговорить сама, но потом решила: не стоит. Я могу не сдержаться, сказать лишнее. Испортить. Я ведь дипломат никакой. А ты... Словом, сегодня утром я ей позвонила. Она будет ждать тебя в пять часов у входа в Летний сад. Ты понял? Ровно в пять. Со стороны Инженерного замка.

Надолго замолчали.

— Хорошо, — наконец согласился Дорофеев. — А как я ее узнаю?

— Она тебя сама узнает, видела фотографии. Ох, огромное тебе спасибо, Севочка. Даже легче стало. Я бы без тебя просто умерла! Ты после встречи с ней — сразу ко мне, хорошо? Или нет! Лучше — на улице. Или я приду на вокзал, ты — «Стрелой»?..

— Девятый вагон. Но учти, из этого разговора может ничего не получиться...

— Секретное совещание на высшем уровне завершено? — раздался насмешливый голос. — Или, может быть, я здесь по-прежнему лишняя? Нет, нет, Всеволод, не для вас, дитя мое! Для нее, для родной дочери! — в дверях опять стояла Элла Маркизовна. — Ах, нет? Спасибо, дочь. Всеволод, вы у нас не были целую вечность. Разумеется, это не ваша вина. Я знаю — чья... Пойдемте, я хочу показать вам апартаменты, мы же отделали мою спальню и кабинет Антона. По моей, как вы догадываетесь, инициативе. Инге, увы, никогда ни до чего нет дела. Вся в облаках, вся в облаках...



Стены в комнате Эллы Маркизовны, действительно, были оклеены новыми обоями, белыми с голубыми медальонами, зато беспорядок сохранился вполне привычный: раскиданные книги, пыльные стекла, на подоконнике — всеми забытый стакан с недопитым чаем, над диваном, именуемым, помнится, кушеткой (или козеткой?) — портрет Ингиного отца, известного всему прогрессивному человечеству чучельника. Рядом приколот кнопкой детский рисунок Антона, выгоревший, с обмахрившимися краями. Все как было. Нет! Левее и несколько выше что-то новое. Целый иконостас. Шесть больших окантованных фотографий. На первой слева онемевший от изумления Дорофеев увидел себя самого. Он стоял, по-видимому, на кафедре, не то на трибуне, в объектив попали его грудь, плечи и, к сожалению, лицо с возмутительно разинутым ртом. Фотография была недавней — этот костюм в полоску приобретен год или полтора назад.

— На данном фото, — экскурсоводчески объявила Элла Маркизовна, — вы, Всеволод, запечатлены во время выступления на всесоюзной научной конференции. Здесь вы делаете пленарный доклад о достижениях нашей науки. Я очень, оч-чень хотела быть там и послушать, но... некоторым... было угодно лишить меня радости. Да. Обратите внимание — на этом кадре вы особенно похожи на молодого Маяковского. Одно лицо!

На Маяковского Дорофеев не был похож никогда, тем более на молодого. Но теперь это не играло роли, он уже забыл про собственный портрет — и зря, потому что сейчас «одно лицо» у него было именно с этим портретом: застывшие глаза, приоткрытый рот, тупое, обалделое выражение. Но рассматривал он сейчас другие пять фотографий, на которых узнал (не сразу) своего покойного двоюродного брата Игоря: в фас, в профиль, вполоборота, — склонившегося над письменным столом, во весь рост, улыбающегося, с букетом цветов перед занавесом и, наконец, рядом с каким-то автомобилем, в ватнике, мятой шляпе и с ружьем за плечами.

— Эта фотография... — Элла Маркизовна помешкала, горестно глядя на Игоря с ружьем, — была сделана в тот роковой день, когда Игорь Павлович уезжал на злополучную охоту, откуда ему не суждено было вернуться. Откуда он шагнул в вечность... в бессмертие...

Голос Эллы Маркизовны дрогнул, потрясенный Дорофеев перевел глаза с Игоря на нее и увидел, как из-

под оправы очков по морщинистой щеке медленно ползет небольшая плоская слеза. Он посмотрел на Ингу, та стояла потупясь.

Фантастика! Всеволод Евгеньевич голову мог дать на отсечение — с Игорем ни Инга, ни тем более теща знакомы практически не были. Видали один раз, Инга от силы — два. Да и какое могло быть знакомство, если и сам-то Дорофеев отношений с ним почти не поддерживал. Так уж сложилась у обоих жизнь, к тому же Игорь был на десять лет старше — в то время рубеж непреодолимый. Правда, как раз последний год Дорофеев довольно часто вспоминал двоюродного брата: во многих театрах вдруг пошли его пьесы, про которые говорили, что пока, мол, жив был автор, их никто не брал. Всеволод Евгеньевич постоянно натывался на афиши, где крупными буквами значилось: ИГОРЬ ДОРОФЕЕВ. Спектакли имели успех, так что, когда Всеволод Евгеньевич собрался пойти посмотреть, билеты пришлось доставать через лосевского знакомого. А совсем недавно вышел сборник рассказов Игоря, Дорофеев читал рецензию в «Литературке», донельзя хвалебную, где мелькали «незаурядное дарование» и «тонкий психологизм». Там же было сказано, что готовится к печати исторический роман. Возвращаясь со спектакля, который ему понравился, Всеволод Евгеньевич думал, что вот жил, оказывается, рядом талантливый, бесспорно умный человек, очень, как сейчас выяснилось, во многом близкий. И глупо: могли дружить, встречаться... Не получилось. И уже не получится.

Но здесь-то все это откуда? Вон и афиша в простенке между окнами. А Элла Маркизовна между тем показывала снимок, где Игорь сидит за столом, и поясняла, что там запечатлен торжественный момент окончания какого-то «Ледяного озера».

— Чего?

— «Ледяное озеро» — вставная новелла в романе, — слегка смущаясь, проговорила Инга. — Название подсказала Тамара, так Маша говорит, а Тамара молчит. Вот, не можем решить вопрос, как назвать роман в целом. Игорь ведь не успел придумать. Я предлагаю просто «Сорок лет».

— Плоско, — пренебрежительно отмахнулась Элла Маркизовна. — И не тебе, Инга, решать такие вопросы. Не тебе! — Она всем корпусом повернулась к Дорофееву. — Видите ли, Всеволод, Тамара колеблется, и она

права! Как говорят: благородство заставляет! Название произведения во многом определяет его судьбу. Игорь Павлович любил повторять: «Озаглавить вещь — все равно что дать имя ребенку. От этого зависит его биография». Представьте — девочку зовут Фекла или... Елизавета. Есть разница? — Элла Маркизовна расхохоталась. — Да. Редкий дар. И прозорливость, ведь это по его подсказке Антона назвали в честь великого Чехова. И, пожалуйста, мальчик стал литератором.

...Это был уже полный сумасшедший дом! всю жизнь было известно, что Антон носит имя деда, отца Инги. И что еще за Тамара? Впрочем, так, кажется, звали жену Игоря... А Маша? Черт с ней, с Машей... Главное, при чем здесь Элла Маркизовна? Инга?

Видимо, все эти соображения отразились на лице Дорофеева, потому что Инга вдруг сказала:

— Не падай в обморок, Сева, мир довольно тесен.

— Какие обмороки, Инга? Помилуй! — тут же возмутилась Элла Маркизовна. — Почему мы со Всеволодом не можем поговорить о наших родных? О наших великих родных! Оч-чень, оч-чень странно... Тебе это, возможно, не понять, но мы, близкие, законно гордимся успехами Игоря Павловича. Нельзя быть Иванам, не помнящими... м-м... отца, Игорь первый большой писатель в нашем роду, Всеволод — первый большой ученый. Еще когда мы жили в поместье, моя мама любила повторять... — и Элла Маркизовна закатила фразу по-эстонски.

Инга с Дорофеевым терпеливо ждали.

— То-то и оно! — торжествуя, закончила теща.

— Понимаешь, Сева, — сказала Инга, — так уж получилось. В общем, этой весной мы с мамой поехали гулять. На кладбище.

— Куда?!

— В «Некрополь». К Тургеневу! — залихватски выкрикнула Элла Маркизовна, почему-то развеселившись. — И, конечно, к Писареву!

— Да, на могилу Тургенева, — подтвердила Инга, — и вообще походить. Там же «Литераторские мостки», ты знаешь. Ну вот, видим памятник: Дорофеев Игорь Павлович. А рядом — женщина убирает могилу.

— Чуде-е-сный памятник! Я сразу подошла, — вклинилась Элла Маркизовна. — Надо же было выяснить, кто эта женщина. Ведь мы, как-никак, Дорофеевы, ближайшие родственники покойного...

— Она казалась очень милым человеком, Тамара, — Инга довольно бесцеремонно перебила мать, — мы представились, и она... знаешь, она была очень рада. Видимо, тоже... одинокий человек. И так трогательно относится к памяти мужа! Это ведь во многом ее заслуга — постановки, книжка. Ты-то, кстати, прочитал?

Дорофеев признался, что видел только рецензию. Не понятно почему, ему было неловко, даже стыдно чего-то. Чего?

— Мы достанем для вас книжку, я поговорю с Тамарой. Мне она не откажет, — величественно пообещала Элла Маркизовна. — На днях я буду у нее, необходимо обсудить подготовку к юбилею. Вам, Всеволод, я непременно, не-пре-мен-но вышлю приглашение. Шестидесятилетие Игоря Павловича! Это будет в декабре, и мы, самые близкие, решили добиться издания сборника воспоминаний. Под редакцией Тамары. Любочка сказала Марусе, что напишет о детских годах. Я пишу о начале карьеры драматурга...

Конец света! У Дорофеева уже сил не было спрашивать, что за Любочка, он беспомощно оглянулся на Ингу, и та, слегка порозовев, принялась объяснять, что они с матерью восстановили в памяти тот эпизод, — помнишь? — как Игорь зашел к ним с репетиции. Он еще тогда так забавно рассказывал, как один актер бегал по сцене, точно слепой крот, все натыкался на декорации.

Какие рассказы? Какие артисты?! Игорь тогда просидел у них не больше двадцати минут! Юбилей человека, который не узнал бы их на улице. Посторонняя Любочка, потусторонняя Маша, мемуары...

Дверь в комнату сына была открытой. Заглянув туда, Дорофеев увидел аккуратные ряды книг на полках, прибранный письменный стол, диван, закрытый старым паласом. На этом диване когда-то спали они с Ингой, а Антон — через стенку, в столовой. Теперь, в столовой, по видимому, спит Инга.

В отличие от двух других комнат, в комнате сына был порядок, какой-то очень знакомый порядок. И Дорофеев вдруг понял: вещи здесь расставлены так же, как у него самого в Москве.

— Сева, который час? — спросила Инга, значительно на него посмотрев. — Я боюсь, тебе не удастся выполнить все, что ты собирался.

— Инга! Бог мой! Манеры! — заклокотала Элла Мар-

кизовна. — Человек пришел в собственный дом, а ему пытаются указать на дверь! Всеволод — кузен нашего Игоря, пойми!..

Дорофеев не мог больше здесь оставаться — среди этих стен, вещей, портретов. Не мог смотреть на лица этих двух женщин.

Он быстро простился и ушел.

Дорофеев ожидал увидеть шикарную блондинку, что-нибудь ультрасовременное, а подошла девчонка как девчонка — гладко причесанная на прямой пробор, в джинсиках и белой рубашке с закатанными рукавами. На девицу, некогда показанную Антоном на улице Горького, эта походила разве что высоким ростом, да и сложена была безупречно, а так... Но вот она сдержанно, без улыбки поздоровалась, вот повернула голову, и Дорофеев увидел косу, длинную, ниже пояса, увидел профиль и внезапно обрадовался: а ведь красавица! Нормальная красавица, и поразительно, что прохожие, дураки, не сворачивают шеи, чтобы посмотреть на нее. Никакой косметики, ничего броского, яркого, вызывающего, зато — высокий чистый лоб, и женственность, и эта коса... А губы... Дорофеев поспешно отвел взгляд и вдруг почувствовал, что плохо выбрит, устал и вспотел, да и рубашка... Надо было надеть другую, американскую, с крокодиллом, вышитым над карманом! И штаны вельветовые зачем-то оставил в Москве!..

Наташа молчала. На лице ее было терпеливо-вопросительное выражение. До чего хороша, черт возьми! Молодец сын. А Инга, теперь ясно, просто ревнует.

С подчеркнутым уважением, даже слегка старомодно Всеволод Евгеньевич взял Наташу под локоть и предложил пойти куда-нибудь посидеть. Ну, там в ресторан, в кафе, куда угодно.

— А хотите, в «Приморский»? Это на Петроградской стороне, бывший ресторан Чванова. Не бог весть что, но кухня там недурна, а народу в пределах разумного...

— Не сто́ит, — сказала Наташа, отстраняясь. И тихим, глуховатым голосом пояснила, что ресторанов не любит вообще, да и времени нет.

— Не стоит, — повторила она и полезла в сумку. Достала пачку «Мальборо» и не спеша закурила.

— Ну, как вам будет угодно, — мягко согласился Дорофеев. — Как угодно, я и сам-то... Где же поговорим?

— Здесь.

«В чрезмерной любезности нашу барышню, пожалуй, не упрекнешь, — подумал Всеволод Евгеньевич, упорно улыбаясь, — тут Инга все-таки права».

Они медленно шли по дорожке вдоль пруда. Наташа молча курила, Дорофеев, сбитый с толку ее тоном, мялся, не решаясь начать разговор. Наконец она затянулась, выпустила дым и, глядя перед собой, ровным голосом сообщила, что догадывается, вернее, знает, зачем Всеволоду Евгеньевичу понадобилось ее видеть, да, знает, и должна сразу предупредить, помогать ему не будет. Не хочет.

— А если бы и очень захотела, и то не смогла бы. Антон не тот человек, на кого можно влиять. Если решил, выполнит. Он человек слова, — почему-то с торжеством заключила она.

— Что же это он такое грандиозное решил, наш железный человек слова? — начал было Дорофеев, но, взглянув на нее, осекся.

— Наташа, — сказал он, впредь решив игнорировать и эти поднятые брови, и другие... «знаки внимания», непонятные и обидные. — Наташа, поймите, я от вас ничего не хочу, никакой помощи. Мне нужно знать, что случилось, больше ничего. Если это, конечно, не секрет.

— Почему секрет? — она пожала плечами. — Просто Антон не хотел, чтобы знали дома. Пока не хотел, чтоб не волновать раньше времени...

«...и чтоб не вмешивались, не рыдали, не побежали к ректору», — мысленно dokonчил Дорофеев.

— Ясно. А в чем дело? Почему он решил уйти?

— Ну, это долго объяснять. И, наверное... бесполезно... — хмуро сказала она. — Понял, что так будет лучше.

— А что это значит «лучше»?

— Лучше — это лучше. А хуже — это хуже.

Дорофеев с большим трудом подавил в себе желание поставить красавицу на место и прекратить разговор.

— Но, может быть, вы попытаете мне все же объяснить, чем ему вдруг не угодил университет?

— Университет?! При чем тут... Просто — вообще... Надоело.

— Что надоело?

— Что надоело? — Она резко остановилась и вскинула голову. — А в мальчиках ходить до ста лет надоело!..

И... вот: объяснять свой каждый шаг. Как сейчас! Почему — то, почему — это, зачем — так... За него же все заранее решили и распланировали. Как же! Диплом с отличием, аспирантура, защита... невеста... из «нашего» круга, желательна дочь светила, племянница этого... самого. Ну, и поехало: дом, работа, санаторий, дом, работа, крематорий...

Ага. Ну, слава богу, теперь все ясно. И враждебный тон... Сразу смягчившись, Дорофеев миролюбиво сказал:

— Ну, эти ужасные проблемы можно было, я думаю, решить и мирным путем. За столом переговоров.

Наташа глянула на него с состраданием. И нарочито терпеливым голосом тихо произнесла:

— Вот он и решил.

...Следовало понимать: «Решил сам, без вас, а вы опять лезете». Дорофеев сдержал улыбку.

— Ну, ладно, ладно. Надо быть терпимей к нам, старикам. Что с нас взять? Удивляюсь, раньше Антон умел понимать окружающих. Честно — не ожидал! Все-таки вы, молодые, жестокие ребята.

— Жестокие? — Наташа упорно смотрела прямо перед собой, но Дорофеев видел, что щека ее, шея и мочка уха становятся красными. — Жестокие... А почему, собственно, взрослый, умный человек не может сам решить, как ему поступить? Где тут жестокость, Всеволод Евгеньевич? Имеет он право хоть три года пожить не по-вашему, а по-своему? Где хочет и как хочет?

— Вы думаете, армия — это «по-своему»? Милая девочка, там дисциплина, там как раз меньше всего спрашивают, кто чего хочет.

— Это... Это все беспредметно. Мне больше нечего вам сказать, — отрезала она, полезла в сумку, достала какой-то листок и подала Дорофееву. — Вот. Тут адрес Антона, это под Архангельском.

— Благодарю! — с раздражением произнес тот. — Нервно это все. Какой-то несусветный инфантилизм.

...Может, и не стоило этого говорить, да что теперь! Разговор все равно не получился... А красотка занята только одним — как бы самоутвердиться.

— Да. Инфантилизм! — теперь уже назло ей повторил он. И жестко добавил: — Детский трусливый эгоцентризм. Бежать от мамы... в солдаты. Возможно, ему от службы в армии будет только польза. Но все эти тайны... Смешно.

— Да что... Да как же вам... — голос Наташи дрожал, губы сжались и побелели. — А если — не от мамы? Если — не только... Вот именно, что — польза! Да в армии, по крайней мере, без вранья! Там — люди, просто — люди, а не... не светила, преуспевающие дельцы! Чиновники от науки! У которых на всё — двойной стандарт! Ладно. Я пойду. Извините.

Она шагнула в сторону, но Дорофеев поймал ее за руку, удержал.

— Нет уж, теперь подождите! Договаривайте, раз начали. Насчет дельцов — это что, Антон так считает?

Наташа вырвала руку, но все же остановилась.

— Нет! — почти выкрикнула она, глядя на Дорофеева в упор. — Это я так считаю. Я! Вам легче? Отлегло? А Антон... Он к вам так относился, а оказалось... вы оказались...

— Черт побери! Да кем это я оказался?

— А то, что ему звонила ваша эта... знакомая. Альбина Алексеевна.

— Антону? Зачем?!

— Вы же там красовались по телевизору насчет высших материй. «Совесть ученого»! Ну, она и увидела. Позвонила, попросила встретиться.

— Так...

— Мы с ним ходили. Вдвоем! Вот уж гадость. Антон был... ну просто убит, я видела. Хоть ей он, конечно, сказал: все она врет!

...Затем Дорофеев узнал все по порядку: как он соблазнил несчастную Лялю, как мерзко обманывал с ней мать Антона, клятвенно обещал непременно жениться, но приказал, чтобы Ляля сперва избавилась от будущего ребенка. Она поверила, сделала смертельно опасную операцию, а Дорофеев подло сбежал, бросив ее больную, без средств к существованию. А потом, когда она, себя не помня, чуть не попала под суд и обратилась к нему за советом — только ведь за советом! — стал трусливо прятаться. В результате она осталась без работы, рухнувшая личная жизнь тоже не складывается. И не сложится! И естественно: несчастная женщина никому уже не верит, всех считает подлецами! А тот, кто в этом виноват, благоденствует, трусливый сладострастник. Выходит, подлость и ложь могут пойти на пользу? Да? Правда? От них люди процветают и выступают по телевизору.



Она, Ляля, уж этого так не оставит, будьте спокойны: напишет на студию!

— Антон на нее наорал, вообще... да что там! А потом куда-то ушел, и два дня его не было, — Наташа отвернулась.

Дорофеев молчал. Все это было чудовищно. Как в горячке. Нет, как в скверном романе.

— Поразительно... — сказал он наконец, заставил себя сказать. — Неужели Антон все-таки поверил? Что там есть — хоть какая-то! — правда!

— А там неправда?

Он не ответил.

— Как бы там ни было, вы погубили человеческую жизнь! — горячо сказала Наташа. — Вы ведь обещали жениться? Или нет? И... чтоб ребенка... убить?

— Да поймите вы! Ведь вранье же все! Все вверх ногами! Это произошло при чрезвычайных обстоятельствах, и я не обязан никому ничего объяснять. Но... иначе было нельзя... а, главное, в таких отношениях всегда своя этика, особая... — Он не ей отвечал — сыну.

— Нету такой этики, чтобы врать и предавать!

Дорофееву часто снился один и тот же сон: он догоняет поезд, догнал, вцепился в поручни, а подтянуться не может, нет сил. Сейчас он чувствовал такое же бессилие. И безнадежность. Все, что произносит Наташа, — не правда, не настоящая правда, кажимость. На самом деле все куда сложнее и... гораздо проще. Но ее он в этом убедить не сможет, да что ее... Поймет ли сын? Для того чтобы понять все правильно, им надо прожить на свете еще по крайней мере лет двадцать. И статья... А кем статья? Хуже, что ли, циничнее? Или, может, все-таки шире, умнее и терпимее? Без сегодняшнего экстремизма? А взамен... Да. Вот она где тебя настигла, Всеволод Евгеньевич, эта пресловутая проблема «отцов и детей», эта в зубах навязшая некоммуникабельность! И тут не шутки, не «ужасный» конфликт с родителями, можно или нельзя слушать джаз, носить или не носить узкие брюки и галстук с обезьяной, как это было в твоей юности. Здесь без дураков: в их глазах ты, Дорофеев, мелкая сволочь, которая даже советовать не имеет права. И поди опровергни! Ничего не докажешь, хоть удавись! А они будут совершать свои идиотские поступки.

...Она что-то еще говорила, гневное и справедливое.

— Ну, хорошо, — устало сказал он, — я мерзавец... Но все-таки почему — именно в армию? Дома плохо, нельзя жить. Я — тоже... Предположим. Но почему не в другой университет, в другой город? В Тарту? В Москву, наконец? Вместе с вами. Почему в армию?

— Я уже объясняла — почему, — прищурясь, процедила Наташа. — А еще... Антон — ваш сын. Ваш! Хоть и в тысячу раз честнее и лучше! А все равно — ваш. Мать ему жалко, других... тоже жалко. А выбрать... Вы всю жизнь от всего в свою науку прячетесь, а он — вот...

Она вдруг сморщилась и, резко повернувшись, пошла по дорожке прочь.

Стоя на площадке лицом к заднему стеклу, Дорофеев напряженно смотрел, как отодвигаются, одновременно смыкаясь, становясь открыточными, Марсово поле в кустах сирени, памятник Суворову на цветочном коврике, а на заднем плане громада Инженерного замка и буколические кроны старых деревьев в Михайловском саду.

Трамвай взбирался на горб моста, и, глядя на эту сотни раз виденную картину, Дорофеев изо всех сил безнадежно пытался вызвать в себе привычное ощущение покоя и гармонии. Вместо них были только давящее бессилие и полная неспособность хоть что-нибудь почувствовать, точно то место в душе, которым чувствуют, плотно забито сырыми осиновыми чурками. Кое-где они безнадежно и дымно тлеют, чадят, но нет силы, которая заставила бы их полыхнуть.

К тому же навалилась головная боль, ломило висок, и за ухом, и дальше к затылку. И никаких желаний. Одно, впрочем, имелось — остаться одному в пустой квартире, лечь и закрыть глаза. И чтобы прохладно. И темно. И тихо.

Пока что было нечем дышать, свет, этот сумасшедший свет резал глаза, а голову рвал назойливый голос остроносого старикашки в выцветшей добела гимнастерке с кальсонными пуговицами. Старик сел в вагон на той же остановке, что и Дорофеев, и с тех пор болтал, не закрывая рта. Два его спутника, немолодые мужики с застывшими сизыми лицами, хмуро смотрели в окно, не обращая на хрычишку никакого внимания. Ехали все трое явно с рыбалки, удили, небось, где-нибудь тут же неподалеку, на набережной, каждый имел в руке поли-

этиленовый мешок с рыбьей мелочью. У суетливого деда (это Всеволод Евгеньевич еще на остановке заметил) улов был куда больше, чем у приятелей, тем не менее они его явно презирали, а старик вел себя заискивающе, изгилялся: травил одну за другой какие-то байки и сам же первый хохотал, повизгивая и запрокидывая голову.

В данный момент он с азартом докладывал, как ходил, гад, на охоту, и в лесу, мол, он никого не боится, ни, гад, рыси, ни там волков, ни хоть медведя. А вот только, конечно, лося.

— Убьет, гад, не посмотрит! — захлебываясь от восторга, кричал старик на весь вагон.

Слушатели железно молчали, а Дорофеев корежил, чувствуя, как в виске что-то тоненько дрожит и дергается, точно в больном зубе.

— Гон у их! Гуляют, значить. Двое передерутся из-за бабы, из-за лосихи, ну? — Старикашка вдруг закрутил головой, да так, что, казалось, шея вот-вот вывинтится из просторного ворота гимнастерки. — Они это, гад, подерутся, один другому навтыкает, а с ей, значить, в кусты. Любовь крутить. А этот остался, злой, как все равно Гитлер. А как же? Морду, гад, начистили, бабу увели, а у его — шишка! Он на всех, зверюга, и кидается, злость, гад, сорвать...

У мечети старик с приятелями вышли, и только тут Всеволод Евгеньевич вдруг понял: а ведь дедуля-то лицом, как две капли воды, — профессор Лосев.

Голова заболела еще сильнее и мучительнее, но трамвай уже двигался мимо знакомого садика с чахлой клумбой вместо фонтана. Дорофеев вышел из вагона, почему-то испытав облегчение, будто все его неприятности остались в трамвае, навсегда уехавшем в сторону Елагина острова.

До Володькиного дома он дошел довольно бодро, а вот по лестнице плелся, как инвалид. Не мудрено — такие дела и быка уложат наповал, плюс к тому пыльный, огромный, раскаленный день. Теперь — скорей лечь, опомниться, потом принять душ, выпить хорошего чаю, а там уж — надеть свежую рубашку и на поезд. А к поезду... господи! — к поезду явится Инга...

Едва он вошел в квартиру, как зазвонил телефон. Наверняка — она, свербит у нее. Ничего, потерпит еще, страдает, сил же нет никаких! Не спеша он снял туфли, носки и, с удовольствием ступая босыми ногами по про-

хладному линолеуму, побрел в комнату, к дивану. Телефон замолчал. Но только Дорофеев лег, вытянул ноги и закрыл глаза, завизжал снова. Ну, спорить готов, Инга! Опять набросилась головная боль, — в комнате было жарко, с улицы несло какой-то химией. Люто посмотрев на захлебывающийся аппарат, Дорофеев встал и решительно двинулся в ванную.

Пока он отходил под ледяным душем, телефон закатывал истерику еще раза три. Как следует замерзнув, он вытерся, надел чистое белье, сунул ноги в громадные Володькины тапки и тщательно расчесал на пробор мокрые волосы. Не помогло, голова продолжала болеть, в теле разваливалась тошнотворная слабость.

Только Дорофеев вышел из ванной, как телефон взвился опять. На этот раз он зарядил надолго, на измор брал, и во избежание родимчика у аппарата Дорофеев решил поднять трубку.

— Явился?! — сразу заорал Алферов. — А я уже десятый раз... Я тут это, задержался в этой... в общем, скоро буду. Ты пока возьми... там кастрюля, в холодильнике. И картошка...

Дорофеев вяло сказал, что не голоден. Володька помолчал, а секунду спустя спросил уже другим, деловым тоном:

— Случилось что?

— Ничего. Устал.

— Ага. Ладно, еду. Ты отдыхай.

Почуял что-то, бегемот несчастный, будет теперь приставать! Впрочем, не ври, Дорофеев, уж кто-кто, а Володька человек тактичный, просто тебе сегодня зачем-то надо, чтобы все вокруг были сволочи.

Он лег опять. Заснуть не удавалось. Самое правильное — все здешние дела временно отодвинуть; завтра работа, институт... Ронжина — это ведь все осталось, никауда не делось. И не денется.

Однако думать об институте и Ронжиной он не смог, прежнее возмущение и ярость как-то слиняли, непоправимый вред, который нанесет науке ее успешная защита, не казался таким уже непоправимым, Лосев просто жалкий старик, и пусть бы они там сами разбирались со своими делами... Вообще-то, у каждого в жизни была, хоть раз да была, какая-нибудь же очень красивая история, и вовсе не обязательно сразу считать себя из-за нее уголовником... А ведь не было никакого ребенка, все

вранье! Пошлая история, банальная до отчаяния. А вообще-то, Всеволод, пора завязывать с надеждами, будто ты особенный, не такой, как другие, те, с кем постоянно случаются подобные житейские пошлости. Полюбуйся, так же, как все жалкие «другие», ты, не подумав, в двадцать лет женился, так же, как они, тянул семейную лямку, спал с нелюбимой женой, ссорился с тещей, — «бог мой», с тещей! — бегал «налево», потом... потом постыдно засыпался, остался один. Аж в Москву сбежал!.. Ну, что скажешь теперь? Съел? Придется смириться: никакой ты не особенный, «особенных» вообще нет в природе, бытовые вульгарные ситуации, которых ты всегда надеялся избежать, на самом деле и есть жизнь. И никуда ты от этого не денешься. И никто не денется! Даже... максималист Антон, бегущий в армию спасаться. У ВСЕХ ВСЕ одинаково, подколотная красавица права: «Дом — работа — санаторий...»

И все-таки, удивительное дело, в конце концов Дорофеев ухитрился заснуть и спал глубоко и спокойно. Растолкал его Володька, бубнивший, что хватит, раздрыхся, как этот... барсук, поезд уйдет, и стынет все.

Открыв глаза, Всеволод Евгеньевич обнаружил, что укутан пледом, из кухни доносится запах чего-то в высшей степени жареного, а на часах — почти десять. Это значит, теперь уже скоро на вокзал. Выйти надо пораньше, там Инга... Сразу захотелось вернуться обратно в сон, но Володька, гремя посудой, дико трубил на кухне, как голодный слон, — звал ужинать.

Вдали грозно брезжила недавняя головная боль, какая, к черту, еда! Но Алферов, упрямо сопя, навалил целую тарелку картошки, засыпал укропом, положил здоровенный кусок жареного мяса, пододвинул салат. И пива налил. Ну, какой идиот сможет есть в такую жару? Однако Дорофеев незаметно для себя умял все, что было в тарелке.

Володька ни о чем не спрашивал, шумно жевал и Дорофееву все подкладывал — то огурец, то редиску. Всеволод Евгеньевич вдруг почувствовал — отпускает.

Хороший он все-таки мужик, Алферыч, легкий. И свой. Все вроде понимает, а в душу не лезет, — отличное, что ни говори, качество! И редкое! Другие желают добра, сделают хорошее, от всей души и совершенно бескорыстно. Только глядишь: уже и плату подавай, не материальную, боже сохрани! А вот кое о чем поразузнать, дать

кое-какие советы... за которыми не обращался. Ведь добра, черт возьми, желают! И имеют на то полное право, кого хочешь спроси!

А Володька, неясно к чему, вдруг пошел излагать очередную завиральную теорию. Он, видите ли, пришел к выводу, что бо́льшая часть психических расстройств — от недостатка любви.

— Понимаешь, это ведь давно известно, — возбужденно гудел он, — новорожденные дети: если они... того, без матери, без родных, если их кормят, пеленают, но не... это... не ласкают, на руки там не берут, они чахнут. И — вплоть до того... умирают. А сейчас привязанность, она же этот... дефицит. На земле в целом. Нет, я серьезно! Разучились. Любить не умеют, не знают — как. Нет культуры этого дела... Ты не... ты брось! Я — в широком смысле. Утеряло человечество это чувство, а если кто умеет, то на него уже глядят как на помешанного или... или хитреца: ишь, спектакли играет — Великая Любовь, чего ему, интересно, на самом-то деле надо? Да. А любовь, между прочим, не только младенцу нужна...

— Век больших скоростей, некогда всем, — Дорофеев сказал первое, что пришло в голову, разнеженно думая, что есть в Володьке еще одна симпатичная, хоть и провинциальная черта — простодушие. Даже наивность.

Володька, запыхтев, возразил, что про эти скорости ему уже противно слушать.

— Пошлость, в зубах навязло. К тому же брехня: оттого что на какой-нибудь Кавказ можно долететь за три часа, а не тащиться... всю жизнь в кибитке, свободного времени не убавилось, а прибавилось, и нечего врать... Информации у нас от этого переизбыток, это да, — подумав, добавил он. — А человек не резиновый, есть определенный максимум, который его башке возможно переработать. Ну, значит, и выходит: событий больше, стало быть, сила воздействия их на человека — меньше. Понятно, нет? Чтобы общий результат не превышал, иначе пробки полетят, а то и весь мотор...

— Про мотор понял, — сказал Дорофеев, — мощность равна силе тока на напряжение. Если мощность — константа, а напряжение растет, значит, сила тока падает. Так, что ли?

— Ага! — обрадовался Алферов. — Ага. Больше внешних впечатлений, меньше сила их... ну, воздействия. Чувства, короче говоря, слабее. А чтоб отказать от

лишней этой... информации, — куда там! Жадность одолевает. Вот и получается: вместо нормальных чувств — дребедень и собачья суета, туда смотреть, там устроиться, это поглядеть... А любить? .. Нет, не умеем! А знаешь еще, почему? Этому ведь тоже надо учить, само не возьмется. ...Ты — ладно, Севка. Не дрейфь, прорвемся! — Володька вдруг потянулся и здоровенной своей лапшей осторожно тронул Дорофеева за плечо.

Тот только вздохнул.

— Ну, так вот. Про что я? Ага, про эту самую... Про любовь, значит, — теперь Алферов говорил подчеркнуто бодро. — Человеку, уж это я точно знаю, любить жизненно необходимо. И его чтоб — тоже. Это как еда, понял? Или там... как дышать. Надо. А ведь сколько одиноких! А в семьях? Если просто мирное сосуществование, так это уже считается... там... счастье в личной жизни. А от такого свинячьего счастья развивается... вроде душевной чахотки. Или тоже — дружба. Сейчас принято с нужными все людьми. Это ж подумать, человек себя сам — сам! — принуждает общаться с тем, кто ему на самом-то деле до фени. А то и просто с души воротит! Ну, не повод для стресса? Жуть! Думаешь, сочиняю все? Я же с ними, с пациентами, целые дни только и делаю, что того... беседую за жизнь. Наслушался. И нагледелся! Да что... Возьми хоть древних: про любовь к ближнему еще когда поняли! И это ведь не правило... там... хорошего тона за столом, — это рецепт! Веками проверенное дело. «Как самого себя», заметь! Это же способ быть счастливым! И здоровым. Чувствуешь? Ну... а не научишься, вот и будешь... куковать. Пока не сопьешься, как... хвост собачий!

— Обнадежил, — мрачно сказал Дорофеев. — Утешил. Ты мне лучше другое скажи, наставник христианского учения. Вот, что человеку делать, если он, предположим, узнал, что на всем нашем замечательном шарике нету никого, кто его, подлеца, любит, ценит и... так далее? Просто так любит, жалеет, а не то чтоб сразу судить, пересчитывать плюсы-минусы? Белый — люблю, а черный — фига.

— Ничего ты не знаешь, — тотчас перебил Володька. — Мы же их не понимаем. Вот ведь парадокс: почему-то всегда легче понять тех, кто старше, хотя такими, как они, мы никогда не были. А двадцатилетними, тринадцатилетними, трехгодовалыми, там, наоборот, были. А они для нас — темный лес. И мы их не понимаем.

Дорофеев поднял голову и с удивлением посмотрел на Володьку. Выражение лица у того было незнакомое, сосредоточенно-твердое, и говорил он не как всегда — без обычных своих заиканий и меканий, четко и внятно.

«Так он, наверно, со своими больными...» — подумал Дорофеев.

— Должно же было что-то там остаться, в памяти, верно? — продолжал Володька. — Ну... не внешнее, а чувства, мысли? Это ведь нам, петухам надутым, сейчас кажется, что у детей не бывает мыслей. Бывают! Еще какие. И у нас были, но мы их не помним. Не помним, хоть удавись! Точно кто резинкой стер. И нам искренне, ото всей души кажется: всегда мы были такими, как сейчас. Ну, конечно, поглупее, понаивнее, а в общем...

— Ну, это уж ты хватил — «не помним!» — возразил Дорофеев, пытаясь понять, случайно Алферов так ловко свернул на детей или знает что-то.

— Вот скажи: ты помнишь Витьку Голикова? — наседавал Володька. — Он кончал, когда мы были в восьмом. Ага, помнишь. А Сергея Ряшина?.. Ясно. А Звонарева? Ну, а теперь назови хоть парочку из класса, который шел за нами?

— погоди... вроде... Ну, этот, футболист, как его?

— То-то! Не знаешь! Тут как в очереди: видишь только тех, кто перед тобой. Ими интересуешься, а им на тебя чихать. Все это, черт побери, естественно, человек — такая животная, хочет двигаться, меняться, и, чем моложе, тем больше хочет. Разве уж совсем старики...

— Не знаю, не пробовал.

— ...Но в юности-то мы уж точно хотим быть как старшие, так? Младшие — глупые сопляки, мелочь пузатая, их же спать загоняют в восемь часов! А старших пускают в кино «до шестнадцати». Вон как! И с девчонками они — того... И вот уж мы не только от сопляков — от себя самих, вчерашних, как можем, отрешиваемся и отплеываемся. Да что — от вчерашних! От сегодняшних утренних, или там — ночных. Почему? Потому, что желательно видеть себя не прыщавым гадким утенком или, может, утконосом, а высоким, стройным этим... суперменом, которому сам черт не брат. А про гадкого утенка не думать, забыть. Начисто вытеснить его жалкий образ в подсознание! И ведь удается... если не очень задерживаться перед зеркалом и не слушать, какую чушь несут про тебя мать с бабкой... А чтоб супер-



мен вспомнил, как в детсад ходил, как черной собаки во дворе боялся и какие испытывал эмоции, намочив однажды в гостях штаны? Да ни в жизнь! Не было этого и быть не могло! Нет, потом, конечно, лет через тридцать, мы его, с мокрыми штанами, будем вспоминать, да еще как — с умилением, чуть не со слезами. Будем... да не вспомним. Главное не вспомним. Ничего, кроме штанов этих несчастных, которые так и не удалось изгнать из памяти. А вот что тогда пришлось пережить, вытерпеть, какой стыд и страх... Как было больно оттого, что взрослые так бестактны, жестоки... да наконец — просто глупы!.. Вот этого в памяти уже не осталось. И к счастью! Если все помнить, и жить нельзя. Кому ж это надо — хранить такие сокровища, как страх и стыд. Не хотим мы помнить, как в тринадцать лет подглядывали за девочками! Не было ничего — ни гадких мыслей, с которыми не справиться, ни потных ладоней... Да, мы всегда были сегодняшними... или нет! — завтрашними! А эти загадочные сопляки — инопланетяне... Ужасно, ужасно обидно, что наши дети — другие, гораздо хуже нас. Увы! подумать только: бездельники, не желают трудиться, жить высокой наукой, у них, у паскудников, грязное воображение, а в головах — каша. Шелопан и черствые эгоисты, порождение века. Неслыханно. Главное, никого-то им не жалко, и с нами они не откровенны, даже разговаривать не хотят. С кем? С нами! Которые столько знают полезного и интересного. И все их детские проблемы могут расщелкать, как орехи. Враз!

...Ему, конечно, что-то известно, потому и завел такой разговор... даже не разговор, монолог. Психотерапия! Но Дорофеев не перебивал, пусть. Тем более что от Генкиных речей... постой, а почему — «от Генкиных»? Откуда вдруг опять Генка, не первый раз уже за эти два дня в Ленинграде?..

— Дурак я все-таки, — сказал он, пристально глядя на Алферова. — Вообразил, будто у нас с Антоном во всем о'кей и контакт. И я его понимаю, и он от меня в полном восторге... .

Секунду Володька молчал, склонив голову к плечу. И заговорил опять, почему-то понизив голос:

— А я вот помню... — он вдруг забубнил, будто переключил скорость. — Я... это... не хочу, а все равно — раз-два в году да того... вспомню. Как отец умирал... Мы тогда в девятом классе... В доме — мрак и ужас, все угнетены. Главное, и от меня ждут того же. Мало ждут —

требуют! Еще возмущаются: бесчувственный, отец умирает, а он... А я — хочу радоваться! Знаю, что сепнство, а все равно хочу, а страх, жалость и прочее... Да что гам! Я тогда при первой возможности — из дому, у вас еще — помнишь? — целыми днями торчал, а то и ночевать оставался. Ну, как это... как назвать? А я отца любил. Больше всех, больше матери. И — этот... контакт. Все было. А в то лето... страшно произнести, я его почти ненавидел. За то, что заставляет жалеть, страдать, а... а главное, чувствовать себя скотиной. Вот... Вот оно как, а мы: «эгоисты»! Нет, брат, судить легко, а помнить — того... трудно. А помнить надо! Хотя и почти невозможно. Прищи забыть — это ладно, а такое... В общем... ты... это, не очень себя... ешь. Не можем мы их понять, как бы ни старались. А вот они нас, голубчиков, могут. Видят как облупленных. Все потому, что опять же — вперед глядят. А взгляд у них зоркий, злобный и без этих, без сантиментов. Им же нас надо преодолеть и... И раздраконить! А разбираться, оправдывать там... слабости, прощать — не их это дело. Тем более наше поколение... такое. Особенное, сам знаешь... Они с нами вместе нашего всего не прожили. И слава богу. Мы в этот... ну, как говорится, в мир вошли в восемнадцать, и они — в восемнадцать. Только два раза, как известно, в одну реку не войдешь, та вода, в которую мы в свое время влезали, далеко утекла. Да и на берегу пейзаж кое в чем того... изменился, так что и тут обоюдное недоумение: как же? Ты же, папа, говорил, что там дикий пляж и кусты, а там вовсе набережная со ступеньками. Соврал, предок? Конечно, позже, с возрастом, появляются кое-какие эти... догадки, но в основе-то у нас все равно песок и пляж, а у них — лестница с перилами или, может, парк и клумбы с какими-нибудь там левкоями... Ладно, это я так. Давай-ка лучше чаю, а?

Володька поднялся, большой, громоздкий. Налил в чайник воды, зажег горелку. На Дорофеева он не смотрел, деловито засовывал в холодильник масленку, остатки шпрот. И только минуты две спустя, стоя у раковины спиной к Дорофееву, изрек:

— А ты... знаешь, это... Меньше думай. Этой своей логикой. Ценят тебя... там... не ценят... Как к тебе — дело второе. А первое — как ты! Попробуй сам... любить... ну, и жалеть.

Сон был тонкий, как папиросная бумага. Прорывая его, наружу все время настырно лезла одна и та же длинная жесткая фраза. И колеса под головой тоже выстукивали ее: «дом — работа — санаторий — дом — работа — крематорий...» Собственно, это была не фраза, а ржавая цепь из шершавых прямоугольных звеньев, так что могла изгибаться, выпячивая то одно, то другое звено: дом — работа... работа-работа... Потом Дорофеев шел босиком по вагонному коридору. То есть он отлично знал, что лежит на своей нижней полке головой к окну, но нарочно не давал сну соскользнуть, упрямо шел по этому безлюдному коридору и видел: двери во все купе открыты и нигде никого. Вообще вагон был какой-то заброшенный — стены ободраны, окна без занавесок. И за этими голыми окнами незнакомый пейзаж. Нет такого пейзажа по пути из Ленинграда в Москву; бесконечными рядами тянутся вдоль полотна одинаковые голые деревья. Ряд за рядом, все пространство за окном, до горизонта, разлиновано, как тетрадный листок. Голые, пустые, черные деревья на сухой земле без единой травинки.

Застонав, Дорофеев отшвырнул сон, сел, включил ночник. Четверть второго, всего четверть второго, целая ночь впереди...

А по соседству веселились. За переборкой звучали голоса, вдруг затренькала гитара. Респектабельный вагон, а народ как в студенческом бесплацкартном...

Дорофеев был в своем купе один, верхнее место не заняли. Эти старые «международные» вагоны (полки одна над другой) когда-то выглядели роскошно со своими зеркалами, медяшками и красным деревом. Но в этот раз купе показалось неуютным — какое-то запущенное, ветхое, от дверей дует, и вдовий запах, и тусклота. Отсюда и сон... И он вдруг остро позавидовал тем, за стеной... А Володька только еще добрался до дому, на-ьярняка пошел сперва провожать Ингу.

Разговор с ней получился легче, чем ожидал Всеволод Евгеньевич. Легче-то легче... Передавать дословно свое объяснение с Наташей Дорофеев, разумеется, не стал. Скупое и холодно сказал, что Антон решил попробовать стать взрослым человеком, самостоятельно, без опеки и помощи. Вмешиваться нет смысла — ничего не даст.

Инга слушала молча, и выражение лица у нее было, как у преступника, которому объявляют окончательный

приговор. Дорофеев видел ее глаза, впалые щеки, шею, покрытую пятнами, глаза...

Он чувствовал себя последней скотиной. А когда Инга заговорила, стало еще хуже. Покаянным тоном она сообщила, что сегодня все обдумала в деталях, взвесила и утверждает: в том, что случилось с сыном, виновата она, она одна! «Во-первых, все те годы, пока ты... пока мы, Сева, были вместе, я относилась к тебе крайне неправильно, безобразно! Я целиком отдавала себя ребенку, а ты был полностью лишен внимания. Не возражай! Антон не мог этого не видеть, ведь при нем зачастую дискредитировали отца. Это я разрушила нашу семью, Сева, я! Ты ни в чем не виноват, ни на гран! Ладно... Конечно, в последние годы мы с мамой пытались как-то... исправить. Мы постоянно говорили с Антоном о тебе, внушали, что его отец достоин всяческого восхищения и как человек, и как ученый с мировым именем...

«Светило, бог мой...» — с тоской подумал Дорофеев.

— Инга! Ну, зачем теперь...

— погоди, Сева, не перебивай, я должна объяснить. Знаешь, я даже в день его отъезда напомнила, что мечтаю только об одном — видеть его таким, как отец. Но он... он был сам не свой тогда! Он был безумен! И это все из-за нее, из-за этой Наташи. Мне кажется, Сева, — Инга понизила голос, — из-за нее он... потерял веру в людей. Она страшный человек, поверь, страшный. А ты, Сева, прости, если сможешь...

— Хватит! Слышишь? Хватит!! Все это чушь. Прекрати самосожжение! Володька, скажи ей...

— И правда, ребята, — вмешался Алферов, до того молча стоявший поодаль, — кончайте вы трагедию. Не гневите бога, ведь с жиру беситесь. У других, вон, болеют дети, уж я посмотрелся у себя в клинике. Вот это горе, да. Или пьют. Хулиганы тоже... эти... хиппи... разные. А то еще синдром бродяжничества. Модно сейчас. Тут ко мне одна мамаша недавно сына приводила, здоровый лоб, семнадцать лет. Бросил, мерзавец, школу, гоняет по всей стране на попутках из конца в конец. Этот... автостоп. Пробовали запирать — в окно вылез. С четвертого, заметьте, этажа. Альпинист. Спрашиваю: «Ну, и что хорошего в этой твоей езде? Смысл какой?» — «А вы не поймете, — говорит. — Вам везде утилитарный смысл нужен. А я просто — хочу ездить. Хочу и буду!»

Так никакого толку от него и не добился. И таких сейчас, между прочим, полно. И больных, и здоровых. А у вас? Максималист, может быть, это да. Но я-то лично так думаю: в двадцать лет ты и должен быть максималистом, а не этим... который любой пакости найдет рациональное объяснение. Это уж мы, в нашем возрасте...

— Я его... зализала... — прервала Володьку Инга. Она, похоже, вообще никого не слушала, все время думала о своем. — Я читала где-то: некоторые звери... львицы, кажется, зализывают своих детенышей. До смерти!

Слава богу, по радио объявили наконец отправление.

Когда Дорофеев уже садился в вагон, Инга вдруг засуетилась, полезла в сумку и достала оттуда стеклянную банку. В этой банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой, он увидел пересыпанную сахаром клубнику.

— Вот, Сева, возьми на дорожку. Бери, бери, рыночная. Мама ходила. У тебя усталый вид.

...Такие банки еще тогда, в той жизни, обязательно брали с собой на пляж. Естественно, для Антона... Яркий день в Комарово, гладкая, голубая без единой морщинки вода в заливе, белый песок, жара.

И трехлетний сын в панаме, надменно восседающий в тени под сосной. Инга, стоя на коленях, кормит Антона с ложки, щеки его и подбородок вдрызг перемазаны клубничным соком, по груди стекает липкий ручеек, и на этот ручеек нацелилась спикировать оса, которую Всеволод бесстрашно отгоняет ладонью...

Стоп-кадр, цветная фотография... Нет, не фотография, открытка — чужие, незнакомые люди изображены на ней, их нет на самом деле, уже нет... Есть другие, похожие, но не они. С каждой секундой открытка отодвигается, становится меньше. Пройдет еще пять, десять, пятнадцать лет, и она сделается величиной с почтовую марку (лиц уже не разглядишь), а потом и вовсе превратится в точку, сверкнет в последний раз и навсегда погаснет.

Но сегодня еще можно, пусть только на мгновение, вернуть тот горячий песок, синее небо над заливом, запах сосны, молодую женщину на песке. И мальчика, перемазанного клубникой.

Стоя на площадке, Всеволод Евгеньевич смотрел из-за плеча проводницы на Ингу с Володькой. Они шли за тронувшимся вагоном, Володька приветственно поднял руку,

Инга, не сводя глаз с Дорофеева, что-то говорила — что — не слышно.

И все-таки Дорофеев понял, что она сказала! Понял не тогда, а вот теперь, сидя на диване в полутемном купе и слушая, как за стеной поют Окуджаву. Слов было не разобрать, доносилась только мелодия, но слова про бумажного солдата он и сам помнил наизусть.

А Инга... Она сказала Володьке, и тот согласился, кивнул... Надо было ему, гиппопотаму, денег, что ли, в долг предложить, купил бы приличную обувь... Он, конечно, прав: они не хуже, и уж конечно, не глупее нас, тогдашних...

А река, в которую не войти дважды? Лучше сказать — поезд. Вот я погляжу сейчас в окно и увижу черноту. И проехал. А через миг где-то там, в доме путевого обходчика, вспыхнет свет. И тот, кто едет в последнем вагоне, увидит уже не черноту, а освещенное окно...

Всеволод Евгеньевич яростно перевернул подушку, рывком опустил до упора шторку на окне, погасил ночник. лег. Колеса занимались делом: мирно выстукивали что-то свое, сугубо железнодорожное. Вагон покачивало, за стеной всё пели... Уснуть не выйдет, придется с этим смириться. Придется смириться и... и с другим... Жаль, нету сигарет... И не выдумывать лишнего, самобичевание — малопродуктивное занятие. Взять себя в руки! Ночью, на неудобном узком диване на ум сплошь и рядом приходит чистая белиберда... А Марку так и не позвонил... И про подарок тетке забыл, а она будет в руки смотреть, она всегда смотрит, как маленькая...

Он снова сел, нашарил в темноте ручку, приоткрыл дверь. Пение стало слышнее. Без паники! Утром будет солнце, особенная московская сутолока на вокзале, шум, сверкающие, летящие мимо улицы. И пустая квартира. Тихая. И пустая. И опять пойдет привычная, налаженная жизнь. Дом, поездки за город, работа. Да, работа! Как бы там ни было, а этого не отнимет никто... Дом, работа, санаторий... дом, работа... Довольно!

Инга на перроне сказала Володьке вот что: «У него же, кроме нас, никого нет». Да, именно эти слова и сказала, хотя Дорофеев не мог ничего слышать, даже по губам прочесть не мог.

А там всё поют. Сколько их? Двое? Трое? Незнакомое что-то и грустное, а слов все равно не слышать. Хотя... Да ведь это же та самая песня, которую вчера пел Мурик. Ну конечно, она!

Он встал, натянул брюки, надел туфли, вышел в коридор. За окнами уже светлело.

...И тянется хрупкая нить  
Вдоль времени зыбких обочин,  
И телятся белые ночи,  
Которые не погаснут...

Колеса все стучали, грянул и тут же пропал встречный состав.

...За спиной твоих окосев,  
За облик исчезнувший прошлый,  
За то, что, покуда живешь ты,  
И мы как-нибудь проживем.

Он быстро прошел в купе, оделся, собрал портфель. Впрочем, спешить-то было некуда — до Бологого два часа с лишним. Дорофеев сунул руку в карман. Листок с адресом сына, который дала ему Наташа, был на месте.

Как он будет добираться до Архангельска, Дорофеев не знал.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

Прощальный свет . . . . .	4
Чудовище . . . . .	27
«ЫРВЦ» . . . . .	34
Между весной и летом . . . . .	45
Несъедобный друг профессора Расторгуева . . . . .	73
Человек Фирфаров и трактор . . . . .	86

### ПОВЕСТИ

Полина . . . . .	96
Цветные открытки . . . . .	182



**Катерли Н.**

**К 24** Цветные открытки: Рассказы и повести. — Л.:  
Сов. писатель, 1986. — 304 с.

«Цветные открытки» — вторая книга ленинградской писательницы.  
Первая — «Окно» — опубликована в 1981 году.

**К**  $\frac{4702010200-027}{083(02)-86}$  61-86

**ББК 84.Р7**